

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)62-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161/1(477/74-21)-92(082/1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / 16
Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский,
О.И. Губарь. — Одесса: "Друк", 2004. — 332 с.

ISBN 966-8099-87-7

Д 4702640204 + 0503020902
2004 **2004**

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский
(заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:

Виталий Амурский (Париж), Наталья Барышева,
Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга,
Григорий Поженян (Москва), Аркадий Львов (Нью-Йорк),
Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург),
Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин),
Кармелла Цепколенко, Борис Херсонский.

Фото:

Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:

Vitaliy Amoursky (Paris), Natalya Barysheva, Andrey Dobrolyubskiy,
Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyan (Moscow),
Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan,
Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky,
Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkoenko,
Boris Khersonsky.

Photos by:

Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirkisy

ISBN 966-8099-87-7

© Авторство художественных текстов, 2004

От редакции

"Одессита всюду узнают — по разговору, шуткам, по походке, — ведь одесситы всюду, там и тут..." И далее автор слов к популярной в годы войны песенки уточняет: "...И на линкоре, в танке, и в подлодке!".

Действительно, немало наших земляков сражались с фашизмом в годы войны, которую одни называли Великой Отечественной, другие — Второй мировой. Имена многих широко известны, но и сегодня, в начале иного — XXI века, происходят волнующие открытия. Вот лишь два примера.

Профессор Вольдемар Лангле — руководитель Шведского Красного креста и его супруга Нина спасли от гибели немало людей в оккупированных странах Европы, снабдив их поддельными документами. Подвиг — сродни тому, который совершил великий гуманист Рауль Валленберг. В честь супругов на Иерусалимской Аллее Праведников посажено Дерево. Особо подчеркивается, что госпожа Лангле, урожденная Нина Боровко, родилась в Одессе.

Всю войну рядом с будущим лауреатом Нобелевской премии Александром Солженицыным, а тогда — артиллерийским капитаном — прошел сержант Илья Соломин. В 1945 году за несколько минут до ареста писатель передал ординарцу свои крамольные рукописи. И тот не только сберег их, но доставил (из Германии — в Рязань!) тогдашней супруге Солженицына Наталье Решетовской. Более того, фронтовик несколько лет трогательно заботился о жене своего командира. После войны Соломин долго жил в Одессе, работал энергетиком, а в 80-е годы переехал в США. Автор публикации в "Известиях" пишет: "Каков Илья сегодня? Классический одесский еврей, только живет в Бостоне. Он по-прежнему хороший, добрый и очень верный человек".

Мы уверены: впереди немало неожиданных, впрочем, вполне закономерных встреч с героями той войны, нашими соотечественниками и земляками. Сегодня мы вспоминаем их с особой любовью и благодарностью: 10 апреля нынешнего года исполняется 60 лет со Дня освобождения Одессы. В тот далекий весенний месяц из картонных растробов радиоточек, из трофейных "телефункенов" особенно часто передавали песенку об Одессе, с которой мы начали эти заметки, напомним припев:

"Ах, Одесса, — ласковая мать!
Ведь одессит идет на бой без драмы,
А если мне придется умирать,
То не забуду я Одессы-мамы..."

И слова у них — наших дедов, отцов, братьев — не расходились с делом.

**Особая благодарность —
фирме
"ХАРРИСОНС-ТРАНС-СЕРВИС"**

Выражаем признательность за помощь:
фирме "ФАГОТ",
фирме "АРХО",
агентству недвижимости "КАПИТАЛ",
а также Михаилу Пойзнеру.

Михаилу Жванецкому — 70

Я забираю крик обратно

В моей записной книжке еще 66 года ноября "Я не хочу быть стариком!!!", "Я не хочу быть стариком!!!", "Я не хочу быть стариком!!!" три восклица... Сегодня июль 2003. И что с того, что не хотел?

Услышал бы меня Господь?.. Он точно слышал. Он просто понял, от какого идиота. Представляю! Я бы не сел в автомобиль, я б сына не увидел, не посадил за стол сто человек. Я бы море не увидел из своего окна. Я бы прохладу летом не включил, не знал компьютера и не узнал свободы. И не увидел проводы трех пареньков в Москве. То главное, что видел в жизни.



Этот снимок одесский журналист и краевед Сид Гольцман сделал в 1963 году. Тогда великий Аркадий Райкин впервые встречался в Одессе с молодыми артистами театра "Парнас". А вскоре Михаил Жванецкий стал писать сценки и монологи для Аркадия Иосифовича, а Роман Карцев и Виктор Ильченко вошли в его прославленную труппу. Снимок сделан на сцене Одесского русского драматического театра.

Я не прочел бы Оруэлла, Ницше, Пруста. Себя бы не прочел. Что делать?

За продолжение жизни мы платим старостью. За старость платим смертью. За право поведать, как взрослым станет сын, услышать, что он скажет, я должен был болеть, лечиться, кашлять. Но я обязан был увидеть другую жизнь. Отели, яхты, переполненные магазины, автомобили, лезущие друг на друга, японский рыбный рынок, греческие острова, Карнеги-Холл — как бы увидел, если бы не постарел? Я много дал. Я дорого купил. Я заплатил годами, силой, остроумием, успехом, женщинами, красотой ранней смерти, столь любимой у нас в стране, — остаться в памяти красивым, сильным, молодым.

Нет, я выбрал путь труднее. Я старел, седел, ушел из ежедневного употребления. Я отдал все, чтоб только посмотреть газеты: "спонсоры", "помады", "памперсы", "суд присяжных"... То, что увидел, повидав.

А этот вопль — "Я не хочу быть стариком!"? Ну, что ж, стой в очередях советской власти, ищи еду, лекарство, отсиди за анекдот.

Ты был на минном поле. Проскочил. Все позади. О, Господи, прости на самом деле, извини, я серьезно — прости! Я забираю крик обратно, я прошу там наверху не обижаться. "Дай мне обратно!" "Дай сюда!" "Дай сюда!"

Есть разница?

Тогда я был специалистом. В той жизни мы на равных и кто кого когда имел. Сейчас смотрю, пишу, перемещаюсь, но не лезу в жизнь. Поглаживаю по головке тех идиотов, кричащих моим голосом "Я не хочу быть стариком!".

Успокойся — и не надо.



"Война и мир" Михаила Жванецкого

Отовсюду слышу: он не писатель! Феномен, да, но не писатель! Почему не писатель? Отвечают: потому что я читать его не могу! Глазами по строчкам читать — не могу! Мешает авторская интонация.

За что боролись — на то и напоролись. Слава настигла героя с неожиданной стороны. И памятник ему должен стоять только так: фертом, на эстраде, с рассыпающимся текстом в руках. И мы будем слушать знакомые тексты — в записи или, кому повезет, вживую. С настроением посмеяться.

Интересно получается: смех отключает мысль. Сочувствие, сопереживание, второй и третий план он отключает. "Зачем... напрягаться, раскусывать намеки — это уже будет не отдых, это уже будет не воскресенье". Жванецкого воспринимают как воскресенье — а он, наоборот, сугубый понедельник.

Автор пробует бороться с этим несоответствием, робко намекая на "шутки, вызывающие улыбку сострадания". И даже не робко намекает, а прямо говорит: "Теперь, слава Богу, даже самый зубастый сатирик в полной безопасности. Зритель правильно понимает его и свою задачу и настраивается на веселый лад. Смеются все. Смеется и тот, в кого вы пустили свой жуткий заряд". Вот ты, в третьем ряду, по центру, ощупай себя, — не ранен? Однако животы уже трясутся, и раскрытые рты извергают разнообразные звуки, объединяемые словом "хохот". А для чтения мы возьмем с полки эпопею — "Войну и мир".

Я читаю собрание произведений Жванецкого, как четыре тома "Войны и мира". Только у Льва Николаевича я "войну" пропускала, — а у Михаила Михайловича война как раз самое интересное. Или не так: нет четкого разграничения между войной и миром, вся жизнь — театр. Военных действий. Автор справедливо опасается, что в хохоте зрительного зала утонут разрывы мин и стоны тех, кто подорвался, и позволяет себе высказаться прямым текстом: наш человек "так помнит войну, что уже не представляет себе жизни мирной".

Среди тех, кто "в драке не выручит — в войне победит", мыкается главный герой Жванецкого — капитан Тушин. Одиноким интеллигент, ведущий свою войну на забытой всеми батарее. С кем война? Перечислять долго, портреты "врагов" — визитная карточка Жванецкого номер один. По этим портретам и узнаваем. Склоняясь над картой фронта (Первого

Я не прочел бы Оруэлла, Ницше, Пруста. Себя бы не прочел. Что делать?

За продолжение жизни мы платим старостью. За старость платим смертью. За право поведать, как взрослым станет сын, услышать, что он скажет, я должен был болеть, лечиться, кашлять. Но я обязан был увидеть другую жизнь. Отели, яхты, переполненные магазины, автомобили, лезущие друг на друга, японский рыбный рынок, греческие острова, Карнеги-Холл — как бы увидел, если бы не постарел? Я много дал. Я дорого купил. Я заплатил годами, силой, остроумием, успехом, женщинами, красотой ранней смерти, столь любимой у нас в стране, — остаться в памяти красивым, сильным, молодым.

Нет, я выбрал путь труднее. Я старел, седел, ушел из ежедневного употребления. Я отдал все, чтоб только посмотреть газеты: "спонсоры", "помады", "памперсы", "суд присяжных"... То, что увидел, повидав.

А этот вопль — "Я не хочу быть стариком!"? Ну, что ж, стой в очередях советской власти, ищи еду, лекарство, отсиди за анекдот.

Ты был на минном поле. Проскочил. Все позади. О, Господи, прости на самом деле, извини, я серьезно — прости! Я забираю крик обратно, я прошу там наверху не обижаться. "Дай мне обратно!" "Дай сюда!" "Дай сюда!"

Есть разница?

Тогда я был специалистом. В той жизни мы на равных и кто кого когда имел. Сейчас смотрю, пишу, перемещаюсь, но не лезу в жизнь. Поглаживаю по головке тех идиотов, кричащих моим голосом "Я не хочу быть стариком!".

Успокойся — и не надо.



"Война и мир" Михаила Жванецкого

Отовсюду слышу: он не писатель! Феномен, да, но не писатель! Почему не писатель? Отвечают: потому что я читать его не могу! Глазами по строчкам читать — не могу! Мешает авторская интонация.

За что боролись — на то и напоролись. Слава настигла героя с неожиданной стороны. И памятник ему должен стоять только так: фертом, на эстраде, с рассыпающимся текстом в руках. И мы будем слушать знакомые тексты — в записи или, кому повезет, вживую. С настроением посмеяться.

Интересно получается: смех отключает мысль. Сочувствие, сопереживание, второй и третий план он отключает. "Зачем... напрягаться, раскусывать намеки — это уже будет не отдых, это уже будет не воскресенье". Жванецкого воспринимают как воскресенье — а он, наоборот, сугубый понедельник.

Автор пробует бороться с этим несоответствием, робко намекая на "шутки, вызывающие улыбку сострадания". И даже не робко намекает, а прямо говорит: "Теперь, слава Богу, даже самый зубастый сатирик в полной безопасности. Зритель правильно понимает его и свою задачу и настраивается на веселый лад. Смеются все. Смеется и тот, в кого вы пустили свой жуткий заряд". Вот ты, в третьем ряду, по центру, ощупай себя, — не ранен? Однако животы уже трясутся, и раскрытые рты извергают разнообразные звуки, объединяемые словом "хохот". А для чтения мы возьмем с полки эпопею — "Войну и мир".

Я читаю собрание произведений Жванецкого, как четыре тома "Войны и мира". Только у Льва Николаевича я "войну" пропускала, — а у Михаила Михайловича война как раз самое интересное. Или не так: нет четкого разграничения между войной и миром, вся жизнь — театр. Военных действий. Автор справедливо опасается, что в хохоте зрительного зала утонут разрывы мин и стоны тех, кто подорвался, и позволяет себе высказаться прямым текстом: наш человек "так помнит войну, что уже не представляет себе жизни мирной".

Среди тех, кто "в драке не выручит — в войне победит", мыкается главный герой Жванецкого — капитан Тушин. Одиноким интеллигент, ведущий свою войну на забытой всеми батарее. С кем война? Перечислять долго, портреты "врагов" — визитная карточка Жванецкого номер один. По этим портретам и узнаваем. Склоняясь над картой фронта (Первого

Украинского, Второго Белорусского, Пятнадцатого Всесоветского), автор маркирует действительность. По этим флажкам узнаем эпоху, ее пароли, данные Жванецким же.

"Ставь псису!"

"— Нормально, Григорий! — Отлично, Константин!" (У них с собой было.)

"Вы не Сидоров-кассир. Вы убийца!"

"И что смешно — министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядят".

"Доцент тупой".

Хамы, дураки, приспособленцы, дураки, начальники всех рангов и мастей, бюрократы, дураки, воры и воришки, дураки, дураки, дураки...

Тушин тоже дурак. В такое время в такой стране пытаться жить по чести, по совести? По писаным законам? Трусит наш герой: приносили отку-да-то повестку, а он был в командировке. Что, что не так? "Кусок в горло не лезет". Трусит — и бросается на амбразуру: "Алло, вы меня вызывали?". Милиция? Военкомат? Вендиспансер? "Алло, вы меня вызывали?" Герой-мученик. Живет на одну зарплату, в рабочее время по магазинам не ходит, "он — наше чудо... стихи читает, книжки дарит, чай пьет — идиот, в общем". Не понимает, что вокруг происходит. Или понимает — и все-таки отстреливается? Пытается защитить "прекрасность жизни"? Как мой любимый экскурсовод в дегустационном зале, — ведь сотни раз уже видел свинство и безобразие, и все-таки опять: "Товарищи... Это молодое вино, сохранив-шее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка. Не глотаем. Не глотаем, набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекачиваем во рту...". Какое там спокойно! Все уже нажрались! Очень смешно описано. Вроде как всем выпить охота, а он, дурак, уговаривает перекачивать. Сквозь растерянное лицо специалиста по дегустации прогля-дывает автор: "Такого чтоб забыть эту жизнь к чертям или как вы выража-етесь, у нас нет, для этого лучше эмигрировать". Или сивуха.

Тушин тоже эмигрирует. В мечтах? В мечты! Жванецкий (клише): жуир, жизнелюб, жизнехват. Глубинно — мечтатель: "...из подвижности — мечты, мечты, мечты о доме, саде, заборе, камине". Кто сказал: не мечтать, а действовать? Семидесятые годы: действует тот, кто охраняет аптеку и имеет вату. Министр мясной и молочной промышленности действует. Тот, кто квартиру пробивал через горисполком, тоже действовал. Теща умерла, зять подселился, все в одной комнате, — жизнь прошла. Дом, сад, забор, камин — в мечтах. Мечтать — ночью. Ночью жизнь перекаивается

с общественного лакала на личное: "Всем, кому не ответил днем, отвечаю сейчас... скупое, точно, сжато, остроумно — характерно для меня!". Кому не знакомо это мучительное "остроумие на лестнице"?

Герой Жванецкого — человек под давлением. Его испытывают "высо-ким давлением", а он корчится, корячится (как средневековый карлик, ко-торого для потехи королей вырастили в кувшине) и все пытается как-то распрямиться, вывернуться, уберечь свое "я", свои "честь и достоинство".

В нелепых стараниях уберечь уязвленную самооценку, в мечущемся, слабом человечке узнаем свое, себя. Гоголевское (здравствуйте, Акакий Акакиевич!) смыкается с чеховским — "раба по капле".

Многое, что осознается нами как открытия социологов, озарения фи-лософов, достижения серьезных писателей, — намечено Жванецким. Или даже не намечено, а сказано вслух — отчетливо и мастерски, харак-терно для него! — но пропущено мимо ушей, утоплено во взрывах смеха.

"То, что мы приобрели, укрепив женщин, мы потеряли, ослабив муж-чин", — кому-то это тридцать лет спустя покажется банальностью, во-инствующие феминистки еще будут до этого дорастать.

У Венедикта Ерофеева в знаменитой поэме "Москва — Петушки" кро-ме пения ангелов более всего услышана мечта о счастливом крае, где не всегда есть место подвигу. Военный журналист Жванецкий твердит об этом давно и упорно: "...где-то рвануло, где-то упало, где-то сломалось. И всегда найдется он. Он выгащит. Он влезет. Он спасет... Иногда подвиг одного — это преступление другого".

Роман Виктора Пелевина "Из жизни насекомых" вниманием критики не обойден. Хороший роман. Но у Жванецкого — раньше и короче. Все пе-левинские комары, мухи и гусеницы — как "Камасутра" на рисовом зер-нышке — закуклены в одной миниатюре восьмидесятых: "Маленький вен-тилятор".

"Маленький вентилятор для закрытых помещений — несколько ос, связанных вместе на палочке, — жужжит и обвеивает. Только их надо акку-ратно кормить и каждую на веревочке держать, в крохотных ошейничках с вензелем "МЖ". Их четверо: Зина, Олечка, Люсечка и Константин.

В записной книжке, в корешке, живет светлячок Геннадий Павлович, который по ночам ползет впереди и освещает ярче или темнее, в зависи-мости от вдохновения, только его тоже нужно кормить и обязательно про-чищать животик кисточкой, смоченной в молоке.

А странички перелистывает обыкновенная гусеница, которую тоже надо кормить, но держать не на веревке, потому что ее и так преследуют..."

Цитирую "Вентилятор" практически полностью — для тех, кто утверждает, что обсуждаемого автора можно только слушать, а также для любителей современной "малой прозы" и новеллы абсурда. Жванецкий, семидесятые!

В миниатюре "Не выделяться" из-за маски коми-трагического героя неожиданно выглядывает автор — с неистребимой мечтой "...заниматься своим делом: монологи, философские размышления, этюды о будущем, фантастика". Хотя его "войны" вовсе не "звездные", как фантаст Жванецкий вполне состоялся.

"Специалист" и "В кулуарах" — монологи таких себе волшебников, которые все могут, всем помогают и все обо всех знают. Себе только помочь не могут. Скромно обедают, придерживая пальцем котлетку на черном хлебе — жест, характерный для автора. Подозреваю в образах этих богов-неудачников частицу авторского "я": кто-то же собирался "устранять недостатки нашей жизни путем чтения вслух художественных произведений"? Чем не фантастика?

Милый пустячок: "стройность женщин сохранится (пророчествовал за тридцать лет до), но необходимость вызывать огонь на себя приведет к фантастической одежде, открывающей одну ягодицу". За тридцать лет до конца двадцатого века (да еще в СССР!) жутко было смешно! И немножко неприлично. И никто не верил... Если в начале двадцать первого века вы листаете глянцево-журналы и время от времени смотрите передачу "Мир моды" (я смотрю), то вполне имеете возможность эту одну голую ягодицу наблюдать. Новелла "Мне показалось" (как раз о времени, в котором сейчас живем) вообще изобилует точностью попаданий: в правдоговорящих видят городских идиотов, никто их не боится, грамматика исчезает, секс помолодел, сократился, принял спортивный характер. Вот алкоголь пока, слава Богу, не в таблетках. А так: попал, попал, опять попал!

"Турникеты" — практически Оруэлл. "Контроль личных сумок — даже и не надо в каждом доме, только в узловых пунктах: подземный переход, вокзал, базар...". Додумывает ситуацию до логического конца или доводит до абсурда — что, собственно, одно и то же. Страшные, парадоксальные вещи говорит. Вот вроде бы выстраивают всех — фотографироваться. Детки впереди, родители на стульях. "Мамаша, возьмите на руки маленького, чтоб не заслонял... А вы почему не хотите... Улыбайтесь. Пусть вы останетесь веселым... Все улыбаются. Внимание. Пли!" Большой шутник.

Фантаст — без дураков. Напоминая, прогнозирует. Прогнозируя, напоминает.

У Людмилы Петрушевской поражает ужасом и точностью предвидения рассказ "Новые Робинзоны": глава семьи предугадывает наступление диких времен развала экономических связей, возвращения в первобытное состояние, грабежа и насилия — и уводит свою семью в леса, стараясь запастись пищей, свечами и мылом, всем-всем, что может пригодиться, когда не станет ничего.

Почему же этого ужаса предвидения никто не услышал в надрывно-хвастливом монологе: "Все в квартире держу — картошечка, лучок, мучка... Ванна всегда полная. Вдруг — с водой? Есть, есть — и нет, нет.

Свечечка наготове. Лампочка — тюк, а у меня свечечка и спичечка... А вдруг таким снегом занесет, что мы не выйдем никуда?.."

Некоторых таки занесло.

И жизнь — как та вода: "есть, есть — и нет, нет". Сквозная тема Михаила Жванецкого — исчезновение жизни, просачивание ее сквозь пальцы, проживание впустую, "нечувствительно". Даже не "есть — нет", а "будет, будет — так и не было!". Эта тоска по несбывшемуся — скорбь по себе, убогому, ленивому и нелюбопытному — порождает поэтический сплав иронии и лиризма, парадоксальный, безжалостный, страдающий.

Вполне фантастический рассказ "Как делается телевидение". Разве он о чудесах монтажа? Или о лживости средств массовой информации? Это же плач о тех, кто живет не своей жизнью и слабо подозревает, какой должна быть своя. Женщина, глава показательной семьи: "сына нам подмонтировали из другой семьи... руки на коленях не мои, руки мужские... а колени женские, тоже не мои — их взяли из передачи "Здоровье"... а в конце передачи и лицо не мое — актрису такую нашли под Душанбе...".

Особенно быстро ощущается бег песочка в часах жизни, когда смотришь на себя в зеркало. И Жванецкий особенно безжалостен в своих "Портретах" и "Автопортретах" (художника сорока четырех). И так остро, так преждевременно переживает старость, примеривается к ней: "вместо глаз — очки... вместо любви — диета... вместо сообразительности — мудрость...". Или: "А в основном это люди, смилившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком, и только не дай Бог если телефон откажет или будет стоять далеко от кровати...". И это написано в семидесятые годы о сорокалетних! Или тогда граница старости определялась по-другому? Пожалуй, не биологическая граница, а социальная. Чего мог ждать сорокалетний Тушин в своем, допустим, НИИ — на своей забытой батарее?

"Я никогда не буду высоким.

И красивым. И стройным.

...И фильм не поставлю.

И не получу ничего в Каннах.

Ничего не получу — в смокинге, в прожекторах — в Каннах".

Как виртуозно взлетает интонация на этом "в смокинге, в прожекторах", — в мечтах все было! Так явно, так выпукло было — "в смокинге, в прожекторах, в Каннах"! Так высоко взлетает — и шмяк мордой в действительность!

А ведь это действительность Жванецкого, где все-таки какие-то прожектора, и фертом на эстраде, и все любят, и хлопают, и хохочут как ненормальные... После этого за себя становится особенно обидно. Но затормозишь, перечтешь и врубишься в банальное, но неочевидное: у каждого свои прожектора, свои Канны, а ощущение "нераспробованности", "недожитости" единственной жизни — общее для каждого читающего и думающего. Не одна я такая закомплексованная.

Хам у Жванецкого смешон и страшен, интеллигент-слабачок — смешон и жалок: "обидно огорчать столько людей чем попало, самой жизнью своей". Обнаруживая в этой "жалкости" свои черты, мы обретали некое чувство общности, неодинокости. В этом миниатюры Михаила Михайловича сродни бардовской песне — они дарили нам ощущение некоего окопного братства.

В своих окопах будем читать и думать. Тормозить при чтении. Да, фраза Жванецкого стремительна и легка, она проносится в мозгу, как мотоцикл по треку: вжик — и нету! Она стрекочет, как кинолента, стремительно разворачивая перед нами сменяющиеся кадры, — и на слух едва успеваешь отследить смеховые моменты, зачем и пришел на концерт, сел к телевизору, включил видик. Так я же и повторяю: надо читать. Потому что фраза Жванецкого стремительна и легка, но что в ней? "О жизнь моя, побудь со мной!"

Легко, стремительно, характерно для него, Жванецкий останавливает мгновение: "Чуть добавил майонезу и начал перемешивать деревянной ложкой. И еще. Снизу поддевал и вверх. Поливал соком образовавшимся — и еще снизу и вверх". Но даже больше справедливо восхищающего всех неторопливого и вдумчивого перемешивания мне дорога фраза, останавливающая внимание именно при чтении: "Умылся тепловатой водой под краном". Тепловатая вода в жаркий день — фу! Что в ней хорошего? Это — жизнь. Жить — хорошо. Тепловатая вода — хорошо. Лучше, чем та студеная летейская (извините за пафос) струя, которая смывает нас когда-нибудь потом, после какого-нибудь "Воскресного дня".

Уговаривая жизнь задержаться еще ненадолго, Жванецкий изобретает поразительный прием превращения звука в изображение.

— Я хожу по Одессе, я не вижу ничего интересного.

— Вы и не увидите, надо слышать".

И он слышит — и через звук предельно минималистски подает характер: картавый-шепелявый капитан, "цицируете", "вы обдумываете, как это описац?", "шешешят" и этот несчастный "оценъ смесной целовек". И в нескольких фразах — судьба, и внешность, и отношение к жизни.

"Что — смотри? На кого мне смотреть?.. Мама, ну перестань с ней знакомиться. Ты ей не нравишься... Что значит, она пришла ради меня? Мама, ну что ты к женщинам пристаешь?.. Я не хочу!" — и это мама — полная, одышливая, смертельно заботливая, и это сынок — перекормленный, затюканный, смертельно к этой маме привязанный. И это трагедия, драма, комедия одиночеств. Скорее всего, со смертельным исходом.

Портреты и судьбы, проблемы и характеры — срез эпохи мы можем восстановить по четырехтомнику Михаила Жванецкого. Сочиняя эти заметки, я жила во втором томе — томе своей юности (молодости... свежести...). Тогда мне было уютно в моем окопе. Том "Девяностые" открыла с содроганием...



ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Борис РЕЗНИК	
Пациент из моего детства	15
Вероника КОВАЛЬ	
Тропою трепетной и вечной	43
Галина ПЕДАХОВСКАЯ	
Ничейные дети	55
В. КОРСАК	
Одесса. Исход... ..	66
Валентина ГОЛУБОВСКАЯ	
Детство с испуганными глазами	86
Олег ГУБАРЬ	
Удельный переулок	93

Борис РЕЗНИК

Пациент из моего детства*

Створки окна, у которого стояла кровать, были распахнуты, и ничто не препятствовало свежему вечернему, но еще по-сентябрьски теплому воздуху проникать в комнату. Только что мама, как обычно, поправила мою подушку и одеяло, поцеловала меня, пожелала доброго сна и, задержавшись на пороге, напомнила: "Боренька, смотри, не потеряй продовольственные карточки, когда утром будешь возвращаться из хлебного". Она могла бы и не говорить об этом: даже для меня, десятилетнего мальчика, были ясны катастрофические последствия подобной потери.

Почему-то сегодня никак не удавалось быстро заснуть. Возможно, сон перебивали мысли о запланированном с приятелями посещении загадочного магазина под названием "Торгсин", о котором по городу ходили самые невероятные слухи. А может быть, просто мешали различные звуки, четко слышимые в вечерней тишине, прислушиваться и отгадывать которые было моим любимым занятием. Вот раздался негромкий гудок паровоза, вслед за которым послышался многократно повторяемый лязг вагонных буферов: совершенно ясно — это на вокзале маневровый паровоз формирует железнодорожный состав. Вслед за этим над городом пронесся мощный гудок корабля: многократно отразившись от зданий, он создавал ложное представление, что в город прибыла целая флотилия. К гудкам было интересно прислушиваться и ранним утром: в разной тональности и с различной силой они оповещали о начале трудового дня, а днем в звуковом портрете города к уличной разноголосице присоединялись звонки трамваев и редких еще в ту пору автомобилей.

Но был один день в году, когда все эти звуки сливались в одну, ни с чем не сравнимую по мощи симфонию. Впервые я услышал ее зимой 1925-го года, мне было неполных пять лет. Папа, мама и я ужинали за небольшим конторским столом, заменявшим нам столовый, с потолка свешивалась электрическая лампочка, ярко освещавшая скромное убранство комнаты. Папа просматривал газету, а мама уткнула нос в очередной роман, который ей, как всегда, дали только на два дня. Я ковырял вилкой в тарелке и думал о непоследовательности взрослых — сколько раз они убеждали меня, что читать за едой вредно, "пищеварительные соки плохо выделяются, и пища не усваивается". Внезапно яркость света лампочки понизилась, и из окон донеслись гудки одновременно и заводов, и фаб-

*Окончание. Начало в кн. 15 Альманаха.

рик, и паровозов, и пароходов. Они волнами неслись над городом в течение нескольких минут, а затем постепенно стихли. Лампочка вновь ярко засветилась. С тревожно бьющимся сердцем я слушал объяснение отца: год назад, 21 января 1924 года, в 6 часов 50 минут вечера умер Ленин. Эта поминальная церемония повторялась ежегодно и прекратилась только в 36-ом, может быть, в 37-ом году.

Некоторые звуки, проникавшие в мою комнату сквозь окно, зарождались непосредственно во дворе дома. В ночное время самым важным из них был звон колокольчика, висевшего у окна дворнички. Он был следен каким-то умельцем из тильзы снарида и поэтому издавал как бы надтреснутые звуки, которые невозможно было спутать ни с какими другими. Дворник Лаврик заперал ворота ровно в 12 часов ночи, запоздавший жилец вежливо и осторожно звонил в дворничку, и вскоре раздавался скрип отворяемой двери, шаркающие шаги дворника по деревянному настилу подъезда, стук металлической двери смотрового окошка и лишь после этого легкий скрип отрывающихся ворот. На несколько мгновений волаарлась тишина, и в этой паузе я совершенно отчетливо себе представлял, как в сложенную торстью руку Лаврика пришедший опускает несколько монет (такую картину я видел воочию, когда однажды вернулся с родителями поздно из театра).

Но в последние годы были ночи, когда колокольчик звонил совсем иначе. Это сигнал был продолжительным, настойчивым и даже требовательным. Лаврик знал, кто может себе позволить звонить подобным образом, поэтому отпирал ворота значительно быстрее обычного. В подъезде раздавался грубый звук нескольких пар сапог и приглушенный разговор — это Лаврику называли нужную квартиру и фамилию жильца. Многоточисленные жильцы тревожно прислушивались, куда направятся шаги пришедших. После звонка во входную дверь квартиры раздавался женский крик, иногда плач детей, и затем наступала тишина. Слуга несколько часов звуки повторялись в обратном порядке и лишь с одним изменением: к шагам ночных посетителей присоединялись шаги арестованного хозяина квартиры. Нет, то не был еще пресловутый 1937 год с его арестами, репрессиями и расстрелами, то была предлюдия к нему, остроумно названная одеситами "золотухой". Суть этой широкомасштабной кампании состояла в насильственном изъятии золота и драгоценностей у бывших нэпманов, остатков "эксплуататорских классов" и вообще, у всех тех, на кого поступил "сигнал" (читай — донос) в компетентные органы о сокрытии "нетрудовых" доходов.

Арестованные в годы "золотухи", в отличие от репрессированных "врагов народа", кто раньше, а кто позже, но все же возвращались домой. Они все упорно отказывались рассказывать, что с ними происходило во время заключения. Но один очень близкий мне человек через много-много лет открыл мне тайну происшедшего с ним в те годы. Его приветливо встретил следователь, предложил папиросу, а затем очень вежливо попросил добровольно стать в пользу государства для строительства объектов сталинской пятилетки те ценности, которые по его, следователя, данным у арестованного есть. В случае отказа он будет задержан на несколько дней, однако, дескать, беда в том, что места имеются только в переполненных до предела камерах, где сидят уголовники. Рассказавший мне эту историю, несомненно, был умным и понятливым человеком, он немедленно написал жене записку следующего содержания: "Дора! Отдай подателя сего все — ты знаешь, где оно спрятано. Бог с ним, с сережками и кольцами моей незабвенной тещи, зато следователь обещает, что завтра я вернусь домой. Твой Давид". Следователь сдержал слово, и мой покойный тесть — "новонеспеченный спонсор" строек 1-ой пятилетки действительно уже на следующий день прижимал к груди свою верную жену — мою будущую тещу.

Но в описываемые мною вечер и ночь колокольчик у окна квартиры Лаврика вел себя спокойно, и я, наконец, потружился в сладостный сон.

Я проснулся от лучей солнца, ярко освещавших мою маленькую комнату. Правда, слово "мое" было явным преувеличением: в действительности она числилась проходной в нашей коммунальной квартире, ибо находилась на пути следования нашей соседки из ее комнаты в кухню. Соседка была тактичной женщиной, а я — воспитанным мальчиком, поэтому мы старались не мешать друг другу: она — не шуметь, когда ребенок спит, а я — не затрещивать своими ипшулками ее путь следования. В квартире царил тишина, и это было признаком того, что все домохозяева рабежалась по своим делам. Первой уходила мама, которой предстояло тремя трамваями доехать до Пересыпи, где располагался завод, в бухгалтерии которого она с недавних пор работала. Побудительной причиной для того, чтобы забросить преподавание игры на фортепиано и овладеть профессией бухгалтера, была необходимость в получении продовольственной карточки более высокой категории. Действительно, когда мама принесла с завода "рабочую карточку", папа был посрамлен, ибо он был владельцем всего-навсего карточки служащего. Свою лешу как владелец детской карточки в продовольственное снабжение семьи вносил и я.

Но наличие карточки еще не означало беспрепятственное получение продуктов, предусмотренных ее отрывными талонами. Самым трудным делом было отоваривание карточки в магазинах так называемого "Церабо-опна" (Центрального рабочего кооператива), в которые продукты поступали нерегулярно и в недостаточном количестве. Именно в те годы прочно утвердились слова: "дают" и "отпускают", заменившие старое "продают". К примеру, по дому разносился слух, что в магазине на Пушкинской уголок Большой Арнаутской, кажется, сегодня будут "давать" (или "отпускать") по талону "рыбные изделия", очень хорошую телянку, и все жильцы дома устремились за вожделенной рыбкой. Тогда же плетеная нитяная корзинка, легко умещавшаяся в кармане, получила бессмертное название "авоська", т. е. ее владелец, уходя из дому, говорит: "Авось, по дороге с работы удастся отоварить какой-нибудь талон продкарточки..."

Переход мамы на государственную службу был чреват для меня — школьника четвертого класса — рядом новых обязанностей. Во-первых, стоянием в очереди за хлебом, что было уже интересно: именно в очереди можно было узнать все местные и даже международные новости. Во-вторых (что было трудней), я должен был получить и донести до дома, не разлив по дороге, первое, обед для всей семьи из "Домовой кухни", которая была открыта на Пушкинской уголок Успенской, в шести кварталах от нашего дома. Тогда мама славала ежемесячно часть наших продовольственных талонов.

Первым отреагировал на мои ежедневные походы в "Домовую кухню" сосед по парадному ходу и соученик по классу Буся Молодецкий. "Куда это ты каждый день ходишь с корзиной?" — однажды спросил он. Узнав о существовании неведомой ему и поэтому интересной "Домовой кухни", он затворился желанием посетить ее. На следующий день в условленное время он уже поджидал меня у двери своей квартиры, и мы кратчайшим путем, срезая углы кварталов и пересекая проезжую часть улиц по диагонали, помчались к цели. "К сожалению, обратный путь будет более протяженным, — заметил я, — придется идти по Пушкинской и Большой Арнаутской: там плитки тротуара уложены более аккуратно и поэтому легче сохранить равновесие и не пролить суп".

Осмотр "Домовой кухни" явно разочаровал моего друга: полуподвальное помещение, обыкновенная плита, отапливаемая дурной семян подсолнечника, и несколько больших кастрюль с готовой пищей. В те годы на такой вид топлива перешли многие одесситы: дурга сторала жарким пламенем и была сравнительно дешева. Правда, нужно было встывать в тонку

голландской печи нехитрое приспособление, изготавливавшееся жестяниками на Привозе. Это был металлический цилиндр, разделенный горизонтальной пластинкой на два этажа: пластинка была перфорирована, и через многочисленные отверстия воздух поступал из нижней полновыя цилиндра к лузе, которая поэтому сторала полностью. Правда, дверцу печи приходилось держать все время открытой.

"Подумаешь, — сказал мой друг, — и мы отапливаем квартиру дургой". Понариха взгляла в мою кастрюлю три маленьких черпачка жидкого супа, в котором можно было заметить немногочисленные зерна перловой крупы, редкие картофелины с темными пятнами порчи и листки калуств. "Зато на второе у нас сегодня макароны по-флотски", — порадовала она меня. Засыпав во вторую кастрюлю три порции макарон из муки пубото помола (по числу прикрепленных слюков), она добавила туда три чайных ложечки молотого с жареным луком отварного мяса и полила все это тонкой струйкой коричневого подсолнечного масла. Хлеба не полагалось.

Когда мы направились домой, мой друг саркастически заметил: "Ты несешь корзину, будто в ней не кастрюли, а граната, снятая с предохранения". Подобное наглое заявление требовало отпущения, и я его придумал! "Не каждый может нести корзину, не раскачивая ее и не проливая суп. Тут требуется ловкость жонглера-канатоходца и мускулы атлета", — заявил я. Как я и предвидел, Буся клонула, т. е. спустя несколько минут сказала:

- Боря, будь другом, дай поносить корзину хотя бы до Базарной.
- Что ты! Разве я могу riskовать обедом для всей семьи?
- Уверяю тебя, что не пролью ни капли!
- Слабо!
- Спорим, что не пролью!
- На что спорим?
- На интерес.
- Шутить?
- Ну, тогда на кинные...
- Даю, три твоих "красотки" против одной моей.
- По рукам!

Приведенный диалог требует пояснения. "Кинными" назывались кадрики из старых кинофильмов, причем, они делились на "простые" и "красотки". Последними считались те, на которых были хорошо различимы известные киноактеры: Бастер Китон, Гарольд Ллойд, Дуглас Фербенкс, Мари Пикфорд и им подобные. Кинные добывались различными путями.

Мы, мальчишки с Большой Арнаутской, находили их у ворот и во дворе дома, расположенного между Пушкинской и Рингельевской, в котором размещался склад кинофильмов Управления кинофикации; в нем производился ремонт кинофильмов, во время которого вырезывались кадры с поврежденной перфорацией. Другие ребята выпрашивали кинные у киномехаников.

Тем временем я передал корзину Бусе, а сам пристроился позади него, приготовившись считать вытекающие из корзины капли супа. Как я и предполагал, мой друг проиграл пари еще задолго до того, как мы достигли пересечения Пушкинской с Базарной. Видимо, он не скрыл от соучеников факт своего поражения, т. к. на следующий день на перемене ко мне подошел Лева Кочубеевский, страстный спорщик и бузотер, и заявил, что уверен в своей победе. Я решил, что пришло время повысить ставки, поэтому согласился на соревнование лишь при условии, что он ставит против моей одной "красотки" — пять своих. Увы, его постигла участь предшественника. Затем то же произошло с Леной Серебряным и Босей Рубинштейном. Моя коллекция кинных пополнилась отличными "красотками".

Тревогу подняла моя мама. Вначале она грешила на повараху, подозревая, что та недоливает суп, но затем пришла к выводу, что потери связаны с тем, что я разливаю первое блюдо по дороге. Вечером она сказала: "Мальчишка неудобно и тяжело нести неуклюжую кошелку с каштрулями. Сегодня я видела в магазине ЗРК нашего завода отличные и недорогие судки. Завтра же их куплю."

Слова моей мамы, понятные всем моим современникам, нуждаются ныне в разъяснении. ЗРК ("Закрытые рабочие кооперативы") пришли в 1931 году на смену Церабкоопу, не оправдавшему себя в условиях карточной системы. В них объединились по производственно-профессиональному принципу все трудящиеся и члены их семей. Мне помнятся такие названия, как "ЗРК железнодорожников", "ЗРК работников связи" и, конечно, "ЗРК студентов и преподавателей вузов", в котором начал работать в качестве экономиста мой отец после окончания без отрыва от производства соответствующего техникума. Постоянное, всем известное число прикреплённых к ЗРК пайщиков позволяло планировать снабжение магазинов товарами и своевременно их выдачу, что, в свою очередь, привело к сокращению очередей. Однако норма продуктов и их качество, разумеется, остались прежними.

Однако в это же время появились в полном смысле "закрытые" торго-

вые учреждения для ограниченного контингента одесситов. Они назывались "закрытыми распределителями". В моей памяти сохранились лишь два из них: Закрытый распределитель НКВД и Закрытый распределитель партийного и советского актива. Разумеется, об их работе сказать ничего не могу. Вспоминаю лишь одну, полную скрытого смысла деталь. Отец одного из моих соучеников работал в Распределителе НКВД в скромной должности продавца магазина. Но и он получил возможность купить по очень низкой цене добротное пальто, которое, хотя и не являлось частью военной формы сотрудников этого ведомства, но было сконструировано столь оригинально, что выделяло владельца из общей толпы простых смертных. Пальто было шито из темно-серого коверкота по типу "ретлан", было всесезонным, т. к. меховой воротник и утеплитель могли быть отстегнуты. Сзади была пристроена вторая накладная спинка, а спереди — кокетка. Оно было украшено множеством красивых металлических пуговиц, и в талии перетягивалось матерчатым поясом с красивой пряжкой. Такие пальто нигде, кроме распределителя НКВД, не продавались, и их никто не носил, кроме сотрудников НКВД. Но у этого пальто была еще одна достопримечательность, приводившая нас, мальчишек, в трепет. В отсутствие отца наш соученик продемонстрировал, что в правом кармане пальто имеется специальное "окно", сквозь которое владелец пальто при необходимости может извлечь наган из кобуры, висшей на пояском ремне под пальто. Трепетали мы, трепетали и взрослые, которые неожиданно могли оказаться в числе "врагов народа"...

Второй названный мамой предмет — судки — представлял собой три небольших каштрули с плоскими крышками, установленными одна на другую в виде башенки. Они скреплялись специальным съёмным металлическим бандажом, снабженным удобной ручкой. Возможность пролить суп была, таким образом, сведена к нулю. К такому же итогу была сведена и моя спортивно-коммерческая деятельность. В дальнейшем я посещал "Домовую кухню" в одиночестве.

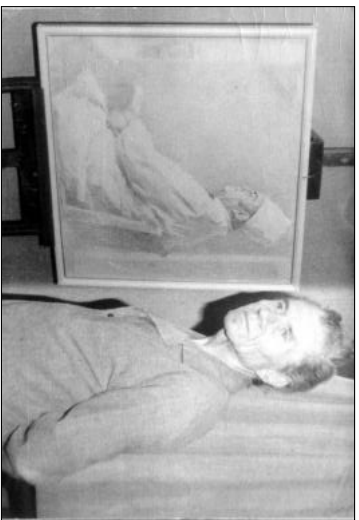
Моя "трудоваа деятельность" не отражалась на своевременном посещении школы: как раз с этого учебного года наш класс был переведен на вторую смену, поэтому я успевал справиться со своими обязанностями до начала занятий. Правда, уроки приходилось готовить поздно вечером, с завистью прислушиваясь к голосам сверстников, развившихся во дворе.

Моя школа находилась всего в двух кварталах от дома. Я ее очень любил, наверное, потому, что в свое время сам выбрал для себя. Произошло это в 1929 году следующим образом. Однажды мама перед очередной про-

гулкой по городу обратилась ко мне с необычным предложением: "Осенью ты пойдешь в школу. Пора решить вопрос, в какую тебя определить. Хочешь принять в этом участие?". Можно ли было сомневаться в моем положительном ответе? Три школы нашего микрорайона располагались на одном квартале Большой Арнаутской, между улицей Белинского и Канатыным переулку, все три были украинскоязычными. Единственная русскоязычная находилась дальше, на Успенской. Угловой была школа № 23. Она показалась мне маленькой и незрелой (всего два этажа!).

Мое мнение не изменилось даже после того, как мама сообщила, что по вечерам она с папой посещает именно эту школу, в которой ходят курсы украинского языка, занятия на которых стали обязательными для всех государственных служащих в соответствии с проводимой "украинизацией". "Пусть себе ходят, а мне школа не нравится", — подумал я.

Забравшая 23-ю школу, я, тем не менее, не потерял в дальнейшем связь с тем местом, на котором она некогда стояла. Дело в том, что в годы



войны эта школа была разрушена и результаты прямого попадания авиабомбы. В послевоенные годы на ее фундаменте был выстроен жилой дом для одесских художников, на пятом этаже которого были обустроены их мастерские. Одного из наиболее известных художников — народно-

го художника Украины академика Михаила Михайловича Божия мне довелось оперировать в связи с тяжелым заболеванием. Вскоре после операции он вернулся к творческой работе и в знак благодарности решил написать мой портрет, для чего и пригласил меня в свою мастерскую. Во время сеансов позирования мы обсуждали различные проблемы и близкие отношения от нашего общения он отправил в статью "История одного портрета", которую поместил в газете "Вечерняя Одесса" 10 июля 1981 г., что вышло одним из наиболее памятных подарков ко дню моего шестидесятилетия.

Вернемся, однако, к вопросу выбора школы...

Нало сказать, что для нашей русскоязычной семьи украинский тоже

не был чуждым. Мои родители слыли театрами и часто посещали Украинский театр, который в то время назывался "Держдрама". По их мнению, это был лучший театр в городе. Приходя домой после очередного спектакля, они весело обменивались впечатлениями, упоминали названия пьес и имена актеров. Поэтому я уже тогда, пока заочно, знал Шумского, Ужвий, Нятку, Василько, Машевскую и других, равно как и названия таких пьес как "Богоневый погон", в которой Шумский "был великолепен", "Лісова пісня", "Республіка на колесах" и др. Помню, что, по мнению мамы, Юрий Шумский в женской роли в пьесе "Тетя Чарлз" играл ничуть не хуже, чем самый известный ее исполнитель Степан Кузнецов — актер московского Малого театра.

Следующая, 56-я школа, мне тоже не понравилась, хотя в ней размещалась районная детская библиотека. Была она еще меньше предыдущей и еще более незрелой. В конце концов, библиотеку можно посещать, не будучи учеником школы. Последней по счету была школа, которую взрослые уважительно называли "48-я школа — бывшая гимназия Панченко". Она была высокой (целых три этажа) и красивой. В ней были большие классы и широкие коридоры. В ее просторном дворе размещались мастерские, в которых ребята знакомили со столярным и слесарным делом. Помимо всех описанных преимуществ эта школа была овеяна для меня некой героической тайной. Недавно я стал свидетелем разговора двух мам, пришедших в школу за своими детьми-первоклассниками. Оказалось, что директор этой школы, некий Варшавский, был троцкистом, и "когда за ним пришли", ученики старших классов учинили настоящий бунт и в знак протеста "выпрыгивали из окон". Я не знал, что означает слово "троцкист" и почему хорошего директора следует за это арестовывать, но героический поступок мальчиков меня потряс. А вдруг и во мне до поры до времени дремлет герой?

Я не стал дальше выбирать и сказал маме, что хочу учиться именно в этой школе. Мама, как я понял, была согласна со мной, но совсем по иным соображениям. Как-то в разговоре с отцом она сказала: "Русский язык ребенок будет знать и без школы: он слышит дома правильную речь и его окружают книги на русском языке. Но раз он будет жить, учиться и работать на Украине, ему необходимо также знать язык коренного населения. Этому он может научиться только в школе". Как часто, делая свои первые шаги на врачебном поприще в сельском районе Николаевской области, я мысленно благодарил маму за ее мудрость. Как легко мне было общаться с моими первыми пациентами, и как доверительно они ко мне

музыки, доносившимся со второго этажа: это, несомненно, был патефон, и не один, а несколько одновременно. Действительно, на втором этаже продавались различные предметы бытовой техники. Патефоны были импортные, на внутренней стороне их крышек красовались торговые марки, мне запомнилась та, на которой была изображена собачка, внимательно прислушивающаяся к звукам из раструба граммофонной трубы. Вокруг всей картинки была надпись на английском языке: "Она узнала голос своего хозяина". Продавец положил новую пластинку на диск, и в зал полились чарующие звуки модной в то время песенки "Пытайнер", а из второго патефона тут же раздавалась очень красивая польская песня "Маленька Манон". Наше внимание привлекли велосипеды, шины которых были отлиты из чистейшего светло-коричневого каучука, они сверкали хромом и были оснащены электрофарой...

Впечатлений было так много, что мы уже не обратили внимания на рулоны дорожных импортных тканей в отделе, расположенном по соседству, прошли мимо всего остального изобилия и в молчании покинули магазин. Вдали на Греческой стояла длинная очередь за хлебом, хмурые и плохо одетые одеситы произвольно ускорили шаги, проходили мимо "Торгсина", — мы вернулись из сказочного мира в нашу суровую действительность.

Дома я рассказал о нашем походе родителям. По мере того, как я делился с ними своими восторженными впечатлениями, их лица становились все более и более серьезными и даже суровыми. После довольно долгого молчания мама, наконец, сказала: "Оставлю в стороне вопрос о том, что ты пошел туда, не согласовав вопрос с нами. Думаю, что об этом скажет папа. Что касается твоего восторга от увиденного, то я его не разделяю. Ты ведь отдаешь себе отчет в том, что в стране голод, что люди умирают, особенно в селе, и что наша семья тоже едва сводит концы с концами. Это аморально: в таких условиях соблазнять людей возможностью сытно поесть, расставившись для этого с семейными реликвиями, которые достались им от предков и близких. Это аморально даже в том случае, если делается в целях индустриализации страны. Когда ты подрастешь, то поймешь значение поговорки: "Дорога в ад вымощена добрыми намерениями". А твой сегоднешний восторг — это, как говорится, пир во время чумы". Больше вопрос о "Торгсине" в нашей семье не возникал...

Миновал год, голод постепенно начал отступать, но в целом жизнь оставалась тяжелой. Продолжалось "уплотнение" коммунальных квартир. В мою маленькую проходную комнату была вселена пожилая женщина. Переступив порог квартиры, она отпрекомендовалась: "Вдова генерала

Императорского Генерального штаба Олега Бегельдева". Всегда за ней были внесены необычные, явно дореволюционные вещи: два пухлика, софа и трельяж. Как и почему она из Петербурга попала в Одессу, оставалось для всех загадкой. На нашей входной двери повислась надпись: "О. Бегельдевой звонить (или стучать) три раза". Изредка ее навещал престарелый полуглухой мужчина, вероятно, бывший офицер. Об этом нетрудно было догадаться, услышав в передней шелканье каблучков, звук поцелуя руки и слова: "Олга, Вы, как всегда, очаровательны". В ответ она целовала его в голову и провожала в комнату, откуда слышались громко и нарочито внятно произносимые слова их беседы:

— Вы помните новгородный бал у баронессы Н.?

— Как же, как же! Именно там я и был впервые представлен Вам.

— Ах, это было так недавно! Как бежит время...

Несмотря на аристократизм, "Бегельдейка" оказалась неуживчивой соседкой, склонной к сутяжничеству. Вскоре она затеяла тяжбу о переместе статуса "проходной" со своей комнаты на нашу, где следовало установить фанерную перегородку для прохода всех соседей на кухню. (Подобными же "делами" в те годы были буквально завалены все суды.) Я спас свою семью от вторжения чужих людей не только в квартиру, но уже и прямо в комнату — наличие маленького ребенка, т. е. меня, помогло ему отцу выиграть дело в суде. Но в некоторых квартирах нашего дома соседки разделились таким образом, что одним достались комнаты с выходом на парадную лестницу, но без "удобств" и кухни, а другим — с кухней и выходом на "черный ход" — узкую железную лестницу, выходящую на второй двор. Пропеесс уродования добротного и относительно нового дома на этом не заканчивалась. До сих пор в нем остались выдолбленные в широких капитальных стенах "ласточкины пнезды", где владельцы парадного входа ухитрились обустроить себе не только кухню, но и туалеты.

Скудность была не только в домах, но и в школах. Классы были переполнены: по 40-45 ребят в каждом. Работа в 2 смены не обеспечивала "охват школой" всех нуждавшихся, и администрация была вынуждена принимать не совсем обычные решения. Так, на 3-ем этаже "бывшей гимназии Панченко" часть коридора была отгорожена фанерной перегородкой, что позволило получить дополнительное учебное помещение. В этом фанерном классе я и учился. Более того, школа перешла на работу в три смены, последние уроки проходили поздно вечером, электричество в те годы отключалось часто, и занятия велись тогда в полной темноте. Я вспоминаю наш класс, едва освещенный единственной керосиновой лам-

пой, стоявшей на столе учителя, и нас, мальчишек, развлекавших, кто как мог. Но и в этих условиях учителя всеми силами стремились насытить нас знаниями, а мы, как пересохшая от зноя земля, впитывали их, как долгожданные капли дождя.

Любимым увлечением моих сверстников было чтение, читали всё, без разбора: от Пушкина, Шекспира, Жюль Верна, Дюма и до "Похождений Рокамболя" и "Занимательной физики" Я. Перельмана. Воскресные дни нас водили, разумеется, бесплатно, в музеи и театры. В школе успешно работал драмкружок, которым руководила учительница младших классов Вера Львовна Глац, мы репетировали у нее дома, и мне почему-то всегда доставались отрицательные персонажи фабрикантов и кулаков (последней моей ролью был Чирва-козырь в пьесе известного украинского драматурга Микитенко "Диктатура").

В начале 34-35 гг. школу возглавил новый директор, совсем еще молодой человек (даже по нашим тогдашним меркам) спортивного телосложения, у которого под пиджаком угадывались крепкие бицепсы. Наши девочки добывали к этому портрету привлекательные серо-голубые глаза и каштановые волосы с непокорным курчавым вихром над лбом. Звали его Григорий Маркович, и мы вскоре направили его ласковым прозвищем "Гриша", которое закрепилось и передавалось из поколения в поколение. Он об этом знал, но не сердился. Вскоре стало известно, что раньше он был учителем физкультуры, но закончил исторический факультет университета и переклочился на преподавание новейшей истории.

С его приходом в школе произошли некоторые важные изменения. Ему удалось добыть дефицитные учебники, и мы стали получать один учебник не на четверых, а на двух учеников. Спортивный зал переоборудовали, пополнили инвентарем, и у нас увеличилось количество уроков физкультуры. Одажды во время большой перемены я забегал туда, чтобы увидеть до сих пор мне неизвестные "параллельные брусья", их установкой руководил, сидя на новеньком "козле", сам Гриша, а когда все было готово, он сбросил пиджак и сноровисто выполнил на брусьях комбинацию сложных упражнений. Восторженные ребята обступили его туфьбой, и он пообещал всем нам, что и мы сможем не хуже, если будем тренироваться, а зал будет для этого в определенные часы дня открыт.

В духе времени Григорий Маркович решил оборудовать в школе местный радиоузел. Увлечение радио было в те годы повсеместным. Многие мальчишки, в том числе и я, пользуясь описаниями журнала "Радио-копейка", мастерили детекторные радиоприемники. Но с их помощью удава-

лось поймать всего одну радиостанцию: РВ-1 имени Коминтерна, работавшую в Москве, — да и то, только на наушники. Вскоре в продаже появились ламповые радиоприемники, "БЧН", на верхней панели у них появились 4 микролампы, через репродуктор "Рекорд" они могли вещать громко и устойчиво, но для этого требовалась длинная антенна и батарейное питание. Естественно, это все было дорого и малодоступно. Большинство горожан удовлетворялось радиоточкой, подключенной к городскому радиотрансляционному узлу. Задачный радиоузел находился на втором этаже большого дома на Рижской улице Жуковского, где на первом этаже еще со времен нана находился самый большой детский магазин под названием "Два слона". У нас в квартире тоже появился репродуктор на стене, и я помню, как осенью 33-го года мы с папой ждали очередной трансляции. Ровно в 6 часов вечера в "тарелочке" что-то шелкнуло, и приятный женский голос сказал: "Внимание, говорит Одесса! Работает радиостанция РВ-13 и городской радиотрансляционный узел. Прослушайте новости". По окончании новостей тот же голос объявил: "А теперь прослушайте трио Бетховена в исполнении: Лембергский — скрипка, Вайнер — виолончель, у рояля Саксонский". Этот ансамбль исполнителей в то время выступал на радио так часто, что окончание фразы диктора "...у рояля Саксонский" всем запомнилось и приобрело нарицательный смысл, равный в нашей обиходной речи современному ответу "Окей!" или "Порядок!" на вопрос "Как дела?".

Вернемся к школьному радиоузелу. В предании директорского кабинета был установлен усилитель, а в коридорах и в классах развешены репродукторы. Два энтузиаста — ученики старших классов Энон Авербух и Лесик Кирколуло, активно помогавшие Грише в радиофикации школы, за пять минут до начала большой перемены начинали передачу "Школьных вестей". Они сообщали не только о достижениях того или иного класса в учебе и результатах сбора металлолома, но и называли имена прогульщиков и нарушителей дисциплины, поэтому радиопередачи хоть и нравились, но их немного и побаивались — прешки водились за каждым...

В марте 1935 года на школьном собрании, посвященном Дню Парижской коммуны, Григорий Маркович сообщил о начале строительства в центре города трех больших новых школ. Их открытие должно было ликвидировать перетраку ныне действующих школ и обеспечить нормальные условия учебы. Наше дружное "Ура!" было естественной реакцией на слова директора о том, что одна из трех школ будет расположена поблизости, на месте старого базарчика, и в нее смогут перейти несколько

ко классов из нашей школы. Вскоре стало известно, что еще до окончания ее строительства директором этой новой школы был назначен наш Григорий Маркович. Он стал часто убегать на стройку, о чем-то спорил со строителями и обсуждал с некоторыми педагогами детали обустройства классов. Новая школа, которой был присвоен номер 100, росла буквально на глазах. Ее строили и днем, и ночью в фантастическом свете прожекторов. Башенных кранов тогда не было, и рабоче на собственных спинах по наклонным сходням заносили вверх весь строительный материал, но, тем не менее, уже через 5-6 месяцев, как раз к началу 1935-36 учебного года, строительство было завершено. (Одновременно были выстроены 117-я школа на углу улиц Рихельевской и Жуковского и 119-я — на Александровском проспекте...)

Последний день каникул — это всегда особый день: каникулы вроде бы закончились, но и учеба пока не началась. Между собой борются два желания: еще немного погулять или пойти домой и приводить в порядок книги и тетради, но этот день — 31 августа 1935 года — был для нас особенно тревожным, т. к. еще не было известно, какие классы перейдут в новую школу. Мы с моими двумя друзьями решили все-таки отдать предпочтение развечению и отправились на всеми нами любимый велотрек, который находился недалеко — напротив Отрады. Велоспорт был всегда любим одесстами. Имена велосипринеров были не менее известны, чем имена футболистов. В те годы особенно знаменит был динамовец Рыбальченко, часто побеждавший своего постоянного соперника Гейнемана, приезжавшего на соревнования из Киева. Рыбальченко возглавил команду одесских велосипристов, совершивших небывалый по сложности велопробег Одесса — Дальний Восток, протяженностью в 14 тысяч километров! Имена одесских велосипристов стали тогда известны всему миру. Как мне было жаль, когда этот признанный центр велоспорта был в 60-е годы снесен под стройплощадку новой оперетты!

В тот день велотрек был заполнен зрителями до предела. Кое-как мы нашли места на скамье последнего ряда и взпромоздились там во весь рост. Соревнования были очень интересными — участвовали лучшие велосипристы Одессы и Киева. Вылетая на вырваки, они принимали почти торжонтальное положение по отношению к дорожке трека, и, привстав с седел и бешено вращая педали, летели к финишу. Очень интересны были тонки за лидером — мотоприклистом в широочной кожаной куртке, задачей которого было рассекать своим телом воздух перед велосипристами.

В перерыве между заездами я оторвал взгляд от дорожки и осмотрел-

ся. На соседней скамейке стояла, так же как и мы, во весь рост, девочка, которая была чудо как хороша! На ней, по тогдашней моде, была полосатая футболка со шнуровкой на груди. Рукава были закатаны до локтей, обнажая очень красивые руки. Синия сатиновая юбочка едва прикрывала такие же красивые колени, а на ногах были белые носочки и белые матерчатые спортивные туфли на резиновой подошве, так называемые "тенниски". Ее голову со слегка выщипансы черными волосами зашпищала от лучей солнца импровизированная треугольная шапочка, сложенная из газетного листа. Девочка показала мне такой красивой, что я не мог перевести дыхание от восторга. Все оставшееся до конца соревнований время я посвяттил тому, чтобы привлечь ее внимание к своей особе. Громкими возгласами я подбадривал велосипристов, соскакивал, а затем вновь всакивал на скамейку, оживленно жестикулировал и, как мне казалось, уместно острли. Все мои усилия были напрасны. Так я и ушел с велотрека, не узнав ни ее имени, ни адреса, ни номера школы, где она учится.

Утром следующего дня сообщили, что наш класс переводится в новую школу. Мы быстро собрали свои классные реликвии: старый глобус, указку учителя, последний номер стеной газеты и, конечно, красный вымпел за лучшее санитарное состояние класса, построились и организовано направились к новому месту учебы. К новой школе стекались колонны учеников и из других школ района, и в одной из них я внезапно увидел свою вечерашнюю незнакомку. Я воспринял это и как подарок судьбы, и как поощрение к дальнейшим действиям.

Знакомство со школой началось после приветственного слова Григория Марковича. Прежде всего, нас поразили учебные кабинеты, которых в прежней школе не было. Я задержался в кабине физики и долго рассматривал шкафы, заполненные интереснейшими приборами, о которых я знал пока только из книг: электрофорная машина, лейденские банки, катушка Румкорфа и даже телеграфный аппарат Морзе. Еще нас всех поразило несоразмерно большое количество туалетов: не менее 6-8 на каждом этаже. Лишь значительно позднее, изучая военную медицину в институте, я понял, что в проекте этих новых школ учитывалась возможность их



Прекрасная незнакомка с велотрека оказалась еще и велосипристой!
(Крайняя справа.) 1935 г.

быстрого перепрофилирования в госпитали для раненых. Время, данное нам для ознакомления с новым зданием, я использовал также для того, чтобы навести справки о понравившейся мне девочке. Вскоре я уже знал, что ее зовут Цили (какое прелестное имя!), но чаще ее называлот ласково-уменьшительным "Циленька", что учится она в восьмом классе, т. е. старше меня на год, и живет в Отраде. Не прошло и нескольких дней учебы в новых стенах — и все мои соученики убежденно стали говорить, что "Боря бегает за Цилей", — так на нашем сленге называлось ухаживание за девочкой. Спустя 2-3 месяца я получил разрешение провожать ее после школы, а еще спустя короткое время — нести при этом ее портфель. Мы подружились, стали вместе готовить уроки, каждый — свои, играли в игры: шахматы, шашки, "кремужки", ходили вместе в кино. Мы познакомились с родителями друг друга и поняли, что они не имеют ничего против нашей дружбы. Но иного мнения был педагогический коллектив школы, пригласивший немало усилий, чтобы нас разлучить. Поскольку ни беседы с нами поодиночке и вместе, ни беседы с нашими родителями не дали желаемого результата, к "вопросу о Боре и Циле" был подключен директор. Однажды



Некоторые педагоги вновь выстроены школы № 100 среди учеников 6-го класса. Ш ряд (в центре): Григорий Маркович Радзинский — директор, Ева Марковна Волопина — "историчка", Александра Исаковна Кальфа (супруга известного окулиста) — "немка". У ряд: Павел Семенович Тексеки — "руссак" (в центре), Александра Дмитриевна Солтыс — "онолочишка" (вторая справа), 1935 г.

в мой класс вошла наша классная руководительница Ева Марковна и сообщила, что меня срочно вызывает директор. Глядя сидел, нахмурившись, и был в явном затруднении, с чего начать наш разговор. Видимо, педагогическая наука тогда, равно как и ныне, еще не выбрала должных рекомендаций в случаях ранней влюбленности. Наконец он прервал молчание:

- Мне сказали, ты стал хуже учиться...
- Это вы про тройку по-немецки, так я ее давно исправил.
- Нет, я имею в виду, что с некоторых пор у тебя не хватает времени на учебу.
- ??? — я изобразил крайнее удивление на лице.
- Ты же каждый день провожаешь Цилю домой.
- Я оберегаю ее от хулиганов, она же живет в Отраде, а там их полным-полно.
- И ты уверен, что справишься с ними?
- Я занимаюсь гантельной гимнастикой.

На лице бывшего учителя физкультуры появился профессиональный интерес:

- Какого веса гантели ты используешь?
- Ну, точнее сказать, это не гантели, а два маминих чулковых утюга...
- Будь осторожен с весом — ты можешь надорвать себе сердце, — упоминание о сердце вернуло его к основной теме нашей беседы. — А что говорят родители о вашей дружбе?

— Они не возражают, а мама говорит, что Цили ей нравится, и прежде всего — своей скромностью...

Задав еще несколько вопросов, Григорий Маркович окончательно убедился в отсутствии необходимости принимать административные меры в этом случае. Он отпустил меня и напутственно произнес: "Я надеюсь, что вы не оторчите ни своих родителей, ни самих себя, ни нас — ваших учителей".

Когда я возвратился в класс, двадцать пар глаз вопросительно уставились на меня, и я быстро выпалил то, что было им наиболее понятно: "...у родили — Саксонский!". Все облегченно вздохнули.

Минували год-полтора, заполненные важными событиями, про-



Сюз двух юных сердец на всю жизнь... 1938 г.

исходившими вокруг нас: исчезли карточки и "распределители", открывались новые магазинны, и полки их были заполнены товарами... "Жить стало лучше, жить стало веселее..." Но можно ли было назвать веселой эту жизнь, запоненную постоянной тревогой и страхом? Репрессии не только продолжались, они расширялись и ужесточались. Никто не мог себя чувствовать в безопасности: ни крупный руководитель, ни рядовой гражданин, ни рассказавший анекдот, ни слушавший его... Почти ежедневно, приходи в школу, мы узнавали о разоблачении вновь выявленных "врагов народа", и неожиданно ими оказывались и самые авторитетные люди, такие, например, как известный всем школьникам секретарь компартии Украины Постышев, вернувшийся детям в 34 г. праздник Новогодней елки. Мы плохо разбирались в ошибках десятелей такого высокого ранга и удивлялись только тому, как они ловко и умело "маскировались". Распространенное в то время выражение "НКВД не ошибается" было аксиомой. Колокольчик над дверью дворничкой продолжал по ночам звонить, он прерывал мои кошмарные сны и заставлял меня задумываться: "Кто же "они", эти люди, успешно разоблачающие врагов: "люди с горячим сердцем и чистыми руками" или...". Продолжить этот вопрос я боялся даже в мыслях. Взрослые не посмели бы мне ответить на него, и только мама неустанно повторяла мне: "Боренька, прощу тебя, могло тебя — удержи язык за зубами!".

Судьбе было угодно так распорядиться, что я в то время не только познакомился, но и часто бывал в доме одного из главных нквдистов Одессы. Началось с того, что в октябре 1936 года в наш класс привели нового ученика. Он был небольшого роста, опрятно и скромно одет, но на голове у него была модная тогда бархатная тюбетейка, как у Мамлакат — девочки с бесчисленным количеством косичек, которая обнимала на газетной фотографии самого Сталина. Учитель раскрыл классный журнал и заинтересовался его именем и фамилией. "Шура Чердак", — ответил мальчик. Столь необычная фамилия, похолодная, скорее, на прозвище, вызвала



Шура Чердак — в неизменной побейке. Боря Рязник — в обилие Чесовского невидимки из одиозного кинофильма, 1937 г.

наш дружный смех. Мальчик смутился и покраснел, мне стало жаль его, и я попросил учителя посадить новичка на пустовавшее рядом со мной место. Так состоялось наше знакомство, а что мой новый сосед является единственным сыном заместителя начальника Областного управления НКВД, я тогда даже не подозревал.

Шура оказался хорошим парнем, не робкого десятка, дружелюбно настроенный ко всем ребятам и особенно ко мне. Мы быстро подружились, и я взялся ему помогать донять класс по некоторым предметам. Была только одна странность: он упорно отказывался от занятий и у меня, и у него дома. Много позднее я догадался, что в это время я и мои родители изучались в компетентных органах для дачи разрешения на продолжение нашей дружбы. Только по прошествии месяца Шура неожиданно пригласил меня к себе домой, пообещав показать кое-что интересное. В назначенное время он поджидал меня у ворот двухэтажного дома на улице Бебеля, где трамвай поворачивал с Ремесленной на Польскую и следовал дальше в порт. На доме была вывеска "Транспортный отдел НКВД". Шура объяснил, что к моменту их приезда в Одессу второй этаж дома переоборудовали в квартиру. Мы вошли, нас встретил невысокого роста женщина — его мама, на которую Шура был поразительно похож, — приветливо поздоровалась со мной и тут же ушла к себе. Чувствовалось, что Шура здесь пользуется полной свободой. Он тут же начал меня знакомить с квартирой, начал со своей комнаты, обставленной со спартанской простотой — кровать, стол, этажерка с книгами. Но коллекция почтовых марок, которая и была обещанной мне "чем-то интересным", была бесспорно хороша. Затем Шура предложил взглянуть на библиотеку отца, и мы направились в кабинет. Там стояли у стен шкафы, заполненные множеством книг в красивых переплетах. Прежде, чем начать их рассматривать, мы подошли к большому письменному столу, на котором стоял чернильный прибор с фигурой кавалериста на коне и с обаятельной шапкой. Шура открыл дверцу одной из тумб и выдвинул один из других три ящика, доверху заполненных оружием. Я буквально онемел от удивления и восторга. Нагань, браунинги, кольты и маузеры были небрежно свалены в кучу. На деревянной кобуре маузера красовалась надпись "За участие в боях с белополицаями", на некоторых других пистолетах и револьверах тоже были подобные надписи. Это говорило о том, что это личное наградное оружие владельца. На мой немой вопросительный взгляд Шура ответил: "Папа — участник гражданской войны, а сейчас он возглавляет в Одессе борьбу с контрреволюцией". Мы перешли к осмотру книг. Поч-

ти все они были выпущены издательством "Академия", опечатаны на прекрасной бумаге и богато иллюстрированы. Я держал в руках "Сказки тысячи и одной ночи", — книгу, за которой уже давно охотился, когда в кабинет неожиданно вошел высокий человек в военной форме, на петлицах которой я увидел три ромба, что соответствовало армейскому званию "комкор" (командир корпуса, выше по рангу тогда было только одно звание — "командарм"). Это был отец Шуры — Михаил Александрович Чердак. Он не выразил удивления или недовольства тем, что мы сами зашли в его кабинет, ласково потрепал сына по волосам, поздоровался со мной за руку и, посмотрев на меня сквозь очки в ротовой оправе, сказал: "Так ты и есть тот самый Боря! Ну что же, рад буду, если вы подружитесь". Заметив у меня в руках книгу, он добавил: "Ты можешь взять ее домой, если будешь бережно и аккуратно обращаться". С этими словами он направился в столовую, где его ждал обед. По дороге домой я думал, что сегодняшние события ничем не хуже описанных в книге приключений халифа Гарун Аль-Рашида, которую я нес подмышкой..

С тех пор мы с Шурой часто вместе играли и занимались то у меня, то у него дома. Во второй раз я встретился с Чердаком-старшим примерно через месяц. Мы с Шурой ломали голову над сложной геометрической задачей, когда его отец, приехавший домой пообедать, зашел к нам. Он посмотрел условные задачи, подумал несколько минут и совершенно точно указал нам правильный путь решения. Я был поражен, но Шура после ухода отца рассказал, что тот в свободное время берет уроки по различным предметам у репетиторов, в настоящее время, например, к нему приходят преподаватели математики и французского. Быт этой семьи был достаточно необычным, ее обслуживали две машины: одна марки "Форд", которой пользовался отец, и другая — точная копия первой, но уже произведения нового Горьковского автозавода, прозванная в обиходе "Эмкой", — для остальных членов семьи. Обе машины парковались в гараже НКВД на Канатной. Этот гараж пользовался в городе страшной славой, говорили, что там в моторном цеху под рев автодвигателей приводились в исполнение приговоры "врагам народа".

Для вызова автомашины достаточно было позвонить дежурному и сказать: "Пришлите машину Чердака на квартиру", и спустя несколько минут она подъезжала к воротам дома. Шурина мама ездила на ней в "Закрытый распределитель НКВД" и другие магазины, а нас с Шурой иногда доставляли на ней в театры, где мы беспрестанно проходили на спектакль по специальным красным книжечкам и сидели в так называемой

"правительственной ложе". Публика на нас взгляда и неодобрительно не решалась, и это было крайне неприятно. Лишь однажды администратор, выслушав по телефону просьбу Шуриной мамы, извинился за то, что не может выделить места в правительственной — она уже была забронирована для семьи секретаря обкома партии, но пообещал усадить мальчиков на хорошие места в партере. И это был тот приятный случай, когда на нас никто не обращал внимания, и мы преспокойно смотрели на сцену. В тот вечер в Русском театре шла злободневная пьеса под названием "Очная ставка", написанная известными журналистами, скрывавшимися под псевдонимом "братья Тур", и не менее известным следователем Генеральной прокуратуры Л. Шейниным. Она была посвящена разоблачению немецких шпионов. (Немецкую шпионку играла популярная в те годы одесская актриса Майсус.) По сюжету пьесы старый портной Туревич утаскивает в одном из его карманов листок бумаги, на котором под воздействием тепла проявился зашифрованный текст. Он тут же надевает пальто и собирается уходить. Между ним и его женой происходит диалог, который я помню дословно:

- Куда ты собрался?
- Я иду звонить по телефону.
- Кому ты собираешься звонить?
- Я иду звонить в НКВД.
- И что же ты хочешь им сказать?
- Я скажу, что обнаружил донесение шпиона.
- Но ты же их всегда критикуешь!
- А разве, критикуя детей, мы перестаем их любить?!

При этих словах зрительный зал разразился бурными аплодисментами. По ходу спектакля шпионку разоблачили и обезвредили. (Позже игравшую ее актрису в жизни постигла та же участь, и она навсегда исчезла с театрального горизонта Одессы.)

Летом семья Чердаков выезжала на дачу, находившуюся у моря в Амбугаторном переулке на 16-й ст. Большого Фонтана. Я часто бывал там, и мы вместе с Шурой купались, загорали и занимались ловлей бычков. Иногда на дачу приезжали и другие ребята, а один раз был приглашен даже весь класс вместе с классным руководителем, но чаще всего на даче было тихо и безлюдно. Не помню шумных застолий даже в воскресные дни... Однажды я засиделся допоздна, и Шурина мама предложила мне переночевать на даче, пообещав, что утром, когда муж будет ехать на службу, ма-

шина подбросит меня домой. Поздно вечером Чердак-старший вернулся из города, вид его был необычен, он был явно сильно утомлен, ни с кем не поздоровался, отказался от ужина и молча уединился в свою комнату. Шурра пояснил, что в таких случаях папу лучше не беспокоить. По понятным причинам я возвратился утром в город трамваем.

Нашел ли я ответы на мучившие меня вопросы, познакомившись с этой семьей? Нет, я запутался еще больше. Действительно, внешне они были приятными и достаточно интеллигентными людьми, не кичились своим положением в обществе. Чердак-старший совсем не производил впечатление человека сурового и жестокого, к нему иногда даже легче было обратиться с какой-либо просьбой, чем к Шურიной маме. Конечно, в их жизни не было тех трудностей, с которыми встречались остальные граждане, но это уже был установившийся в стране стиль жизни "ответственных работников", к которому окружающие уже привыкли и некоторые даже оправдывали. Но одно дело — жить в достатке, а совсем другое — осуществлять репрессии и даже руководить ими!

Потребовалось прожить еще 20 тяжелых лет, чтобы узнать всю (или только частично) правду о творившихся тогда злодеяниях. Все ошибки и чудачества Н. Хрущева можно было бы ему простить только за то, что он сорвал многолетнюю пелену с глаз людей, находившихся долгие годы под гипнозом культа личности.

В 1938 году Чердак-старший был переведен с повышением в Москву, и на этом закончилась наша с Шуррой дружба. Вернувшись с фронта, я узнал, что он погреб на войне. То, что отец не уберет его от передовой, не вызвало моего удивления: ведь и самый главный вдохновитель и организатор репрессий также послал своего сына на фронт...

Миновал еще один год моей юности. Пора было заняться выбором будущей профессии. Я долго колебался между желанием стать технарем или врачом. После девятого класса я на каникулах попал в настоящее царство техники — город Новое Запорожье, вырощенный за годы первых пятилеток на левом берегу Днепра у плотины Днепрогэса. Деньги на дорогу мне выслал мой любимый дядя, пообещав показать "все на свете". И та-



"Быть или не быть... врачом?"
1938 г.

кая возможность у него была, так как он занимал должность главного электрика одного из заводов комбината "Запорожсталь". Я действительно увидел все: Днепрогэс снаружи и внутри, доменный, мартеновский и прокатные пеха, разлив чугуна и прокат стали. Дядя Филд, мамин родной брат, был в полной уверенности, что одержал победу над своей сестрой, как все еврейские мамы мечтавшую увидеть своего единственного сына в белом халате врача. Однако жизнь показала, что он потропился торговать...

К тому времени мои подруга уже училась на первом курсе медицинского института. По окончании школьных уроков я часто вскакивал все в тот же знаменитый пыльник, и он подвозил меня почти до самого медина, где у анатомического корпуса меня уже поджидала Циля. Я снова брал в руки ее портфель, уже не ученический, а студенческий, из которого выглядывал красненький белый халат, и мы с ней бродили между корпусами института. Она, на правах "ветерана", показывала мне все, что уже успела узнать. Постепенно, еще не закончив школу, я проникнулся духом этого замечательного вуза, открывавшего дорогу к врачеванию, которое меня все больше и больше привлекало...

...Вот к дверям анатомки подлезает на дрожках седовласый профессор, и я уже знаю, что это зав. кафедрой патологической анатомии и что он (проникнувший из семьи остзейских баронов) всегда в зачетке студентом ставит перед своей фамилией "Гизенгаузен" "частичку" фон". Я уже лично знаком с "дедушкой из анатомки" и знаю, что он не только звонками регулирует учебный процесс, но и продает дефицитные учебники и стетоскопы из пальмового дерева. Именно у него я купил для Циля учебник нормальной анатомии человека одесского профессора Лысенкова, "прочитав который хотя бы один раз, можно смело идти на экзамен". Мое лицо уже примелькалось, и я не удивляюсь, когда ко мне внезапно подбегает студент и спрашивает: "Дружище, не знаешь, где можно отработать череп и сдать таз?". И я, прочитав все обьявления на стендах за время, пока жду Цилю с занятий, даю ему совершенно компетентный ответ: "Зачет принимает добрейший ассистент Балда Эрез в анатомическом за-



Наша альма-матер

ле № 1". Он хлопает меня по плечу и улетучивается. Мы заходим в опустевшие аудитории, в которых скамьи амфитеатром возвышаются над кафедрой. На доске "самим Лысенковым" цветными мелками нарисованы мышцы верхнего плечевого пояса, нарисованы не хуже, чем в атласе Воровьева, недаром Лысенков преподает еще и пластическую анатомию в Художественном училище... Я с увлечением читаю книги по истории медицины и нахожу в них имена моих земляков-о-десситов, восторгаюсь от лично написанной Полем де Крюи книжкой "Охотники за микробами" и все больше и больше тяготею к медицине. К моменту окончания школы я принял решение и сообщил его родителям — возражений не было.

В последние годы учебы в школе все опущеннее стало приближение войны; в том, что она неизбежна, уже никто не сомневался. Несколько уроков показывали слова маршала Ворошилова о том, что если война начнется, то будет происходить на чужой территории. В школе увеличилось число часов по военной подготовке. Военрук водил нас один раз в неделю на стрельбы в тир при недавно построенной школе № 101 — там имелось также бомбоубежище, вход в которое был прикрыт бетонными плитами. В помещении домоуправления, где раньше был "форпост", для детей разместились учебные классы ПВО: вместо шашек, шахмат и детских бильярдов разложили на полках противотазы, противовишптные костюмы, санитарные сумки, в углу стояли носилки. Все чаще над городом раздавались звуки сирен, возвещавших об очередной учебной воздушной тревоге. В школу часто приходили представители пехотного и артиллерийского училищ и рекомендовали мальчикам связать свою будущую профессию с постоянной военной службой. Для этой же цели в городе была открыта новая десятилетка под названием "Спецшкола", призванная готовить будущих армейских командиров.

Весной 1939 года я получил по почте 14 открыток от ректоров разных вузов с предложением поступить учиться в возглавляемые ими институты. Открытки напоминали, что обладатели "Аттестатов отличника" принимаются без вступительных экзаменов и даже без предварительного собеседования. В то время ни у кого не возникало сомнения в достоверности школьных отметок, и жизнь подтвердила это — все известные мне отличники и в институтах учились не хуже, чем в школе.

Наконец наступил долгожданный день окончания школы. Григорий Маркович выглядел особенно торжественно: ему предстояло в четвертый раз за годы существования 100-ой школы выпустить сорок юношей и девушек, которых он узнал еще детьми, вручить сорок аттестатов и найти

для каждого подходящие напутственные слова. Начал он с восьми отличников. Когда очередь дошла до меня, он прозвнес: "Я знаю, что ты, Боря, хочешь стать хируром. Желаю тебе успехов в осуществлении этого благородного замысла. Будь хируром Резником, но отнюдь не "хируром-резником". Вначале присутствующие в зале восприняли его слова не более как кагамбур, но позднее стало ясно, что он вложил в них глубокий смысл. Не потому ли спустя сорок лет он в трудный момент обратился именно ко мне?!

Через две недели после операции, когда я провожал его до ворот больницы, мы вновь обнялись, и он сказал: "Спасибо, Боря, я рад, что не ошибся в тебе!". То был последний раз, когда он обращался ко мне на "ты". В дальнейшем, получая от него поздравительные открытки к празднику, я читал в обращении: "Уважаемый Борис Миронович и дорога Циленька!..". Мы встретились еще один раз в стенах нашей школы на сорокалети нашего выпуска. На фотографии, сделанной в тот день, Григорий Маркович сидит в центре группы, и лицо его, как и в далекие прошлые годы, озабочено улыбкой. Отчетливо помню — я думал в тот миг, что в многотрудной жизни хирурга бывают и счастливые мгновенья.

Что осталось, кроме моих воспоминаний о тех годах? Сохранилось де-



Григорий Маркович (в центре ряду в центре) 26 мая 1979 г. на встрече с выпускниками школы 1939 г.

Тем временем вилл Саша томится между бабушкой Цицей и молодой директрисой Полинной Ивановной Накурдой



тише Григория Марковича — четырехэтажная школа. У знаний, как и у людей, — своя судьба. Несмотря на "ударные темпы" строительства, здание оказалось прочным, оно успешно перенесло бомбежки и военное лихолетье. После войны в нем разместились "Полуэкспанк мореходного

училища", затем "Высшая партийная школа", затем, к моей радости, оно все же вернулось к тому делу, ради которого было построено. Это снова школа, — правда, под другим номером — средняя школа № 90 им. А.С. Пушкина. Но для меня она все равно "моя сотая" — школа моего детства и юности. Теперь она в нашей семье не только моя. Спусти полвека после меня ее окончила моя внучка. В день ее выпускного вечера, покинув торжество, я поднялся в знакомый класс и задумчиво прислушался к голосам соучеников и педагогов, отчетливо зазвучавших в моем воображении, и среди них выделился один, который пронизал со знакомой интонацией: "Здравствуй, Боря!". То был голос Григория Марковича Радзинского.



Вероника КОВАЛЬ

Тропю трепетной и вечной

"Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей, да еще преданиями, прошлым и сильна она".
Иван Бунин

Перед выездом из Украины Виктория Жукова по делам приехала в Одессу. Хотя времени было в обрез, она не могла не прийти на Успенскую. Сердце безошибочно показало ей путь. Она узнала этот дом, хоть никогда в нем не была. Над массивным трехэтажным зданием просматривался купол домово́й церкви. Дверь была открыта, но женщины и не нужно было входить, потому что она и так знала расположение и вид комнат. Где-то справа на втором этаже помещались дортуары — спальные комнаты воспитанниц. Здесь бабушка, тогда еще совсем девочка, сидя на стуле, расчесывала волосы. Виктория послышалась даже, что кто-то выдрут крикнул: "Лебедева, к тебе!", и бабушка заторопилась, даже не собрав волосы в узел. В приемной на первом этаже ее поджидал отец. Он ласково погладил дочь по плечу, передал узелок с домашними пирогами и растворился во тьме времени...

Викторино вернулся к действительности резкий звонок трамвая. Пожалеу, лишь он напоминал о том, что на дворе начало двадцать первого века, а не начало двадцатого. Улица была малолюдна, только торопливо переходили дорогу молодая и старая монахини в черных одеяниях. Жукова пошла за ними, свернула в проулок и увидела церковь Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, бело-голубую, совсем новую, как ей показалось. Вокруг храма полыхали пионы, розовели плоды на яблонях. Во внутреннем дворе среди цветников журчал фонтан, и стало у Виктории Эммануиловны так спокойно на душе, как не было с тех пор, когда по семейным обстоятельствам они решили всем семейством уехать на постоянное место жительства в Израиль. Ее внимание привлек стэнд, где содержались сведения о долгой истории монастыря, его расцвете и уничтожении властью имущими варварами, о возрождении. Виктория часто бывала в храмах различных тородов, но нигде такого не видела. Она поняла и почувствовала, что здесь помнят и чтят память предков. Ей стало ясно: именно сюда нужно передать воспоминания о своей бабушке, Валентине Лебедевой, которая на заре двадцатого века была воспитанницей епархи-

училища", затем "Высшая партийная школа", затем, к моей радости, оно все же вернулось к тому делу, ради которого было построено. Это снова школа, — правда, под другим номером — средняя школа № 90 им. А.С. Пушкина. Но для меня она все равно "моя сотая" — школа моего детства и юности. Теперь она в нашей семье не только моя. Спустя полвека после меня ее окончила моя внучка. В день ее выпускного вечера, покинув торжество, я поднялся в знакомый класс и задумчиво прислушался к голосам соучеников и педагогов, отчетливо зазвучавших в моем воображении, и среди них выделился один, который произнес со знакомой интонацией: "Здравствуй, Боря!". То был голос Григория Марковича Радзинского.



Тропою трепетной и вечной

"Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна,
зачастую страшна. Но темной глубиной своей,
да еще преданиями, прошлым и сильна она".
Иван Бунин

Перед выездом из Украины Виктория Жукова по делам приехала в Одессу. Хоть времени было в обрез, она не могла не прийти на Успенскую. Сердце безошибочно показало ей путь. Она узнала этот дом, хоть никогда в нем не была. Над массивным трехэтажным зданием просматривался купол домово́й церкви. Дверь была закрыта, но женщине и не нужно было входить, потому что она и так знала расположение и вид комнат. Где-то справа на втором этаже помещались дортуары — спальные комнаты воспитанниц. Здесь бабушка, тогда еще совсем девочка, сидя на стуле, расчесывала волосы. Виктории послышалось даже, что кто-то вдруг крикнул: "Лебедева, к тебе!", и бабушка заторопилась, даже не собрав волосы в узел. В приемной на первом этаже ее поджидал отец. Он ласково погладил дочь по плечу, передал узелок с домашними пирогами и растворился во тьме времени...

Викторию вернул к действительности резкий звонок трамвая. Пожалуй, лишь он напоминал о том, что на дворе начало двадцать первого века, а не начало двадцатого. Улица была малолюдна, только торопливо переходили дорогу молодая и старая монахини в черных одеяниях. Жукова пошла за ними, свернула в проулок и увидела церковь Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, бело-голубую, совсем новую, как ей показалось. Вокруг храма полыхали пионы, розовели плоды на яблонях. Во внутреннем дворике среди цветников журчал фонтан, и стало у Виктории Эммануиловны так спокойно на душе, как не было с тех пор, когда по семейным обстоятельствам они решили всем семейством уехать на постоянное место жительства в Израиль. Ее внимание привлек стенд, где содержались сведения о долгой истории монастыря, его расцвете и уничтожении властью имущими варварами, о возрождении. Виктория часто бывала в храмах различных городов, но нигде такого не видела. Она поняла и почувствовала, что здесь помнят и чтят память предков. Ей стало ясно: именно сюда нужно передать воспоминания о своей бабушке, Валентине Лебедевой, которая на заре двадцатого века была воспитанницей епархи-

ального училища при этом монастыре. В ту же минуту женщина словно приняла обет: она должна собрать воедино материалы, накопившиеся за годы о своей семье.

Виктория Эммануиловна уехала. Она вступила в переписку с настоятельницей Свято-Архангело-Михайловского монастыря игуменьей Серафимой. По письмам было понятно, что та действительно проявляет большой интерес к истории, в частности, истории православия, что на территории монастыря по благословению Его Высокопреосвященства митрополита Одесского и Измаильского Агафангела воздвигается здание музея "Христианская Одесса". У Виктории отпали сомнения, в чьи руки передать семейный архив, а когда она привезла его и увидела молодую высокообразованную игуменью, тут уж, как говорится, и вопросов не было.

* * *

Интерес людей к своим корням в последние годы явственно растет. Мне известны те, кто увлеченно восстанавливает генеалогическое древо рода, и их немало. У Виктории Жуковой — не просто интерес, а, я бы сказала, святое отношение к истории своей семьи. В ней нет знаменитостей, особо значимых в общественном плане событий, но все члены семьи делами своими на ниве просвещения, религии, медицины, педагогики, художественного творчества оставили о себе добрую память не только у потомков, но и у множества людей, соприкасавшихся с ними.

Виктория Эммануиловна жила с родителями, бабушкой и бабушкой в Симферополе. Много лет преподавала в школах русский язык и литературу, работала в экскурсионном бюро. Дед и мать Виктории — врачи. Отец — известный в Крыму художник и скульптор Эммануил Грабовецкий, автор знаменитого памятника "Шапка партизана", который в образной форме увековечил боевую славу освободителей родины. Девочкой Виктория особенно близка была с бабушкой, Валентиной Захарьевной Лебедевой-Бру. Та много рассказывала о своей жизни, о муже, их родне. Голос ее теплел, когда она вспоминала годы учебы и работы в Одесском епархиальном училище. Так говорят о чем-то очень дорогом, о первой любви...

Бабушкины воспоминания настолько явственно отпечатались в сознании ребенка, что впоследствии Виктория смогла их восстановить — уже на бумаге. Она почувствовала, что не может допустить исчезновения памяти об уникальной судьбе бабушки, и вместе с нею — исчезновения целого пласта жизни поколения, на долю которого выпали немыслимые социальные катаклизмы.

Виктория Эммануиловна привлекла всех своих родственников. Они присылали воспоминания, документы, фотографии, называли новые адреса. Каждый потертый на сгибах, выцветший листочек превращался в документ своей эпохи. Например, владелец мехового магазина в Одессе и предположить не мог, что историческую ценность обретет выданная им где-то в десятых годах прошлого века расписка Лебедевой в предоставлении кредита с его постскриптумом: "Поздравляю Вас, мадам, с новой шубкой". Многие из семейных архивов безвозвратно утеряны. Иногда по непониманию значимости, но чаще — из-за страха попасть под неумолимый каток массовых репрессий. Сохранились, к счастью, письма бабушки жениху. Виктория дополнила ими ее воспоминания. Она собрала огромное количество фотографий, восстановила имена запечатленных на них дам в широкополых шляпах с цветами, мужчин в мундирах и сюртуках, стриженных под гребенку комсомолок, красноармейцев в буденовках — все вместе они составили "портрет" страны.

Шесть толстенных "амбарных книг" исписала Виктория Эммануиловна аккуратным учительским почерком, сделав великое дело для своей семьи и не только для нее. Материал разбила на главы, предварив каждую эпиграфом из произведений своих любимых писателей. Семейные хроники дополнила статьями из газет и журналов, так или иначе соотносящимися с историей их рода. Наибольший интерес для одесситов представляет повествование о жизни воспитанницы Одесского епархиального училища Валентины Лебедевой-Бру, а через нее — о самом училище, где действительно сеяли "разумное, доброе, вечное".

* * *

Прежде всего, однако, нужно рассказать хотя бы кратко о самом Одесском епархиальном училище — первом в России учебном заведении для девочек, где сочеталось светское образование и духовное наставничество. К великому сожалению, архивы училища пропали после его закрытия в первые годы советской власти. Сведения, которые удалось собрать, сохрятся в книге игуменьи Серафимы "Молитвенные лампы".

В 1837 году в Одессу прибыл новый архипастырь — преосвященный Гавриил. Он основал первый в губернии женский монастырь. Одновременно с сооружением церкви во имя святых праведных Захария и Елизаветы архиепископ ходатайствовал перед Синодом об открытии при монастыре женского училища для сирот. Эта благая мысль давно жила в его душе, и он приложил все усилия к ее осуществлению. "При утверждении

предложений архиепископа Гавриила Св. Синод признал, что означенное училище является учреждением совершенно новым в России", — писала газета "Одесский вестник" в 1837 году.

В 1844 году училище было открыто. Сироты из семей духовенства воспитывались при монастыре и получали образование. Преподавали монахи. Обучение было комплексным, чтобы привить необходимые нравственные, эстетические и практические навыки, сформировать религиозные убеждения у человека, только входящего в жизнь, стремящегося стать достойным гражданином, христианином, семьянином.

Новая настоятельница монастыря, полуграмотная матушка Сусанна, не могла наладить преподавание, как положено, и обратилась к архиепископу Димитрию с просьбой об отделении сиротского заведения от женского монастыря. В 80-е годы XIX века училище было передано епархии, однако финансировал его содержание монастырь. 27 апреля 1875 года архиепископ Леонтий совершил закладку первого камня в фундамент будущего училищного корпуса с домовою церковью.

Располагалось высокое трехэтажное здание на Успенской улице. На нем возвели купол домового Свято-Димитриевского храма. Освятил его в 1878 году архиепископ Платон, горячий сторонник просвещения, поддерживавший личными вкладами все духовные учебные заведения Одессы. О высоком уровне преподавания в епархиальном училище свидетельствует тот факт, что председателем Попечительского совета состоял протоиерей Михаил Павловский — блестящий преподаватель, профессор Новороссийского университета.

В начале XX века епархиальное училище готовило сельских учителей. Они разъезжались по селам, чтобы готовить к жизни новое поколение достойных граждан. Выпускницы епархиального училища считались завидными невестами, поскольку были хорошо образованы и воспитаны, подготовлены к ведению домашнего хозяйства.

* * *

Валентина Захарьевна Лебедева, одна из выпускниц Одесского епархиального училища, родилась в Елисаветграде (ныне — Кировоград) примерно в 1892 году. Ее отец, Захарий Григорьевич, был священником Петропавловского собора в том же городе, затем экономом епархии. Он женился на дочери одесского архитектора Алексея Жальбинского, которая происходила из большого, известного в городе рода греков — Куфудаки. В семье священника родилось 12 детей, Валентина была младшей.

Все дети получили образование в учебных заведениях при храмах. Катя, Мила, Фрося, а затем и Валя были ученицами Одесского епархиального училища, а братьев Тосю и Андриюшу отец определил в Одесскую духовную семинарию. Впоследствии Валентина Захарьевна так часто и так подробно рассказывала об учебе, что благодаря записям ее внучки мы можем составить точное представление о жизни епархиалок.

Распорядок дня был таков: в семь утра девочек будила дежурная воспитательница и вела в умывальную. Они должны были обливаться холодной водой до пояса в любое время года. Отопление в умывальных комнатах отсутствовало, но воспитательница строго следила, чтобы никто не уклонялся от закалывающей процедуры. Она же проверяла внешний вид воспитанниц, чистоту одежды, порядок в тумбочках. Еду и посторонние предметы держать там запрещалось. Передачи от родных хранились в именных шкафчиках в столовой. Вдоль стен спален располагались аккуратно застеленные кровати.

Затем воспитанницы спускались со второго этажа в церковь на утреннюю молитву. Совершив ее, они в столовой получали первый завтрак — кружку сладкого чая с куском хлеба. По звонку все расходились по классным комнатам. На уроках присутствовала классная дама. Она следила за дисциплиной: делала "нарушительнице" знак глазами или тихонько подходила, дотрагивалась до плеча, или делала замечание, чтобы никто не мешал учителю вести урок. Конечно, серьезных нарушений воспитанницы не допускали. А вот однажды, когда из комнаты для музыкальных занятий раздался "Собачий вальс", на учениц напал неудержимый смех... Если у кого-то ломалось перо или заканчивалась тетрадь, классная дама молча помогала. Следили классные дамы и за поведением на переменах. Девочки должны были ходить парами, разговаривать вполголоса, приветствовать начальницу училища и других взрослых кивком головы. Могла ли тогда предположить ученица Лебедева, что ее после окончания училища оставят там работать, и она, общительная, улыбчивая, станет строгой классной дамой?

Девочек учили со вкусом одеваться. Им запрещалось стричь волосы, мытье головы было целой разработанной процедурой. Понятно, почему на фотографиях Валентина и ее подруги — с длинными распущенными волнистыми волосами, как видно, предметом их гордости.

Учебная программа была насыщенной. Кроме Закона Божьего преподавалось много "светских" дисциплин: грамматика, чтение, литература, каллиграфия, арифметика, алгебра, геометрия, история, география.

Французский язык изучали так глубоко, что были дни, когда в училище все должны были говорить только на нем. Для изучения космографии во дворе училища был сооружен свой планетарий, где и проходили уроки. Много времени уделялось домоводству и рукоделию, пению, танцам, рисованию.

Валя больше всего любила Закон Божий, гуманитарные науки, рукоделие и домоводство, которое ей очень пригodiлось после замужества.

Особенно запомнились ученице уроки географии и космографии. Вел их не кто иной, как Петр Васильевич Катаев. Да, отец будущих писателей Валентина Катаева и Евгения Петрова. Он всегда приводил мальчиков в училище на Рождество, и Валя, которая редко уезжала на каникулы, водила с ними хоровод. Петр Васильевич так увлекательно рассказывал о звездах и планетах, что девочки замирали от восторга. Наверняка учитель был наделен воображением и талантом выразить впечатления в слове. Так, он рассказывал, как брал в Африку старшего сына, Валентина, и они охотились на львов. Валентина Захарьевна только через много лет из книг Катаева узнала, что отец был небогат и не мог позволить себе сафари. Но что он много путешествовал — точно. Семья некоторое время жила при училище. Там же жила и работала тетушка будущих писателей из семейства Бачей. Валентина Захарьевна отмечала внешнее и внутреннее сходство Петра Васильевича с Антоном Павловичем Чеховым. А за творчеством Валентина Катаева следила всю жизнь. Любимым рассказом ее был "Банка варенья" из трилогии "Волны Черного моря".

До революции преподавателями были, в основном, педагоги-мужчины, потому что они могли обеспечить семью. Дома их ждал уют, хороший обед, после чего они спокойно готовились к урокам в своих кабинетах, поэтому и знания давали глубокие. Преподавали в гимназиях, семинариях, епархиальных, реальных и военных училищах профессора, писатели, философы, богословы, члены Географического общества, археологи и другие деятели науки. Даже классная дама получала столько, что, например, Валентина имела возможность помочь близким, поехать в отпуск, посещать театры. Ее сестра Екатерина на жалованье сельской учительницы художественно содержала семью.

В училище сложились незыблемые традиции, которым должны были следовать все. Здесь приучали гордиться званием епархиалки. А само училище гордилось выпускницами. Так, в кабинете начальницы висел портрет знаменитой певицы Антонины Васильевны Неждановой, которая также окончила Одесское епархиальное.

Валентина Захарьевна сквозь всю долгую жизнь пронесла благодарность педагогам и воспитателям училища.

* * *

Новоиспеченная выпускница поехала погостить к сестре в Павлоград, зеленый уютный городок. Та повела ее в лучшую кондитерскую, которую содержало семейство Бру. Ни одна хозяйка в городе не умела печь такие вкусные булочки, как мадам Бру. Каково же было удивление девушки, когда к сестре пришел молодой человек и представился: "Абрам Бру". Можно было не только удивиться, но сразу влюбиться в него. Высокий, стройный, с ярко-голубыми "фамильными" глазами, юноша покорила ее, и не только внешностью, но и умом, серьезностью. Валя и Абрам стали часто гулять по окрестностям, они не могли наговориться. Юноша доверительно рассказал, что уезжал ранее в Финляндию, поскольку в России иудею нельзя было рассчитывать на получение высшего образования. Там он сначала принял евангелическо-лютеранское вероисповедание, затем "присоединился к православной канонической Восточной церкви через святое таинство миропомазания". Справка об этом деянии стала оберегом: в годы войны она спасла всю семью.

По окончании медицинского факультета Харьковского университета Бру начал работать врачом-педиатром в Павлоградской больнице. Молодые мамы в нем души не чаяли: даже самый отчаянный крикун замирал в его больших нежных руках.

Впервые Валя с неохотой возвращалась из Павлограда в училище, где ей предстояло готовить к жизни воспитанниц. Молодые люди были так переполнены чувствами, что изливали их в нескончаемом потоке писем. Почти три года — короткие встречи, долгие разлуки и письма-ласточки. Абрам Яковлевич бережно хранил их. И мы, спустя девяносто лет, можем узнать из посланий епархиалки еще многое о быте и нравах училища, о ней самой.

Письма Валентины:

12.10.1915. *"С днем ангела поздравляю вас, милый, славный Авраам Яковлевич! К этому дню шлю вам искренние сердечные пожелания успеха и счастья, как вы понимаете и хотите его... Не сердитесь, милый, что не называю вас на "ты", как вы просили. Но, понимаете — не могу. Если я сейчас скажу "ты", то будет искусственно. Между тем, главный залог лучших отношений — прямота и правдивость".*

8 августа 1915. "У меня сейчас дежурство по коридору. Все учащиеся и служащие отправились в церковь на вечерню. Я сижу за столиком, кругом тишина, только изредка доносится стройное пение девочек, и в соседнем монастыре звонят в один колокол. На душе спокойно, и мысли постепенно начинают сосредоточиваться".

14 октября 1915. "Успела побывать в театре на опере "Польская кровь". Красивая вещь: чудный вальс, мазурка и балет. И с большим интересом смотрела на экране "Бесы" Достоевского. Хорошо инсценировано и недурна игра артистов — особенно мне понравился Мозжухин (Ставрогин). Очень рада, что я снова в Одессе, со своими подругами, со своим домом. Эх и люблю же я Одессу, в этом надо сознаться!"

1915. "Вот уже дней 10, как в Одессе царит зима: снег с морозом. Все хорошо, только нет санной дороги, а то на саночках покатались бы. Мы проектируем ходить на Ланжерон. В морозные и солнечные дни там устраивают катание с горы на салазках".

Февраль 1915. "Масленица начинается у нас 18-го. Затем Великий пост. Тогда тяжело, когда у нас всю неделю служение утром и вечером, а, основное, мы говеем. Видеться с вами даже в свободное время не смогу (говею). На Пасху буду стоять в церкви с ученицами".

Октябрь 1915. "Стараюсь большую часть времени гулять. А какой у нас чудесный сад! Сейчас он особенно красивый. В Одессе погоды буквально летние: тепло, тихо и необыкновенно солнечно, но, несмотря на все, осень начинает вступать в свои права. Природа умирает. Я не могу равнодушно видеть падающие листья в тихую погоду, когда, незаметно сорвавшись, лист опускается на землю медленно, медленно. Мне становится грустно от боли. А море! В прошлом году я очень часто его посещала. Для меня было громадным удовольствием слушать музыку волн или, глядя на свободную и беспредельную стихию, мечтать!"

1915. Киев. "Смотрела Саксаганского и Заньковецкую — "Ночь на Ивана Купала". Игра бесподобная! Завтра пойду в Купеческий сад слушать симфонический оркестр. Два раза была во Владимирском соборе. Какая красота и величие! Невольно располагает к молитвам. Молось обо всех и о вас".

1916. "21 сентября — съезд благочинных, в зависимости от которого находится прибавка нам жалованья. Мы подали докладную в Совет, а Совет в съезд. Говорят, помощницы вместо 15 р. будут получать на всем годовом 25, а классные дамы — 30 р. Это недурно".

1916. "В праздник Покрова к нам в училище привозили Великий чудо-

творный образ Касперовской Божией матери. В церкви было большое служение, а затем образ понесли по всему зданию — по залам и на квартиру классных дам. Я приложилась к ней, молилась и плакала, просила у нее материнского благословения на брак с тобой. Просила дать нам счастья. Молилась о всей нашей семье, о больном брате Ленечке и о всех людях. И так потом было легко и свободно на душе!"

10.4.1917. "Решено училище признать автономным. Управление делами предоставить Совету, который создается на выборных началах".

28.4.1917. (Последнее письмо Валентины) "Приеду не позже 10 и не раньше 8 мая. Первого мая — акт выпуска, к третьему уезжают все воспитанницы, а пятого предполагаются выборы председателя, в которых мы обязаны участвовать".

26 мая 1917 года Валентина и Абрам обвенчались в Успенском соборе Харькова.

* * *

В семье Вали никогда не существовал "национальный вопрос". Дети там росли среди разноязычных сверстников, отец, православный священник, был веротерпим, с одинаковой теплотой относился ко всем без исключения. Родители же Абрама, иудеи, поначалу воспротивились браку сына с выпускницей епархиального училища. Однако Абрам сумел убедить их пойти навстречу желанию его и Вали, их настоящей любви. Впоследствии родители мужа (Валины уже к тому времени умерли) привязались к доброй, воспитанной невестке. Свекровь обучила ее кулинарному искусству. До конца долгой совместно прожитой жизни супруги любили друга и никогда между ними не стояли религиозные убеждения. Абрам Яковлевич хорошо знал Тору, но в то же время вел переписку с православным архиепископом Лукой. Валентина Захарьевна говорила родным: "Я свою веру в шкафу прячу". Иногда она доставала из дальнего угла шкафа икону Христа Спасителя в серебряном окладе, бережно протирала ее, молилась и показывала внукам. Сейчас святой образ — семейная реликвия. Девочки же ощущали свою принадлежность к обоим ветвям семейного древа. Их чувства точно выразил близкий друг семьи, врач и поэт Анатолий Милявский. Его отец, Исай Исаевич, и Абрам Яковлевич подружились еще в детстве — и на всю жизнь. То, что они оба посвятили себя медицине, еще больше сблизило их. Так вот что написал Анатолий:

По матери свой род великоросский
Я вел от ратных княжеских людей.
Но жил во мне упрямый дух отцовский —
Насмешливый и умный иудей.

Текли во мне, запрятаны глубоко,
Не смешиваясь в русло до поры,
Два странных, два невидимых потока,
Две речки, две несхожие сестры.

Что мне любить сильнее и беззаветней,
К какой мне прилепиться стороне?..

Подобные чувства сохранились во втором и в третьем колене семейства Бру, хотя судьба разбросала их по разным странам.

Абрам Яковлевич некоторое время служил врачом в армии Врангеля. Его хранило провидение. Или, может быть, тайные молитвы жены? Он вернулся с фронта, его миновали репрессии. Абрам Бру стал первым в советское время педиатром Крыма. Так супруги оказались в Симферополе, где и прожили до своей кончины. Доктор всего себя отдавал во имя благородного дела — спасения от смерти и болезней маленьких детей. Не раз бывало, что помогал деньгами матерям, которые сами не имели возможности отвезти ребенка в санаторий. Был он человеком предельно честным и порядочным. Например, Валентина Захарьевна начала работать заведующей детским садом, но кто-то обмолвился, что доктор Бру "устроил" жену, и он попросил ее уйти. С тех пор она посвятила себя мужу, дочери Нине и внукам Виктории и Марии. В семье настолько были все близки, что доходило до мистических совпадений. Так, в один из дней рождения Абрама Яковлевича, который тогда был на конференции врачей в Ленинграде, супруга отправила ему телеграмму с известием, что сегодня у него родилась внучка Виктория.

Об атмосфере, которая царил в доме Бру, тепло вспоминает сестра Анатолия Милявского Лариса: *"Валентина Захарьевна Лебедева-Бру... При этом имени память сразу переносит меня в дни юности, когда я приходила в дом к ней и ее супругу Абраму Яковлевичу Бру — известнейшему и любимейшему в нашем городе врачу-педиатру, а также близкому другу моего отца. Моя мама, умершая вскоре после моего рождения, дружила с Валентиной Лебедевой. Их лица на снимках обладали особыми тонкими*

очертаниями. Таких лиц больше "не носят". И хотя я застала Валентину Захарьевну уже немолодой, вернувшейся в 1944 году из эвакуации, все же она, со своей благородной осанкой, с прекрасным лицом, всегда опрятная, в тонких батистовых блузках, с неторопливыми движениями и приятной манерой говорить оставляла сильнейшее впечатление у всех, с кем она общалась.

Вместе с мужем, крупным, очень высоким, со все еще прекрасными яркими синими глазами, они, бесспорно, выделялись на фоне тогдашней публики, составляя "звездную пару". Их квартира в Симферополе на улице Пушкина в огромном коммунальном дворе как-то умудрялась быть отличной от других квартир. Возможно, из-за иного убранства, обилия массивных шкафов с книгами и резных тумбочек. Во всяком случае, в моем представлении именно так полагалось жить уважаемым людям. Наверное, доктор Бру, кудесник и спаситель, в другие времена был бы значительно более состоятельным, но в то время все жили одинаково, и тонкие руки Вали носили на себе следы домашней работы. И все тяготы жизни не уменьшали ее жизнелюбности и гостеприимства.

Мне запомнились чаепития на застекленной веранде, где чай подавался по всем правилам даже мне, девчонке: с серебряными ложечками, с ситечком, в фарфоровых тонких чашках, с красивыми блюдечками для варенья и печенья. Основными темами бесед были книги, а также рассказы о моей маме, Асе Крыжановской, которую я не помнила.

Вполне очевидно на примере Валентины Лебедевой, что Одесское епархиальное училище воспитало не одно поколение культурных и полезных обществу женщин, которые благотворно влияли на свои семьи и на общество в целом".

Не может говорить о своей бабушке без волнения и Виктория Эммануиловна:

— Мама заботилась о нас с сестрой, отец водил в музей, но нравственное воспитание мы получали в доме бабушки и дедушки. Она никогда не читала морали, просто что-то говорила, что действовало на нас. Помню, я обидела кого-то из соседских ребят. Бабушка сказала: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы по отношению к тебе поступали они". Я запомнила ее слова на всю жизнь, и только взрослой узнала, что это библейская заповедь. Более пятидесяти лет у нее была подруга, тоже из семьи священника, но они всегда были на "вы". Так же она обращалась при посторонних и к мужу.

Бабушка была очень совестливой. Ее до конца дней мучило воспоми-

вание о том, что, работая классной дамой, однажды предпочла купить красивую блузку вместо того, чтобы послать деньги нуждающемуся брату. С горечью вспоминала она, как девочками они отказывались, когда отец просил их спеть украинские песни, которые он очень любил.

В память о нашей незабвенной бабушке Валентине Захарьевне мы с сестрой обе назвали своих дочерей Валентинами.

* * *

Такова история Одесского епархиального училища "в лицах". Точнее, в лице одной его воспитанницы. Если кто-то располагает сведениями о самом училище или его выпускниках, просим — поделитесь с нами. Его деятельность являет собою одну из малоизвестных, но важных страниц в истории нашего города.



Ничейные дети

Перед теми, кто в конце пятидесятых решал поступить на филологический факультет, сразу же вырастали две трудности. Первая находилась в непосредственной близости и казалась непреодолимой — это было поступление. Если вы не были медалистом, офицером, демобилизованным по хрущевскому сокращению армии или крестьянским отпрыском, обремененным к тому же стажем работы на полях, то перед вами представляли семь вступительных экзаменов, которые нужно было сдать на "отлично". Проходной балл для тех, на кого не распространялись льготы, был тридцать пять из тридцати пяти возможных. Конкурс пять-семь человек на место держался годами. И в этом было нечто парадоксальное. Каждый прекрасно осознавал, что его ждет карьера сельского учителя — необходимая, полезная, но отнюдь не привлекательная — и мизерная зарплата. Но об этом даже не принято было говорить. Само собой подразумевалось, что все станут журналистами, скажут свое слово в литературе, займутся, в конце концов, научной работой. А труд учителя начальной школы, воспитательницы детского сада или библиотекаря предназначен кому-то другому.

Если происходило почти чудо, и вы преодолевали все вступительные препоны, то получали восхитительную возможность пять лет бездельничать. Нельзя же было считать настоящей работой чтение любимых книг и диагональный просмотр нелюбимых. Какие были годы надежд, и какие книги! Отошли в прошлое забубенные "Белые березы" и "Кавалер Золотой звезды". Наша жизнь была взорвана романами Ремарка и еще более — Хемингуэем. А за ними уже вырастали глыбы Фолкнера и Вулфа. Они подарили нам понятие самоценности личности и гордый индивидуализм, помогли нам никогда уже не возвращаться, что бы с нами ни случилось, в закоулки коллективного сознания, и теперь всегда где-то впереди и над нами белели недостижимые и нетронутые снега Килиманджаро.

Иногда это безмятежное существование прерывалось экскурсами в сравнительное языкознание или историческую грамматику. И вот, когда вы окончательно привыкали к этой интересной и необременительной жизни, вдруг стремительно и неотвратимо приблизилась вторая проблема — распределение.

В начале шестидесятых годов будто бы появились — мы так думали — слабые ростки демократии. Нам объявили, что на заседание комиссии по распределению мы будем входить в соответствии со своим средним бал-

вание о том, что, работая классной дамой, однажды предпочла купить красивую блузку вместо того, чтобы послать деньги нуждающемуся брату. С горечью вспоминала она, как девочками они отказывались, когда отец просил их спеть украинские песни, которые он очень любил.

В память о нашей незабвенной бабушке Валентине Захарьевне мы с сестрой обе назвали своих дочерей Валентинами.

* * *

Такова история Одесского епархиального училища "в лицах". Точнее, в лице одной его воспитанницы. Если кто-то располагает сведениями о самом училище или его выпускниках, просим — поделитесь с нами. Его деятельность являет собою одну из малоизвестных, но важных страниц в истории нашего города.



Ничейные дети

Перед теми, кто в конце пятидесятых решал поступить на филологический факультет, сразу же вырастали две трудности. Первая находилась в непосредственной близости и казалась непреодолимой — это было поступление. Если вы не были медалистом, офицером, демобилизованным по хрущевскому сокращению армии или крестьянским отпрыском, обремененным к тому же стажем работы на полях, то перед вами представляли семь вступительных экзаменов, которые нужно было сдать на "отлично". Проходной балл для тех, на кого не распространялись льготы, был тридцать пять из тридцати пяти возможных. Конкурс пять-семь человек на место держался годами. И в этом было нечто парадоксальное. Каждый прекрасно осознавал, что его ждет карьера сельского учителя — необходимая, полезная, но отнюдь не привлекательная — и мизерная зарплата. Но об этом даже не принято было говорить. Само собой подразумевалось, что все станут журналистами, скажут свое слово в литературе, займутся, в конце концов, научной работой. А труд учителя начальной школы, воспитательницы детского сада или библиотекаря предназначен кому-то другому.

Если происходило почти чудо, и вы преодолевали все вступительные препоны, то получали восхитительную возможность пять лет бездельничать. Нельзя же было считать настоящей работой чтение любимых книг и диагональный просмотр нелюбимых. Какие были годы надежд, и какие книги! Отошли в прошлое забубенные "Белые березы" и "Кавалер Золотой звезды". Наша жизнь была взорвана романами Ремарка и еще более — Хемингуэем. А за ними уже вырастали глыбы Фолкнера и Вулфа. Они подарили нам понятие самооценности личности и гордый индивидуализм, помогли нам никогда уже не возвращаться, что бы с нами ни случилось, в закоулки коллективного сознания, и теперь всегда где-то впереди и над нами белели недостижимые и нетронутые снега Килиманджаро.

Иногда это безмятежное существование прерывалось экскурсами в сравнительное языкознание или историческую грамматику. И вот, когда вы окончательно привыкали к этой интересной и необременительной жизни, вдруг стремительно и неотвратимо приблизилась вторая проблема — распределение.

В начале шестидесятых годов будто бы появились — мы так думали — слабые ростки демократии. Нам объявили, что на заседание комиссии по распределению мы будем входить в соответствии со своим средним бал-

лом, что давало первым возможность маленького, но выбора. И хотя я была в первом десятке, все произошло быстро и безвариантно: через пять минут я снова стояла в коридоре и рассматривала листок, на котором было написано место моей новой жизни: Тернопольская область, село Дощовый Кут, что в переводе на русский означает Дожливый Угол.

И вот последний месяц каникул или первый месяц отпуска пролетел, и первого августа в недоумении стояла я на подножке автобуса, который привез меня в этот Кут. Но стоять бесконечно долго невозможно, и я сделала первый шаг к своей самостоятельной жизни. Он, первый шаг, привел меня в глубокую колдобину, наполненную вязкой грязью. Голубые босоножки полностью утонули в ней и, как я сразу же поняла, были безнадежно испорчены. Автобус, громяхая сочленениями, уехал, а я стояла в этой колдобине, криво поставив ноги и не меняя позы, потому что боялась погрузиться в грязь еще глубже, и ожидала аборигена. Наконец появился подросток в высоких резиновых сапогах, которые, как я уже поняла, были здесь всесезонной обувью.

На мой вопрос, где находится школа, он указал рукой на что-то за моей спиной и сказал:

— Та ось, йдіть навпростець, крізь колгоспний двір...

Я оглянулась: за покосившимся забором, где не хватало жердин, простирался, как видно, скотный двор. Утопая в грязи, на этот раз смешанной с навозом, я пошла к белому дому, окруженному деревьями, который проглядывал сквозь забор. Сначала я с опаской посматривала на нескольких коров, бродивших по двору. Вероятно, у них не хватило сил дойти до пастбища. При взгляде на них сразу становился понятен смысл емкого украинского слова "худоба", которым называют крупный рогатый скот.

На крыльце школы сидело несколько молодых женщин в ситцевых халатах — кто с вышиванием, кто с вязанием в руках. Они вели разговор об огородах, и все были беременными. У меня мелькнула мысль, что к Новому году я буду преподавать в школе все предметы вплоть до биологии и химии.

— Ви — мовниця? — спросила одна из женщин. И хотя ни в русском, ни в украинском языках нет такого слова, было совершенно ясно, что она спрашивает меня, не являюсь ли я преподавательницей языка. На мой утвердительный ответ последовал второй вопрос:

— А де ваш чоловік?

Ответив, что мужа у меня нет, я прошла к кабинету директора. На стене в коридоре висел график соревнования между классами по выведению кроликов. Это превышало мою компетенцию.

Директор, рассматривая мои документы, задал тот же вопрос:

— А ваш муж приедет позже?

Я начала понимать, что здесь что-то не так. А директор тем временем объяснял, стараясь меня слегка припугнуть, что моя нагрузка складывается из часов в этой восьмилетней школе и из уроков в вечерней школе рабочей молодежи, которая находится на другом конце села, в двух километрах отсюда.

— Ничего, — заверила я его, — значит, квартиру мне нужно искать по середине села.

— Да... квартиру... — промямлил директор. — Это не совсем то, что вы себе представляете.

Потом пришел к какому-то решению, собрался и уже другим, "директорским", голосом спросил:

— Где вы остановились? А, в Тернополе, в гостинице... Вас не затруднит приехать еще раз завтра после двенадцати часов?

В некотором недоумении я вернулась в город, прошлась по бульвару, вышла к озеру. Прикидывая планы своей дальнейшей жизни, отыскала опорные пункты — театр и кинотеатр, книжный магазин и библиотеку. В голову лезли какие-то романтические бредни: я здесь нужна... разумное, доброе... искорка знаний в этой дождливой глухомани. К утру я уже почти уговорила себя.

На следующий день директор был готов к беседе.

— Понимаете, — говорил он, — как важно, чтобы в школе работали учителя-мужчины. Я долго договаривался с облоно, чтобы к нам направили молодую пару, чтобы они здесь остались жить, построили дом. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Вы же, конечно, к нам не насовсем? — задал он вопрос, не требующий ответа. — И вот мне такую пару подыскали — уроженцы нашей области, два года как окончили Черновицкий университет. Но вы имеете официальное направление к нам... — сказал он и сделал паузу.

Я стала прозревать истину и робко пошла ей навстречу:

— Значит, вы можете дать мне открепление?

Оно уже было подготовлено, и мне оставалось только съездить в Киев, в Министерство просвещения, и получить подтверждение. Через несколько дней тот самый "свободный диплом" — предмет мечтаний — без обязательных трех лет работы по назначению и комсомольских разбирательств в случае уклонения был у меня в руках.

Была середина августа: школьные штаты были укомплектованы, в редакциях газет — сколько угодно внештатной работы по четыре копейки за строку, в научной библиотеке предложили поработать неопределенно долго бесплатно — до появления новых ставок. И тут, как водится, совершенно случайно я узнала от родственницы моих друзей, что детский дом ищет педагога.

Детский дом стоял на краю города, не на окраине, а именно на краю. Короткий неширокий Барятинский переулок пролегал по самому краю обрыва, над портом. Имело ли его название какое-то отношение к фамилии князей Барятинских, мне так и недосуг было узнать. Старинный особняк по фасаду и боковые флигеля замыкали двор в виде буквы "П", а одна его сторона, обращенная к морю, была забрана высокой железной решеткой. За ней — отвесный обрыв, поросший колючим кустарником. Внизу лежала гавань, где протяжно гудели пароходы, нутужно пыхтели паровозы, громыхали вагоны, в которые перегружали грузы портовые краны, гремели якорные цепи — это был неисчезающий звуковой фон, смягченный расстоянием. Вдали, в дымке, угадывался противоположный берег бухты. Из этого двора можно было увидеть, как утром встает из воды солнце и как оно вечером скрывается за куполом оперного театра и колоннадой Воронцовского дворца.

— У нас нелегко работать, — мягко сказал мне Владимир Петрович, директор детдома, красивый мужчина средних лет, выжидательно глядя на меня.

Так я начала работать педагогом-воспитателем. В детдоме жили примерно шестьдесят мальчиков и девочек от семи до пятнадцати лет. Все они учились в ближайшей школе, которая была всего через три дома, в этом же квартале, вливаясь маленькими группками в разные классы. Моя группа была старшая — пятый-восьмой классы. Я приходила на работу к двум часам, когда у них оканчивались занятия в школе, и должна была оставаться с ними до восьми вечера. Они как будто делали при мне уроки. А что делала я при них? Мои обязанности были расплывчаты и неопределенны.

И тут я пережила несколько дней панических сомнений — гоюсь ли я вообще для этой работы? Оказалось, что все, чему я училась, здесь будто бы и ни к чему, нужно было делать что-то очень конкретное, полезное для этих детей. Но что — я не знала. Тем более что меня смущали и дети. Они были тихими, непривычно тихими, как будто ушедшими в себя: они

даже бегали, играли и смеялись негромко, озабоченные, как я догадывалась, недетскими мыслями. Нешумным был и персонал, хотя учительницу труда, которая обучала девочек шитью, вышиванию, в общем, тому, что она умела сама, тихонько называли Светка-Волкодав.

Оказалось, что я должна систематически посещать школу, в которой учились дети, справляться у завуча и классных руководителей, как они занимаются, ведут себя, просматривать их оценки по классным журналам. Здесь все было каким-то безликим, усредненным — в пределах троек и четверок. Может быть, учителя жалели их и не ставили двоек, но и не искали среди них способных. В этом была не явная, но несправедливость. И мне показалось, что их жизнь еще можно чуть-чуть изменить.

Домашние задания они выполняли в большой комнате, в которой стояли столы. За каждым могло расположиться восемь человек. На следующий день я пришла с табличками: стол № 1 — русский язык, стол № 2 — украинский язык, и далее — стол математики, английского языка, физики. За каждым столом собиралась группа, занимающаяся обозначенным на нем предметом, независимо от возраста. Поначалу я объясняла задания, переходя от одного стола к другому, исправляла ошибки, подсказывала решения, вела себя совершенно непедagogично. Хорошо, что не было ребят старше восьмого класса, и моих воспоминаний из области математики и физики было достаточно. Они оканчивали делать задание по одному предмету и сразу же переходили за другой стол. Через несколько дней в них проснулся дух соревнования. Старшие, уловив игровой момент, стали помогать младшим, сидящим за этим же столом. Мы научились довольно быстро справляться с уроками и всей группой уходили на прогулку.

Рядом раскинулся самый большой в Одессе парк, носивший имя Тараса Шевченко. Вот туда мы и шли, проходя мимо дома, где жил Куприн, к остаткам крепостных сооружений, построенных еще солдатами Суворова, к Александровской колонне, поставленной в честь победы над турками, да и парк когда-то назывался Александровским — в честь Александра III. Доходили до дома-мастерской художника Костанди и, наконец, до самой дальней точки нашего маршрута — дома, где родился Эдуард Багрицкий. Были у нас и другие излюбленные прогулки — по Канатной и Карантинной — припортовым улицам, лестницам и спускам.

Но наступила уже глубокая осень, рано темнело, приходилось оставаться в доме. И тогда я принесла первую книгу и предложила читать вслух. Это был "Белый пудель" Куприна. И для детей это было уже не что-то отвлеченное, это написал писатель, который жил напротив, наис-

косок, свой, сосед, он ходил когда-то по этому же Барятинскому переулку. Потом были "Всадник без головы", "Дети капитана Гранта" и "Таинственный остров". Все усаживались в классной комнате, составив стулья двумя полукругами, в первом — девочки, во втором — мальчики, слушали, нетерпеливо ожидая своей очереди читать.

Директор Владимир Петрович приходил, молча смотрел, иногда минут десять слушал и так же молча уходил. Однажды он спросил меня:

— К чему все это? Ведь все они пойдут в ПТУ, будут швеями, штукатурами, малярами.

— А вдруг не все? — я ощутила опять несправедливость жизни, судьбы. — А разве читающий штукатур хуже пьющего?

— Штукатурами становятся девочки, — как будто невпопад ответил директор.

Однажды в учительскую влетела Светка, она зашла в злобном шипении:

— Нет, не могу. Опять эта тварь приехала. Я ей сейчас все скажу...

— Света, перестаньте, каждый раз одно и то же, пора бы вам привыкнуть, — сказала старенькая Ольга Алексеевна, осуществлявшая у нас музыкальное воспитание.

— Да, да, — как-то вся обмякла Светка и села, по обыкновению поджав под себя длинную худую ногу, и сразу сквозь ее подростковую внешность проступили усталость и разочарование тридцатипятилетней женщины. Потом посмотрела на меня и бесцветным опустошенным голосом сказала:

— Пойди посмотри, полезно для жизни.

В комнате отдыха, что-то вроде гостиной, куда я вошла и немного замешкалась, делая вид, что с трудом снимаю с полки вазу для цветов, сидела красивая, ухоженная женщина, с высоко уложенными светлыми волосами, в синем платье джерси, модное югославское пальто с норковым воротником было переброшено через спинку стула. Она обнимала и тормошила Алешу, мальчика лет одиннадцати, и тут же совала ему в руки пакеты, приговаривая:

— Отдашь все тете Кате, сынок, это для всех на ужин, у тебя же сегодня день рождения.

— Тетя Катя уже спекла три торта, — тихо говорил Алеша, глядя в сторону, и видно было, что он сдерживает слезы. — Только мне еще знать об этом нельзя.

В учительской, куда я так и вошла с пустой вазой в руках, все подавленно молчали.

— Объясните: что происходит? Мне кажется, что у этой женщины все в порядке. Почему Алеша живет здесь?

Ольга Алексеевна сняла очки:

— А вы думали, что они — все сироты или дети алкоголиков, преступников, лишенных родительских прав? Нет, нет... Они по-разному попадают сюда. Вот эта, — она махнула рукой в сторону двери, — замуж вышла во второй раз, за подполковника, хорошо вышла, а он сразу предупредил, что не хочет чужого ребенка в доме. Алеша — хороший мальчик, способный, — и Ольга Алексеевна, не скрывая, вытерла слезы.

И тут я вспомнила слова директора: "У нас нелегко работать".

* * *

Прошло месяцев пять; мне было интересно, я уже не думала о том, что эта работа только временное пристанище, и неприятна была даже мысль о том, что детей можно оставить.

В конце января меня вызвал Владимир Петрович:

— Вы едете в командировку, отвезете Валеру к матери, за Свердловск...

— Нашлись родители? — радостно спросила я.

— А они никогда и не терялись... Во всяком случае, мать, у нее еще двое детей, от разных мужчин.

— А может она их содержать?

— Может, может, — зло сказал директор и протянул мне письмо. Комиссия по надзору за детьми при городском совете города Ревда сообщала — и далее шло описание квартиры, сведения о должности и зарплате Марии Григорьевны Тимофеевой и вывод: имеются все условия для нормального проживания еще одного ребенка.

— Вы не представляете, как трудно вернуть ребенка в семью, сколько нужно вести переговоров, сколько заполнить бумаг, — говорил Владимир Петрович.

— Но, может быть, и не нужно?

— Конечно, не нужно, даже преступно! — кипел в бессильном негодовании директор. — Это уже не секрет, и я должен вас предупредить: наш детский дом закрывают, мы должны постараться кого возможно отдать родителям.

— А остальные?

— Остальные уйдут в разные детдома, где есть места.

— Но это бесчеловечно, — я с трудом сдерживалась, чтобы не зареветь: мне было жалко и детей, и директора.

— Да, бесчеловечно, — уже более спокойно согласился он. — Но нужно спешить. Идите сейчас же в облоно и оформляйте документы.

Все завертелось очень быстро: я бегала из комнаты в комнату, получая кипу бумаг и инструкции. А сама думала о Валере, крупном четырнадцатилетнем мальчишке, черноволосом, с ярким румянцем и пушком над пухлыми губами. Оказалось, что теперь я называюсь педагог-эвакуатор, и на меня возлагается масса обязанностей. Дома собирали мне в дорогу теплые вещи, так как морозы на Урале в эти дни доходили до 25-30° и, в свою очередь, страшали меня тем, что мальчик может в дороге убежать. Я отмахивалась от этих предположений, но в глубине души понимала, что они небезосновательны.

Через три дня мы уезжали. Прощание, вокзал, поезд... Я не сразу заметила, что Валера замолчал, напряженно, тяжело. На мои вопросы, попытки разговорить его, он не отвечал, только утвердительно или отрицательно качал головой. Он вглядывался в заснеженные поля и лесочки за окном вагона, и чувствовалось, что он встревожен, боится предстоящей встречи.

Через сутки мы были в Москве. Переехали с Киевского вокзала на Казанский. Я купила билеты на поезд Владивосток — Москва, который уходил поздним вечером. Потом мы пошли обедать в ресторан при вокзале. Валера с удивлением рассматривал бордовое великолепие зала, когда к нашему столику подошел молодой человек. Это была классика: растянутый поношенный свитер, борода, давно не стриженные волосы — облик геолога из кинофильмов тех лет. Как оказалось несколько позже, он им и был.

— Куда едете, ребята, как это родители вас одних отпустили? — весело и громко спрашивал он, усаживаясь за наш столик.

Пока я подыскивала ответ, Валера стал оглядываться по сторонам. Геолог догадался первым:

— Беги вон туда, за портьеру, в углу. Так куда едешь с братиком? — снова спросил он.

Я объяснила ему происходящее. Он с минуту смотрел на меня оторопелыми глазами, потом рванулся к буфетной стойке. Через пять минут перед уже вернувшимся Валерой высились горой апельсины, коробка конфет, плитки шоколада.

Павел говорил, не умолкая; одна история сменяла другую — здесь были и приключения геологической партии в тайге, и нападение потревоженного медведя, и рассказ о том, как он заблудился в таежных горах. Он

говорил, обращаясь только к Валере, стараясь вывести его из состояния заторможенности, испуга. И ему это удалось — мальчишка спрашивал его о чем-то, я не вдумывалась, о чем, радуясь минутной передышке, главное — он говорил.

Потом мы до позднего вечера гуляли по Москве. Кремль, зоопарк, улица Горького... Мы с Павлом по возрасту не годились в родители Валере, но, не сговариваясь, вели себя так, будто показываем Москву своему ребенку. Оказалось, что мы оба с Павлом любим Сокольники зимой. И мы прошлись, уже не спеша, усталые, по аллеям парка, покрытым скрипящим под ногами снегом, издали посмотрели на вход в церковь, мерцающий тусклым золотом свечей.

Наш странный длинный день окончился. Павел, прощаясь с нами у вагона, попытался узнать мой адрес и телефон. Но я в то время была влюблена отчаянно, счастливо и безнадежно. А Павел никак не вписывался в мой жизненный пунктир.

На второй день ранним утром мы вышли с Валерой на перрон маленького вокзальчика в городе Ревда. Я еще не успела подумать, в какую сторону идти, когда нас с криками окружили человек восемь-десять: "Валера! Мальчик наш! Сыночек! Внучек!". Они выхватили у него из рук чемодан, кошелку и тащили его куда-то в сторону выхода с вокзала. Я растерялась, нужно было еще многое сделать, соблюсти формальности.

— Подождите, — сказала я, — ребенок еще со мной.

Маленькая, с крысиным лицом женщина агрессивно объяснила, что они получили телеграмму о приезде сына (она произносила это слово с большой буквы) и хотела бы знать, кто такая я. Пришлось внести некоторую ясность в ситуацию. Я чувствовала, как во мне нарастает неприязнь ко всей этой компании.

— Я должна увидеть вашу квартиру, — начала я выполнять полученные инструкции. У меня было право увезти ребенка обратно, если условия проживания не соответствовали положенным нормам, а письмо из горсовета Ревды не отражало действительности.

Мы направились к их дому, и я получила возможность присмотреться к ним. Кроме матери, был еще старший брат Валеры — молодой человек лет восемнадцати-девятнадцати, младшая сестренка лет десяти-одиннадцати. Отдавать одного ребенка в детдом и рожать другого — в этом для меня было что-то непостижимое. Была бабушка, вполне еще бодрая. И еще две пары средних лет, которые могли быть дядями-тетями. Все были просто, но тепло, добротой одеты.

Мы пришли к стандартной пятиэтажке, вошли в обычную двухкомнатную квартиру, чистую, обставленную стандартным набором мебели. В большой комнате был накрыт праздничный стол.

— Снимайте шубу, прошу к столу, — засуетилась хозяйка, как мне казалось, неискренне изображая радушие.

— Давайте раньше покончим с делами. Сколько человек прописано в квартире?

— Трое — я с детьми, — поджав губы, ответила Мария Григорьевна.

Я отметила это в бумагах, которые мне еще придется вернуть в облоно, жилье было нормальным.

— Теперь мы с вами идем в районное отделение милиции.

Вся компания возмущенно загомонил. Но я видела только испуганные, остановившиеся на мне глаза Валеры. Вся эта суэта проходила мимо него, он понимал, что единственный человек, которого он знает, вот-вот покинет его, и он останется с этими чужими ему людьми, которые почему-то называются его семьей.

В милиции я уточнила, правда ли, что в квартире прописано только три человека, и не будет ли осложнений с пропиской четвертого, нет ли у кого-нибудь из членов семьи "приводов" в милицию в связи с пьянством или другими отклонениями в поведении. Пожилой капитан заверил меня, что все будет в порядке, расписался у меня в бумагах, удивленно поглядывая на всю компанию, которая тоже втиснулась в его небольшой кабинет.

— А теперь мы идем в горсовет.

Я чувствовала, как нарастает их враждебность ко мне. Там, в горсовете, и происходила официальная передача ребенка матери, скрепленная подписями трех сторон. Она, которая сдала сына в детский дом и ни разу за долгие годы не удосужилась его проведать, обязалась растить, воспитывать, учить. Не было только в тексте формуляра графы со словом "любить". Мне казалось, что я — участница преступления, но ничего нельзя было изменить.

Мы вышли из горсовета, официальная процедура передачи была окончена. У меня дрожали ноги, и было гадко на душе.

— Ну, а теперь пойдемте к нам, закусим, отдохнете, — принужденно говорила мать Валеры.

— Нет, нет, я спешу, мне нужно сегодня успеть на московский поезд.

Я погладила по щеке Валеру, — в глазах его были испуг и слезы, попрощалась со всеми, — они меня и не удерживали, и одна пошла к вокзалу.

Через полчаса я уже сидела в вагоне пригородного поезда, идущего в Свердловск, и старалась разобраться в сумятице своих ощущений. Так не бывает: обычная женщина, пусть мне несимпатичная, но обычная, рядом родственники, дети, хотя и от разных мужей, но так просто ребенка, здорового, красивого, в детдом не отдают. "Валера Гроверман, Валера Гроверман..." — повторила я несколько раз про себя и зацепилась мысленно за его фамилию. Не здесь ли причина?

Через три дня этот же вопрос я задала Виктору Петровичу.

— Наверное, я должен был вам все рассказать раньше.

Он достал из сейфа личное дело: Валерий Гроверман, 1949 года рождения. Излагалась просьба Марии и Федора Тимофеевых взять временно, до решения жилищного вопроса, так как они в данный момент проживают в аварийном, лишенном элементарных удобств доме, сына Марии Тимофеевой от второго брака в детдом, и соответствующее решение детской комиссии при горсовете. Это была часть документа. И вторая — заключение психолога: ребенок здоров, нормален; побудительный мотив матери — у нее есть ребенок от первого брака, сейчас она ожидает ребенка от третьего, текущего брака, муж считает, что здоровую семью можно построить, если все дети будут единого происхождения. Туманно, но вместе с тем смысл очевиден.

Мы помолчали. Потом Владимир Петрович сказал:

— Я рассчитывал, что вы отвезете еще и Клаву в Архангельск. Но, вероятно, для вас уже слишком...

— У нее тоже нашлись такие же любящие родители? Нет, не хочу...

Побывать в Архангельске, конечно же, хотелось, но не хватало смелости еще раз окунуться в чужую драму.

— А куда вы, Владимир Петрович, пойдете работать?

— Снова в детский дом, там всегда есть работа. Мне казалось, что вы у нас надолго останетесь, да вот — не сложилось...

Вскоре я уже работала в медицинском институте. Детский дом сознательно отодвинула куда-то в глубь памяти и никогда не пыталась узнать, что стало с детьми, как сложились их судьбы. Им нужно было посвятить жизнь, а я не была к этому готова.

Прошли десятилетия, но до сих пор я уверена, что настоящими родителями тех, детдомовских, детей, а теперь уже немолодых людей были Владимир Петрович и Светка-Волкодав, а родным домом — тот старый особняк на обрыве.

Дюссельдорф

Одесса. Исход...

Отрывок из сборника "Бредовский поход" серии "История и память".
Издательство Российского государственного гуманитарного университета.
М., 2003.

* * *

Я слез со своей платформы с песком и огляделся. Моих попутчиков не было, они где-то затерялись в толпе. Немного подождав и не дождавшись их, я пошел по направлению к городу, следуя общему течению. Приехавшие шли группами и одиночками, кто с вещами, а кто налегке. Минут через десять меня догнал один из моих попутчиков, поручик Опэль.

— А я вас ищу, — сказал он, поправляя мешочек со сменой белья. — Белибердов нашел каких-то знакомых, к ним и пристал.

Мы пошли вместе.

— Вы Одессу знаете? — спросил через минуту Опэль.

— Нет.

— У вас есть тут знакомые, родственники?

— Нет.

— Деньги есть у вас?

— Тридцать рублей в денкинской валюте.



— Немного. Как же мы ночевать будем? И есть хочется. У меня тоже ничего нет. Только одна смена белья.

Я промолчал. Я тоже не представлял себе, где и как мы будем спать. Через несколько минут в сумерках нагнали человека, тащившего тяжелый чемодан; потом нас кто-то догнал... Так образовалась группа человек в семь. Мы шли по рельсам и через рельсы, присаживаясь иногда отдохнуть у черных от темноты станционных зданий. Сидя, мы философствовали и рассуждали о настоящих временах; никто из нас не знал, где он проведет ночь. Общее чувство бездомности объединило всю компанию, и было решено держаться пока что кучей. В полной темноте мы пришли на какую-то большую площадь и, пройдя ворота, очутились, наконец, в самой Одессе. Это была окраина, очень скудно освещенная, но все-таки освещенная. После трехчасовой ходьбы по железнодорожным путям я страшно устал и захотел пить. Попался киоск с лимонадом; искушение было велико, и я пропил весь свой капитал. После этого проснулся лютый голод. Но купить пряник или хлеба уже не было возможным. Собрали совет — что делать дальше? Порешили идти к коменданту города и получить у него ордер на номер в гостинице. Но никто не знал, где находится комендант и как до него добраться.

— Комендант живет где-нибудь в центре. Идемте туда, — предложил кто-то.

Пошли к центру. Вероятно, мы резко отличались от одесситов, потому что проходившая мимо девушка, поглядев на нас, сказала своему спутнику:

— Это беженцы, должно быть. У них такой оборванский вид.

Встреченный, к счастью, квартальный разъяснил нам, где находится комендантское правление и как к нему пройти.

— Только это далеко отсюда, — добавил он, — поезжайте лучше трамваем, который ходит по этой улице.

Мы послушались совета и стали у первой остановки.

Вдруг недалеко от нас поднялась стрельба. Стреляли где-то очень близко, но где именно — разобрать было трудно. Мне показалось, что стреляют или на ближайшем дворе, или с чердака темного неосвещенного дома. Среди винтовочных выстрелов ухо улавливало сухое отрывистое щелканье браунингов. Иногда доносилось лязганье затворов и какой-то голос, словно подававший команду. Бухнуло пять или шесть ручных гранат. Мы все, в том числе и околоточный, прижались к стене. К счастью, пули и осколки летели куда-то в другую сторону.

— Что это у вас делается? — спросил кто-то околоточного.

— А это большевизанствующие народ страшают; но, когда можно, то и подстрелят. Вся эта окраина такая.

Минут через пять-десять стрельба стихла. Вскоре подошел трамвай и забрал нас. Пассажиров внутри было много; все они с любопытством смотрели на нашу серую, грязную, небритую и нестриженую компанию. Под ярким электрическим светом мы все выглядели, как только что выпрыгнувшие из болота. Особенное внимание публики вызвали мои валенки и вообще вся моя личность. Когда, найдя место, я уселся на лавочке, мой сосед поспешно от меня отодвинулся, а сидевший напротив поспешил подобрать свои ноги в начищенных штиблетах.

Доехав до какой-то церкви, мы слезли и пошли дальше пешком. Идти пришлось по широким красивым улицам. Света было много; открытые лавки и магазины выставляли напоказ шелка, сукна, готовые костюмы, духи, драгоценности... Публика одета была элегантно. Гуляло много офицеров в чистых светлых шинелях со стеками в руках. Все кафе и рестораны были ярко освещены. Словом, по внешнему виду совсем нельзя было предположить, что где-то есть большевики, война, отступающие, голодающие, умирающие... и наша группа вносила странный диссонанс в это царство приличия и кажущегося благополучия. Среди военных было великое множество пьяных. По дороге мы зашли в несколько гостиниц справиться о комнатах. Но все было переполнено. В одной гостинице мы услышали такой рев, что лакей поспешил нас успокоить:

— Это господа офицеры полковой праздник справляют.

В другой — бродил по коридору с револьвером в руке молодой офицер с совершенно бессмысленными от алкоголя глазами. Видно, деньги были у них, и они спешили их использовать.

Наконец мы очутились у комендантского правления. Дорогу нам загордил часовой, стоявший у входа. Он не пустил нас в само здание, грубо заявив, что теперь никого нет, и никаких ордеров никому не выдают. Мы заволновались: не ночевать же нам на улице? Но в наше положение часовой входить не желал и даже отказался дать какие-либо указания. Поняв, что этого часового не прошибить никакими доводами, мы воскорбели и задумались: что же делать дальше? Выручил нас проходивший мимо комендантский адъютант; благодаря ему мы получили ордер на один номер в гостинице "Киев". Отправились туда. Сначала нас там не хотели принимать. Пошли длинные утомительные переговоры, и в конце концов нас всемером поместили в гостиничной конторе. Мы расположились в ней, как могли; кто на стуле, кто на подоконнике, а кто и просто на полу. Са-

мым старшим из нас по возрасту и по чину оказался полковник Эмм, брат видного русского журналиста. Было потом два или три чиновника из Государственной стражи, два саперных офицера, Опэль и я.

Занявши комнату, полковник заказал на всю братию самовар. За чаем мы стали отогреваться и приводить в порядок растрепанные долгим путешествием чувства и мысли. Поговоривши о том, что кому пришлось видеть и испытать, стали располагаться на ночлег. Место мне досталось хотя и не большое, но очень удобное, как раз под самым столом. Ножки его составляли естественную границу между мной и остальным живым миром. Я снял шинель, разостлал ее на полу, положил папаху под голову, шинелью же укрылся и почувствовал себя совсем недурно, вроде как бы на кровати под балдахином.

Оттого, что наши дорожные впечатления, ставшие за месяц привычными и однообразными, сразу заменились новыми, ни в чем не похожими на прежние, мне вдруг показалось, что это не я, а кто-то другой проделал все это длинное путешествие. И сознание, обеспокоенное таким раздвоением, сильно заработало над восстановлением своего единства. Отправившись от настоящего момента, как от самого достоверного, мысль понеслась по коридору прошлого, задерживаясь на отдельных этапах, в поисках моего затерявшегося "я". Мелькнуло комендантское, трамвай, путешествие через рельсы, поля, снега... Наконец где-то очень далеко одесские и неодесские впечатления скрестились в одной точке. В этой точке я увидел самого себя. Единство было восстановлено, я успокоился.

Дальше потянулись мысли житейского порядка: вставал вопрос о будущем, мучительно сознавалось безденежье; вместе с тем хотелось привести себя в человеческий вид и освободиться от грязи, насевшей за время отступления, от насекомых. С этим я и заснул.

Утром моей первой мыслью было, что я в Одессе и что мне не на что жить.

И, лежа под балдахином, я задумался: что предпринять дальше? В голове мелькали неопределенные намерения: пойти в интендантство, выпросить себе полный комплект обмундирования и обувь, затем поступить куда-нибудь на место, где платят деньги.

В первый день я никуда не пошел, а продремал все время, сидя на подоконнике. В этом большом городе у меня не было ни одной точки опоры, я никого не знал. Мои компаньоны разошлись еще с самого утра знакомиться с городом и отыскать более прочное пристанище.

Еврейчик-конторщик, занимавшийся у стола, под которым я провел ночь, видимо, проникся ко мне жалостью и в два часа дня предложил мне

обед; мы поели вместе; расспрашивать меня он не решался, но, очевидно, его очень интересовал вопрос: кто я и как дошел я до жизни такой? Я счел за лучшее оставить его в блаженном неведении.

К вечеру наша публика стала сходиться. У всех, что называется, дело было на мази: кто нашел своих знакомых, кто оставил им записочку, а кто, если и не нашел ничего, имел, по крайней мере, надежды. Даже поручику Опэлю повезло — он нашел Белибердова, приехавшего со своими знакомыми на паровозе броневое поезда прямо в Одессу. Впечатление от города у всех было одно и то же — люди живут по-человечески, деньгой особенно не стесняются.

Позже других пришел полковник Эмм. Он привез более положительные известия, исходившие, казалось, из кругов осведомленных. Около Одессы высшее командование предпринимало грандиозные фортификационные работы. Город предполагалось обратить в неприступную крепость с суши, с моря защищаемую английским флотом. На некоторых участках, как сказали Эмму, работы уже начались; рабочие, кроме денег, получают также и пропитание. Мы слушали эти вести, и у нас не было никакого сомнения, что так и было на самом деле. Между нами даже поднялись разговоры, какой численности понадобится гарнизон и чем питать город во время осады.

Потом я обратился к Эмму с вопросом, что мне делать и каким образом привести себя в человеческий вид. Он посоветовал обратиться к коменданту, а дальше уже видно будет. На другой день рано утром я побежал к коменданту. У его канцелярии уже стоял длиннейший хвост из людей гражданского, видимо, положения. Начинался этот хвост у двери на третьем этаже, спускался по лестницам вниз, выходил на улицу и упирался в пятый от комендантского подъезда фонарь. Все звенья этого хвоста были сугубо мрачны и хранили молчание. Приблизившись к подъезду с грацией, которую только могли сообщить моей походке набитые соломой валенки, я спросил у большой рыжей бороды в поддевке, не читая созерцавшей какой-то многоречивый приказ властей, что это за очередь. Борода посмотрела на меня и нехотя ответила, что "тут те, которые на выезд".

Выезд меня в данную минуту не интересовал, и я зашагал наверх. Дверей было много; на всех висели предупреждения: "Вход воспрещается". Наконец нашлась дверь без этой надписи; постучав на всякий случай и не получив ответа, я шагнул за порог. В большой полутемной комнате от окна к письменному столу и обратно шагал отделенный от постороннего мира деревянным барьером комендантский адъютант с орденами во всю грудь.

Он учтиво выслушал меня и так же учтиво посоветовал обратиться в интендантские склады, находившиеся где-то в соседнем переулке. Что же касается самого комендантского правления, то, по его словам, оно действительно не было в состоянии удовлетворить моей просьбы, несмотря на его горячие симпатии к лицам, находившимся в таком, как я, положении. В благодарность я шаркнул валенками по паркету и удалился с приятным чувством, что есть еще на свете отзывчивые люди. Закрывая дверь, я прищемил полу шинели. Пришлось дверь полуоткрыть. В этот момент только что принявший меня адъютант, повернувшись спиной к двери, говорил кому-то: "Так, шантрапа какая-то..."

Интендантские склады я нашел очень быстро. Состояли они из каких-то пустырей, недоконченных сараев и сторожки. Ни людей, ни вещей не было видно. Только в сторожке я нашел очень древнего, совершенно высохшего, с прозеленью в белых волосах старца. Он объяснил мне, что точно тут раньше были склады, но во время германской войны часть их куда-то перенесли, а что осталось — было ограблено большевиками. Сторожные же обязанности старик нес уже просто по привычке.

— Деться мне некуда, из сторожки меня не гонят, вот и живу здесь... А из комендантского сюда часто приходят... Знай, шутник там завелся...

Поблагодарив древность за эти сведения, я зашагал в "Киев". От ходьбы по камням без подошв ноги сильно горели и уставали. Для отдыха я останавливался читать афишки, которыми были оклеены все заборы и стенки. Одно из объявлений, подписанное генералом Шиллингом, командующим войсками Одесского округа, помеченное вчерашним числом, задержало мое внимание. Приказ был действительно сногсшибательный: все офицеры и военные чины, находившиеся в Одессе, должны были немедленно зарегистрироваться. За неисполнение этого приказа по каким бы то ни было причинам сперва грозила конфискация имущества, а потом расстрел. Регистрации подлежали все: больные, уволенные по чистой отставке, инвалиды и даже те, кто не мог ходить без посторонней помощи.

Я пришел в гостиницу, когда наша компания была уже вся в сборе. Речь шла о регистрации. Никто ею доволен не был, для всякого она являлась только излишней потерей времени. Надо было идти, толкаться, ждать и изнывать в толпе. И все это — без малейшей пользы для самого дела, то есть для защиты города от большевиков.

На следующее утро толпа офицеров и чиновников наполнила громадный и холодный кинематограф "Арс". Большинство было одето, как в мирное время; среди светлых шинелей один я выделялся безобразным

пятном. Моя небритая и нечесаная в течение месяца фигура вызывала любопытные взгляды, а порой и осторожные брезгливые отодвигания.

В толпе говорили больше о тех, кому так или сяк удалось уехать за границу и избавиться от всяких регистраций. Этим уехавшим завидовали. Какой-то офицер с бобровым воротником рассказывал своему знакомому, что он тоже должен был получить заграничную командировку, но что этому помешал тиф.

Ждать очереди пришлось часа три. Наконец я очутился перед столиком, за которым сидел ветхий полковник с очками на круглом, как мяч, носу. Он повертел мое увольнение в отставку по болезни, но печати не поставил, а пошел совещаться с другими. Меня стали допрашивать, когда я приехал в Одессу, зачем и что я буду здесь делать. Тогда, взяв обратно свою бумажку, я подошел к другому столу. Там кавалерийский полковник, не знавший никаких сомнений, сразу бухнул печать, сделал надпись: "На регистрацию явился", подписался и крикнул: "Следующий!".

На подъезде кинематографа меня окликнул чей-то голос. Я обернулся и увидел моего давнишнего знакомого по Варшаве, где он служил чиновником в интендантстве. Не виделись мы уже больше пяти лет; пошли разговоры... Внимательно оглядев меня, но не сделав никакого замечания, он пригласил меня в кондитерскую обедать. Сопротивления ему я не оказал. Пока я ел, Мякин рассказывал о себе; самое главное было то, что в настоящее время он служил и наблюдал за погрузкой артиллерийских снарядов на пароход. Оказалось, что все артиллерийские склады было решено из Одессы отправить в Севастополь. Эта операция производилась секретным порядком, и на самый пароход, куда грузили снаряды, пропускали только должностных лиц. Но не дальше как вчера Мякин, обходя с механиком трюм, совершенно случайно в одном укромном местечке нашел адскую машину, которая должна была взорвать уже погруженные снаряды... А их было несколько сот тысяч.

От Мякина же я узнал, что в Одессе живет мой большой друг Спиридон Лохан. Служил Лохан где-то учителем и жил в Одессе вместе с женой и тещей.

На этом мы и расстались; Мякин пошел к себе, а я в свой "Киев". Оказалось, что на регистрацию ходили только один сапер, Опэль и я; остальные же пренебрегли всеми угрозами Шиллинга и в комиссию не пошли. Как мне потом сознался полковник Эмм, недалеко от нас была табачная лавочка, где за небольшую мзду ставили какие угодно штампы и делали какие угодно надписи. Мы даже сравнили печати — обе были совершенно одинаковые.

— Одесские жулики прекрасно учитывают, на что может быть спрос, — говорил Эмм. — Теперь по всему городу табачные лавочки занимаются конкуренцией с комиссиями; один шутник рассказал мне даже, что будто есть такой полковник, который по окончании работы в комиссии подписывает всякие удостоверения в лавочке.

На другой день утром совершенно неожиданно зашел ко мне Лохан. Он узнал от Мякина о моем прибытии в Одессу. Не виделись мы уже шесть лет, и наша встреча вышла самой душевной. Припомнили мы с ним нашу юность, пятые этажи, студенческие годы...

Во многом мы тогда не сходились; он был правый, я — левый. В то время правые казались мне гнездом вампиров, овладевших народным достоинством... И если я почтил своей дружбой Лохана, то вышло это как-то само собой, невольно. Будучи сам образованным человеком, он и в других ценил знание. Он был глубоко бескорыстен и пользы из своей правизны не извлекал. Стипендии он не получал, пособий от концертов ему тоже не давали. Будучи сиротой, он часто нуждался, но никогда не говорил о своей бедности, а давал уроки и этим содержал себя и свою сестру. Его слову всегда можно было верить, даже в пустяках: скажет, например, что придет в четыре часа — значит, придет. Деньги займы брать не любил, но, если когда и брал, всегда отдавал в срок. Случилось, что председатель нашего землячества проиграл в "девятый вал" всю кассу; Лохан помог ему покрыть растрату, несмотря на то, что они в политическом отношении были непримиримыми врагами. И, глядя на Лохана, я часто жалел, что он правый, а не левый.

Я рассказал ему о плене, о возвращении, о том, что было в Киеве, о порядках и нравах в Добровольческой армии. Потом Лохан стал рассказывать о себе. Дела его были тоже неважны. В начале войны с Германией из Варшавы он был переведен в Москву, затем из Москвы в Ростов, из Ростова в Тамбов и т. д. В конце концов он очутился в Одессе. С месяц тому назад его жена захворала тифом; теперь она выздоравливала и нуждалась в усиленном питании. Денег же ему не платили, и они жили продажей старых вещей. Прощаясь, Лохан предложил мне взять у него немного денег, от чего мне трудно было отказаться. И мы расстались, условившись, что я зайду к ним в один из ближайших дней.

Около полудня пришли Опэль и Белибердов; они сообщили, что один из наших ротных командиров, капитан Груздев, приехал сюда на несколько дней раньше нас и теперь служит в Комитете обороны города Одессы. Первое заседание этого комитета было назначено на сегодня, в два часа

дня, и мы решили втроем поехать на это заседание в надежде, что капитан Груздев поможет устроиться своим однополчанам. В час дня мы отправились на поиски Комитета обороны. Он помещался в Английском клубе; над его входом висел большой трехцветный флаг. Мы прошли через ряд великолепных, но пустых и холодных зал. Встречавшиеся изредка выбритые и вылощенные лакеи с удивлением смотрели на нас. Самое заседание происходило в небольшой сравнительно комнате, где мы, к нашему большому удовольствию, увидели и капитана Груздева.

Кроме него, было еще человек 30 офицеров. Они распадались на две группы; одну составляли офицеры в лакированных сапогах со шпорами, в светлых шинелях, чистые, причесанные, выбритые; все они были отменно учтивы между собой, говоря, щелкали каблуками, прикладывали руку к козырьку и являли другие, не менее доказательные признаки высшей культуры. Между этими офицерами я заметил кавалеристов, которые из Белой Церкви везли на нескольких подводах фабричные пассы и разные другие вещи неведомого происхождения; судя по значительному улучшению туалета, все это было кавалеристами реализовано не без выгоды.

Другие же офицеры походили скорее на бродяг, только что явившихся из глухой тайги.

Начался разговор; часто поминались фамилии графа Игнатьева и полковника Стесселя, имевших какое-то отношение к комитету. Присутствовал также и офицер из морской контрразведки. Он то и дело закладывал ногу за ногу, зевал от холода и, глядя на кого-нибудь, щурил темные матовые глаза. Офицеры в лакированных сапогах были с ним запанибрата и, видимо, заискивали у него.

Стали распределять места: кому быть заведующим хозяйством, кому — казначеем, кому — адъютантом, кому, словом, кем быть. Никому из нас никакого места не дали.

Наконец, поговорив о приблизительных окладах, будущие члены Комитета обороны разошлись. Большинство из них скрывались за дверью, на которой красовалось притягательное слово "буфет". Увидев, что капитан Груздев вряд ли что может сделать для нас, удалились и мы. Так прошло первое заседание Комитета обороны города Одессы.

Прибавив к деньгам, занятым у Лохана, деньги, полученные от продажи карманных часов, я купил себе на базаре сапоги: головки их были сделаны из кожи, а голенища — из сурового полотна. Эти скороходы обращали на себя еще больше внимания, чем валенки, и, кроме того, в них сильно мерзли ноги, но приобрести что-нибудь другое, более подходящее, не было никакой возможности.

Наконец получилось известие и притом вполне достоверное, что бывший комендант нашего полка, капитан Догоняев, прибыл в Одессу и назначен комендантом Пересыпского района. Мы вздохнули свободнее; если киевлянин не возьмет на службу киевлян, где же тогда справедливость?

На радостях мы решили с Опэлем выпить чаю в ближайшем трактире. Выйдя из гостиничной конторы в коридор, мы столкнулись носом к носу с комендантом поезда, который несколько дней тому назад захватил чужие чемоданы и укатил с ними вперед на другом поезде.

— Так, батенька, не годится, — обратился к коменданту Опэль, — украл чужие чемоданы и хвостом накрылись... Хорошо, что еще на других там не подумали...

И Опэль, в числе добродетелей которого имелась способность спокойно говорить все, что он думает, ухватил бывшего коменданта за рукав и прочел ему обстоятельное нравоучение. Комендант завертелся, его глаза забегали. Видимо, он не мог себе представить, что могут с ним сделать люди, которых он так оскорблял и хотел выгнать из вагона. Но все дело ограничилось лишь словесным "втиранием".

После чаю мы пошли с Опэлем отыскивать Догоняева. Жил он недалеко от "Киева". Все было так, как нам сказали; капитан действительно назначался комендантом Пересыпского района и обещал принять нас к себе на службу; кроме того, он брался также исхлопотать деньги, которые нам полагались за время службы.

Прошло еще несколько дней. Наша компания, жившая в конторе "Киева", понемногу распадалась. Сперва ушли чиновники Государственной стражи, потом саперы; за ними последовали Опэль и Белибердов, переселившиеся поближе к Пересыпскому району. В гостинице остались только полковник Эмм и я. Нас переселили в освободившийся номер. По утрам мы ходили пить чай в трактир. За чаепитием мы обсуждали положение вещей. Видимо, оно не казалось полковнику устойчивым, и, говоря, он все время вздыхал, и поступать никуда не собирался, хотя благодаря большим связям в военной среде мог бы поступить куда угодно. Когда же я спросил его о фортификационных работах, Эмм только махнул рукой.

— Один балаган. Что было в Киеве, то и тут, только в больших еще размерах.

От этих слов мне стало не по себе. А Эмм продолжал после молчания:

— Все штабы, конечно, в опасную минуту убегут; кто — в Турцию, кто — в Румынию, кто — в Болгарию... Первым убежит Шиллинг — я его знаю. А остальных бросят на съедение большевикам... Попомните мое слово...

Дело с формированием Пересыпской комендатуры быстро подвигалось вперед. Помещение было уже найдено, надо было еще обзавестись мебелью, письменными принадлежностями и прочей мелочью. Население этого района относилось к добровольцам недоброжелательно. Тут жила главным образом портовая голытьба, рабочие, мелкие ремесленники.

Между тем в Одессу с каждым днем прибывало все больше и больше людей, наружность которых говорила о долгих, утомительных переходах. Это было преимущественно офицерство, уже нервное, раздраженное, одетое в изношенные шинели, обутое в стоптанные сапоги и валенки, покрытое грязью. Все прибывали усталые, голодные. Гостиницы были переполнены, и, возвращаясь вечером из трактира, я видел, как люди спали на телегах, в подъездах домов, на бульварных скамейках под открытым небом. А в это время частые и сильные дожди сменялись крепкими морозами.

Идя однажды к Опэлю, я увидел на подъезде большого красивого особняка фигуру в военном. Одна нога была обута в сапог, другая обернута во что-то такое, что напоминало мешок. Человек сидел и щелкал орехи, поставив винтовку между коленями. Когда я проходил мимо, он обратился ко мне:

— Коллега, где тут ближайшее санитарное учреждение?

Я не знал.

— Четыре часа хожу и не могу найти. Ногу надо перевязать, и нигде не только не принимают, но даже и перевязки не могу добиться.

В коротких словах история этого поручика была такова. Служил он в одном из бесчисленных отрядов особого назначения, был под Орлом, потом — отступление, повстанцы, перестрелки, ранение, отсутствие докторов и перевязочных средств; а в результате — легкая рана в ногу превратилась в тяжелую, гнойную. Его посадили в поезд и привезли в Одессу. Но и тут все госпитали были переполнены, его нигде не принимали. И, говоря, поручик часто без причины смеялся и то перескакивал с предмета на предмет, то, наоборот, останавливался не докончив фразы; а в голосе его слышались какие-то больные, надтреснутые ноты, может быть, даже и безумные. Вытертая папаху с приставшими былинками сена венчала голову с целой копной невымытых, нестриженных и нечесаных волос. Иногда, сняв папаху, он сразу запускал обе руки в дико всклокоченную шевелюру и скреб голову с остервенелым наслаждением. После головы он царапал и тер кулаками грудь, бока и, где мог достать, спину, одновременно поднимая и быстро опуская оба плеча, чтобы получить максимум

трения. Затем с жалобным стоном он принимался осторожно почесывать больную ногу.

В эти минуты он все забывал и переставал говорить.

— Вши заели. Месяца три не раздевался и не менял белья. В сентябре в реке купался; с тех пор и не мылся как следует. Еще когда ходишь — ничего, а вот сядешь или ляжешь, да как начнешь согреваться — беда, просто нет мочи выдержать. И руками и ногами скребешься, о стену трешься — хоть бы что... Жалит, горит, спать не дает. Живьем съедят меня. Это страшнее, чем большевики да повстанцы...

Когда мы разговаривали, из-за угла показался комендантский адъютант. Одет он был с иголочки, тихо позванивал на ходу шпорами и мечтательно покуривал большую сигару.

И совершенно случайно вышло так, что, когда адъютант проходил мимо нас, поручик бросил ему под ноги ореховую скорлупу. Шпоры перестали звенеть: адъютант остановился и посмотрел на нас с брезгливой миной.

— Послушайте, поручик, как вас звать? — и рука со стеком протянулась к моему собеседнику.

— А вам зачем?

— А затем, чтобы научить разных проходимцев, как обращаться с настоящим офицером. Ваше имя?

И в голосе адъютанта зазвучали повелительные нотки.

— Ах, вот как, — со странным спокойствием отозвался раненый. — Мое имя? Ты его, сукин сын, пойдешь у большевиков да у петлюровцев спроси...

И скомканный мешочек с орехами попал прямо в лицо офицера со стеклом; от сильного удара бумага порвалась, и орехи загремели по камням...

— Вот моя визитная карточка, — и, схватив винтовку, раненый щелкнул затвором.

Адъютант поспешил скрыться за угол. Это происшествие так взволновало раненого, что он даже перестал почесываться и погрузился в глубокую апатию. Так мы с ним расстались.

Наконец на Пересыпской комендатуре взвился трехцветный флаг, и, глядя на него, я почувствовал, как с моей души спала большая тяжесть: все-таки у меня был свой угол.

Опэль и я были назначены писарями, остальные — кто начальником связи, кто заведующим хозяйством — словом, дело нашлось всякому. Появились и новые лица; из них сразу выдвинулся высокий худощавый блондин с длинными тонкими губами и странными, избегавшими смот-

реть на других людей, глазами. Как он попал, и в чем заключались его обязанности, никто, кажется, толком не знал. Одет он был в английскую хорошо перешитую шинель; его почти новые сапоги из прекрасного хрома служили предметом всеобщей зависти. И вышло так, что капитан Льдов взял в свои руки руководство хозяйственно-денежной частью нашей комендатуры. С собой Льдов привел знакомого чиновника и сказал, что тот займется составлением списков на получение жалования. Все были обстоятельно допрошены Льдовым, где мы служили раньше, с какого месяца, сколько уже получили, какая у кого семья и где она осталась.

Получив все эти сведения, Льдов передал их чиновнику; тот удалился в пустую полутемную комнату и сию же минуту ретиво принялся за изготовление требовательных ведомостей, пошевеливая большими усами, как сом на дне омота. Испортив до трех часов дня двенадцать листов бумаги, чиновник снял с гвоздика поношенное шерстяное кашне, обмотал им свою длинную с острым кадыком шею, надел пальто и ушел. На следующий день он явился продолжать свою работу с новыми силами. Я был чем-то вроде его помощника, но, как настоящий артист, он ревниво относился к своему искусству и меня к нему не подпускал. Я, впрочем, на этом особенно и не настаивал, приглядываясь больше к тому, что делалось вокруг.

Наша комендатура помещалась во втором этаже низкого углового дома. Вход в нее был такой извилистый, что первое время, пока не узнал дороги как следует, я часто попадал в чужие квартиры. Занимала она три светлые небольшие комнаты на улицу; кроме того, была еще четвертая — мрачная, выходившая во двор, где занимались мы с чиновником и где прятались все те, кому нечего было делать. Имелась и кухня; в ней умывались и выпивали.

Комендантом был капитан Догоняев. Нраву он был покладистого, и, хотя мы и получали от него иногда небольшие замечания, зла на него никто не имел. Это был тип честного и хорошего служаки. Он не пил, не кутил и с первого же дня повел энергичную кампанию, чтобы его подчиненным были выданы недоданное жалование и пособие на обмундирование.

Функции комендатуры были настолько разносторонними и всеобъемлющими, что трудно было представить, в чем же заключается ее настоящая задача. Подчинялась она, если не ошибаюсь, Комитету обороны города Одессы.

Таких порайонных комендатур было что-то около 10 или 12. В распоряжении каждого коменданта была так называемая комендантская рота; командир этой роты являлся первым лицом после самого коменданта. Не-

большой отряд полковника Гутова, пришедший в Одессу в начале января, был переименован в комендантскую роту Пересыпского района, а сам полковник был назначен ротным командиром. Вместе с ними пришел также поручик Пыленко и бывший адъютант нашего полка. Пыленко получил пишущую машинку и звание главного машиниста, а адъютант снова стал адъютантом.

Весь их отряд, который я покинул в Ольгиополе, вполне благополучно добрался до Одессы пешим порядком, ни разу не столкнувшись с повстанцами. Вместе с тем пеше, конно и железнодорожно стали появляться и другие киевляне. Все они группировались около нашей комендатуры, как около ядра. Пришел и штабс-капитан Зворыкин, студент-политехник; он был назначен казначеем, сразу же засел за списки и повел дело так, что усатый чиновник, посмотрев на его работу, решил заходить не больше как на четверть часа в день.

Вскоре после прибытия отряда полковника Гутова мы вышли с Пыленко из комендатуры и остановились на углу. Нам хотелось есть; денег было немного, и мы раздумывали, что лучше — съесть один обед вдвоем или купить хлеба и напиток чаю. Недалеко от нас стоял полковник Гутов, поджидая трамвай. В этот момент из-за угла вывернулись дровни, нагруженные мотоциклетами. Впереди верхом ехал ротмистр Ланской, бывший в Киеве начальником команды связи нашего полка. Ланской ехал, подняв воротник шинели и глубоко втянув голову в плечи. Следом за ним у дровней шло несколько человек шоферов. К крайнему моему удивлению, на Ланском не было ни погон, ни офицерского Георгия, ни даже кокарды. Проезжая мимо полковника, Ланской отвернулся в сторону. Отвернулся и Гутов. Меня это удивило: во время дороги они очень подружились, пили вместе водку и были чуть ли не на ты. Теперешняя прохлада в их отношениях показалась мне странной, и я спросил у Пыленко, что это значит.

Оказалось, что, не доезжая Одессы, ротмистр пытался украсть у немца-колониста верховую лошадь. Немец заметил это, поймал Ланского и привел его на суд к Гутову.

— Что на этом суде было, трудно себе представить, — говорил Пыленко, — полковник на Ланского орет: ты вор, а тот на него: а ты педераст... Многие наружу вышло на этом судилище. Помните, как около Умани был пойман шофер с поросенком? Оказывается, крали-то с благословения Гутова: поросятину ему захотелось. Все это Ланской обстоятельно припомнил полковнику. Тот разозлился, давай протокол составлять, потребовал

от Ланского его документы; вот тут-то и выяснилось, что нет на свете ротмистра лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Ланского, а есть только опереточный артистик Ланской, служивший когда-то вольноопером в этом полку и ушедший в запас без единого даже лычка. Вот какие у нас с вами начальники были...

— Но ведь все подозревали, что Ланской не ротмистр, а уж Гутов должен был бы давно заметить это.

— Не беспокойтесь, он это отлично видел, но водочка да поросятина замазывали рот. И потом — Ланской был очень осведомлен в интимных похождениях Гутова.

Наша служба заключалась главным образом в дежурствах. Работавших в канцелярии было 5-6 человек, и мы по очереди дежурили круглые сутки. Вначале это было нетрудное занятие, оставляющее много времени для разговоров со Зворыкиным; тот составлял списки, вычислял суммы, подыскивал статьи для каждой выдачи и ездил по всем одесским инстанциям, чтобы добиться открытия кредита для нашей комендатуры.

Капитан Льдов тоже проявлял много энергии. Он пропадал где-то по целым дням и, возвращаясь, заявлял, что достал что-нибудь для канцелярии или нашел место, где можно было купить сахару, крупы. По ходатайству самого коменданта фабриканты Пересыпского района подарили нашей комендатуре партию сапожной кожи. Ее оказалось довольно много, и капитан Догоняев решил, что десяти человекам из нас будет сделано по паре сапог. Сначала хотели кожу отдать на руки каждому. Но против этого восстал Льдов; он заявил, что у него есть знакомый сапожник, который делает быстро и хорошо. Против этого все протестовали, но Льдов никого не слушал и настоял на своем. Через два дня сапожник действительно явился и снял десять мерок, в том числе и с меня. Об этих сапогах речь еще будет впереди.

Были также попытки получить из какого-то интендантского склада английское обмундирование. Это дело комендант поручил Зворыкину, наиболее дипломатичному из всех нас. Не теряя времени, Зворыкин поехал в склад, захватив с собой из комендатуры четырех человек, отчасти с целью показать, как одеты защитники Одессы, а затем, чтобы помочь ему грузить вещи. В числе этих четырех находился и я. Заведовал складами тот самый офицер из морской контрразведки, которого я уже видел на первом заседании Комитета обороны города Одессы. Фамилия у него была какая-то странная — Папа-Тристуло или что-то в этом роде, теперь уже не помню. Контрразведчик посмотрел на нас,

помолчал, что-то мыкнул себе под нос и пошел в канцелярию, пригласив с собой Зворыкина.

Прошло с полчаса. Наконец двери открылись, и показался взволнованный чем-то Зворыкин.

— Едем обратно, не выгорело, — бросил он коротко, проходя мимо нас.

По дороге Зворыкин рассказал свой разговор с контрразведчиком. Оказалось, что на складе действительно имелось английское обмундирование, была и обувь. Тристуло соглашался отпустить сколько угодно комплектов, но требовал, чтобы за каждый комплект ему дали по тысяче рублей.

Возможно, что если бы комендатура имела деньги, то Тристуло получил бы взятку, а мы — одежду. Но так как дать ему было не из чего, то мы так и остались в своих порванных шинелях и стоптанной обуви.

Тогда Догоняев решил непосредственно обратиться в английскую военную миссию, находившуюся в Одессе. Был туда послан Льдов. Узнав об этом, я попросил коменданта позволить мне отправиться вместе с Льдовым. Я говорил немного по-английски, имел в английской офицерской среде хороших знакомых по плену и был уверен, что мне удастся добиться чего-нибудь от миссии в пользу служащих нашей комендатуры. Комендант согласился, но Льдов взять меня с собой наотрез отказался и отправился один. В миссии же ему сказали, что все комендатуры должны были уже раньше все получить из Комитета обороны, то есть от того самого контрразведчика, который требовал за каждый комплект по тысяче рублей. Так мы и остались в том, в чем пришли.

И в то же время были офицеры, которые имели большие деньги. Шли эти деньги на кутежи и попойки: каждый спешил использовать то, что ему так или иначе удалось добыть. Жизнь расстраивалась, личная безопасность исчезала. Французский миноносец, стоявший в порту, ночью был обстрелян ружейным огнем; обстреляли также и поезд Драгомирова, стоявший в гавани; во время этой перестрелки были убиты повар и офицер из штаба генерала. Где-то о бок с нами жила тайная, враждебная сила, но схватить ее и обезвредить не было ни умения, ни возможности.

Я продолжал жить в своем "Киеве"; придя со службы еще днем, я старался никуда не выходить под вечер; с наступлением сумерек поднималась такая стрельба и грохот от разрывов ручных гранат, что становилось жутко. Нападения на улицах, грабежи стали обычным явлением. К буйнившим добровольцам присоединялась масса всякого подозрительного элемента. Малочисленные комендантские патрули, состоявшие из голодных, оборванных, заеденных вшами людей, не могли, конечно, справиться с ошалевшими от спирта и безнаказанности хулиганами.

И спал я плохо. На грязную, без простынь кровать я не решался лечь из чувства брезгливости, а диванчик был короткий и неудобный. Спал я на полу, разостлав шинель, а сверху покрывался полушубком. Но чуть только тело начинало согреваться, как поднимался нестерпимый зуд. Это были вши; нашел я их на себе еще в первый день прибытия в Одессу. Размножались они на мне со страшной быстротой. Днем насекомые давали о себе знать как-то меньше. Но стоило только лечь и задремать, как тут-то оно и начиналось. Тысячи мелких раздражающих укусов на руках, на груди, на спине, на ногах, словом, по всему телу заставляли нещадно скрести кожу целыми часами. Я терся о стену, о металлическую спинку кровати, перекатывался, как мешок, по полу... И с каждым днем этот зуд становился все невыносимее. И выражение "быть заеденным вшами" уже не казалось мне пустым преувеличением; я чувствовал, что они действительно могли меня загрызть.

В дни дежурства приходилось спать в канцелярии. Как я уже сказал, эти дежурства в самом начале ничего особенно страшного не представляли. Электричество горело до 10 часов. Расположившись на столе, как на кровати, я скреб тело и мечтал о горячей бане, о белой мыльной пене, о чистом белье, о теплой комнате... В баню я, пожалуй, мог бы сходить. Но одна баня без смены белья и платья избавить от насекомых не могла. А нового и чистого, чтобы одеться после мойки, у меня не было. Я предпочел ждать полочки денег, чтобы купить и белье, и платье.

С течением времени эти ночные мечтания о бане и о белье все чаще и чаще стали прерываться телефонными звонками. Приходилось вскакивать и вести переговоры.

Однажды ночью я был таким образом разбужен и должен был принять длинную телефонограмму, исходящую из очень важного учреждения. Кончив писать и повесив трубку, я два раза перечел поступившее распоряжение. Было оно составлено в самых решительных выражениях.

Военный судья генерал-майор Блямин, действовавший по приказу штаба обороны, в свою очередь приказал нашей комендатуре немедленно разыскать и арестовать обоз Кексгольмского полка ввиду того, что в обозе этом находится много вещей, награбленных у мирных жителей. Об исполнении этого приказа надлежало донести завтра же утром. Потом следовала подпись.

Но отыскать обоз Кексгольмского полка среди множества других обозов уже само по себе было очень трудно. В эти дни площади, улицы и постоялые дворы Одессы были запружены великим множеством разных

частей и обозов; никто из них, конечно, в комендатуру знать о себе не давал. Если бы даже и удалось найти такой обоз, то арестовать его — значило вызвать со стороны его владельцев вооруженное сопротивление. Для всего этого нужны были люди, а наша комендантская рота была и малочисленна, и утомлена сверх всякой меры, к тому же случаи тифа появлялись в ней все чаще и чаще.

Сознавая, что данная мне задача превосходит мои способности, я направился с принятой телефонограммой к нашему адъютанту за советом. Мне даже самому было интересно, как можно вывернуться из такого положения.

Но адъютант легко разрешил эту задачу. Он позвонил в роту и попросил дежурного выслать патруль из трех человек. Этот патруль должен был пройти по городу и приглядеться к обозам. В случае, если бы ему удалось найти то, что требовалось, сообщить немедленно в комендатуру. Отдав это распоряжение, адъютант сейчас же протелефонировал генералу Блямину, что к отысканию и задержанию обоза Кексгольмского полка приняты срочные меры.

Исполнил ли дежурный по роте приказание адъютанта или нет, я не знаю. Но думаю, что нет; даже днем в наряды и караулы приходилось иногда посылать людей с температурой, которые нередко падали затем на улице.

За ночь в мыслях и намерениях генерала Блямина произошла неожиданная перемена. Под утро он прислал вторую телефонограмму, приказывая отпустить обоз, буде таковой найден и арестован.

Другие мои коллеги как-то легко справлялись с подобными случаями. Но я не мог — то ли мне не хватало житейского опыта, то ли я был слишком наивен, всерьез принимая невыполнимые приказания, но только я часто ходил к адъютанту за советами.

Большое удовольствие в эти дни мне доставило появление капитана Гэ. Познакомились мы еще в Киеве, где он заведовал обозом нашего полка. До революции Гэ был богатым человеком и имел в Москве несколько домов. Рано бросив военную службу, он занялся археологией. Ездил Гэ на раскопки и в Грецию, и в Италию, и в Малую Азию. У него были обширные познания в нумизматике, и он несколько лет работал в Британском музее, подготавливая большой печатный труд. Тяжело раненный во время германской войны, он получил чистую отставку.

Быть в его обществе и вести с ним разговор мне всегда доставляло большое удовольствие. Он любил пошутить, посмеяться, но его насмеш-

ки никогда не задевали личностей. С начальником хозяйственной части, которому он был непосредственно подчинен, капитан Гэ был почтителен, но, если тот отдавал какое-нибудь трудноисполнимое распоряжение, капитан Гэ не стеснялся на это указывать. И основания, которые он приводил, всегда были так убедительны, что полковник, в конце концов, сдавался. Тонкий, благожелательный, Гэ невольно всех располагал в свою пользу. Солдаты его обоза повиновались ему не за страх, а за совесть, добровольно признавая его превосходство; в то же время он умел принять во внимание и указания своих подчиненных. За его спиной они были спокойны, что их интересы в надежных руках и что ни одна казенная копейка не будет израсходована зря. Некоторые из солдат, имевшие деньги, отдавали их ему на хранение.

— Да ведь и я не застрахован, и убить меня могут, и ограбить, — говорил Гэ.

— Ну, что же, — отвечали вкладчики, — за вами и пропадет, так не жалко.

Как-то за несколько дней до взятия Киева большевиками я пошел к Гэ отвести душу. Войдя во двор, где находились конюшни и обоз, я увидел капитана на крылечке канцелярии; он только что откуда-то пришел и счищал с сапог прилипшую грязь. Не успел я сделать двух шагов, как послышался над головой тонкий свист, в один момент превратившийся в тяжелое урчание. Все шархнулось в разные стороны. Шрапнель, поставленная на удар, с грохотом разорвалась посередине двора. Крылечко и капитан Гэ скрылись в облаке разрыва. Когда дым рассеялся, все бросились в канцелярию, думая, что Гэ убит или ранен. Но Гэ по-прежнему стоял на крылечке, только левая нога его жесткого, расхоловшегося во все стороны полшубка, как ножом, была срезана громадным осколком, пролетевшим около самой ноги.

— Слава Богу, не зацепило... Мне случалось немецкие сорокадвухсантиметровые слышать, те страшнее, — спокойно сказал он и вошел в канцелярию.

И в то время, когда у писарей тряслись руки, Гэ твердым почерком подписывал подаваемые ему бумаги. И вместе с тем никому не приходило в голову назвать его бесстрашным или храбрым. Казалось, что мужество было так же свойственно ему, как свойственно человеку иметь определенный цвет волос или глаз. И что удивительно — робких людей капитан Гэ никогда не осуждал. У них было одно отношение к опасности и смерти, у него — другое. И все-таки не эти качества привлекали к Гэ. Не знаю почему, но была большая радость знать этого человека, быть с ним в общении, повиноваться ему.

Гэ был женат. Жена его, маленькая быстрая женщина с бездонным сердцем, читала в подлиннике Горация, Платона и много помогала мужу в его работах. Когда я в первый раз пришел к ним в дом, то мне показалось, что я вижу тот редкий союз двух душ, который называется человеческим счастьем.

Вышли они из Киева самыми последними, попав в промежуток между цепями красных и белых. К счастью, ни Гэ, ни его жена не были ранены.

По словам Гэ, несколько рот нашего полка вместе с полковым командиром и начальником хозяйственной части выбрались из города вполне благополучно, захватив даже часть канцелярии. Он присоединился к этому отряду и только недавно расстался с ним, очевидно, не поладив с начальством. Но причин своего расхождения он не сообщил.

Зато многое рассказал другой офицер, с обмороженными щеками, приехавший вместе с Гэ. Оказалось, что командир полка и заведующий хозяйством захватили с собой много имущества — белья, кожи, еще чего-то и цистерну спирта; кроме того, у обоих оказались на руках громадные деньги — чуть ли не по несколько миллионов.

— Это и понятно, — повествовал рассказчик, — большому кораблю — большое и плавание; но только нам-то, маленьким лодочкам, приходилось туго. Придем, бывало, в деревню, сейчас же полковник и начхоз занимают самую лучшую хату; для них и кур бьют, и поросят режут, а водка своя уж была. Расплачивались они где деньгами, где бельем да спиртом. Нам крошки не перепало. Половину людей они в охранение вышлют, а другая по хатам разбредется — погреться да хлеба выпросить. Морозы сильные были. Пришел я одного сменять, а он уже не дышит — замерз. Еще бы! Сапоги износились, валенки стоптались, шинели стали такими, что и смотреть тошно. Полушубки же приблизительно только каждый пятый имел, и вдобавок — вши. Сколько людей ноги поотмораживало!.. Простоят ночь, и готово — идти дальше не может. Таких просто бросали. А кругом повстанцы, петлюровцы, большевики. Ходили мы к командиру, жаловались, что дальше нельзя так тянуть. Он ответил, что ничего не может сделать — деньги казенные, белье тоже, спирт тоже, это вроде как бы неприкосновенный запас. Да, стоишь на посту у белья и думаешь: "Что ж, собственно, это такое? Для кого ты его стережешь и почему столько людей из-за него погублено?". В это-то время, стоя раз ночью у цистерны, я и отморозил лицо. А потом слух прошел, что полковник-то на службе у большевиков и что ему якобы и задача была задана — погубить побольше добровольцев и самое движение уронить. Поговорили мы с Гэ и решили бросить все и в Одессу ехать... — закончил свой рассказ офицер.

Детство с испуганными глазами

Мне два с половиной года. Я бегу с подушкой в руках вдоль какой-то изгороди. За мной осталась тьма катакомб, в которых мы прожили время бомбежек Одессы. Куда я бегу? Дома нет.

Очевидно, в этот момент перехода от темноты, длившейся так долго, к ослепительному свету солнечного дня мне и дарована была свыше Память. Во всяком случае, мои родные и близкие знают это мое достоинство — мою хорошую память. Может быть, это первое детское потрясение и вызвало, разбудило энергию памяти?

Во всяком случае, это не придуманное (увы, наделив меня памятью, Бог не послал мне дар вымысла), а действительно мое первое воспоминание, первое ощущение себя в этом мире.

Так начиналась для меня война.

Много лет спустя я прочла пронзительную фразу у Владимира Набокова: "О, не смотри на меня, мое детство, этими большими, испуганными глазами". Мне остро захотелось присвоить, если бы было возможно, эту фразу!

До войны отец работал на Куяльнике, в одном из санаториев, мы и жили там. Когда началась война, отцу было пятьдесят семь лет, маме тридцать пять, нас было трое дочерей — старшей, Леночке, четырнадцать, Тачке — девять, и мне — два с небольшим.

На фронт отца не взяли, эвакуироваться не смогли, остались бездомными.

Когда начались бомбежки, как и многие семьи, мы спрятались в катакомбы. Девятилетняя Тая, самая храбрая из нас троих, тайком выбиралась из катакомб, бегала на какие-то огороды с мальчишками, собирая помидоры для семьи.

Наши покинули Одессу, 16 октября вошли немцы. Надвинулась осень. Мама все время боялась, что нас завалит в катакомбах, что мы будем погребены заживо. Из катакомб надо было уходить. Куда? Куяльник разбомблен, залит водой, отрезан от города. Жить там невозможно. Собрав свои пожитки, мы как-то перебираемся в город. (До сих пор для меня остается тайной, как через затопленные Куяльник и Пересыпь перетасили наш буфет, сделанный моим дедушкой к маминой свадьбе. Мама этот буфет, отцовский подарок, очень любила и не расставалась с ним до конца своих дней.)

Отец не любил советскую власть, справедливо считая ее безбожной. Но и новую, оккупационную, не принял. В отличие от многих, знавших немецкую культуру и перенесших свое восхищение ею на пришельцев в военной форме, отец, воевавший на фронтах Первой мировой, германской, как он ее всегда называл, помнил жестокость немецких атак. Кроме того, война была катастрофой, несчастьем, горем, и он не обольщался посулами новой власти. Поэтому никакое, даже малейшее служение оккупантам для отца было неприемлемым. Но семья была большая, нужно было как-то жить. И отец, начиная с ранней весны, ходит на хутор, где живет мамина родня, переехавшая на Украину из-под Вятки после гражданской войны. Он именно ходит, чтобы не просить разрешения на поездку пригородным поездом, идет сорок или пятьдесят километров пешком, иногда какая-нибудь подвода подбирает его. И так эти походы, небезопасные, он совершает раза два в месяц, чтобы не оставлять семью надолго. Там, на хуторе, он помогает пахать, сеять, жать, собирать урожай, за что и получает мешок кукурузы, мешок картошки, еще какой-нибудь натурпродукт, с тем, чтобы поздней осенью опять же попутными подводами привезти это в Одессу. Отец вообще был человек Идущий. В молодости, перед Первой мировой, он совершил паломничество по Святым местам, побывал на Афоне, пешком прошел всю Святую Землю — от Яффы до Иерусалима; Назарет, Тивериадское озеро, Вифлеем. Потом на ногах — Первая мировая.

До глубокой старости, а скончался он в восемьдесят пять лет, отец почти всегда ходил пешком, совершая подчас, как во время войны, долгие пешие походы.

Удивительно, что при моей цепкой памяти и интересе ко всяким деталям, мелочам, я совершенно не помню оккупационные деньги. Думаю, что мы вели натуральное хозяйство, что-то из сельхозпродуктов обменивая на самые насущные вещи.

"Из тени в свет перелетая", проходит передо мной мое военное детство.

Дворик на Пушкинской угол Малой Арнаутской стал нашим пристанищем после Куяльника. Какое-то помещение с подслеповатыми окошками, выходящими во двор, в котором я обитаю, не смея выйти, даже выглянуть за ворота. Мир существует для меня только в тесном пространстве этого двора. Во всяком случае, никаких впечатлений вне двора. На втором этаже живут две молодые женщины. Свесившись с подоконника, они приветливо зовут меня к себе. Я храбро поднимаюсь по ступенькам на второй этаж. Дамы угощают меня конфетами и даже шоколадом! Я впервые

в своей короткой еще жизни ощущаю божественный, неземной вкус сладостей. Но раздается звонок (а может, стук) в дверь. К дамам приходят двое мужчин в военной форме, и только что такие ласковые и приветливые обитательницы второго этажа достаточно поспешно и бесцеремонно выдворяют меня за дверь. Я громко плачу от обиды и непонимания: "За что?!". Мама же, узнав о происшествии, ка-те-го-ри-че-ски запрещает мне ходить к этим "дамам". Должно было пройти много лет, чтобы, повзрослев, я поняла, за чем приходили военные к этим двум женщинам, и почему так отреагировала на мой (без спросу!) визит к ним моя мама.

И еще одно воспоминание связано с этим двориком.

Боковой одноэтажный флигель занимает румынский офицер. На крыльце можно часто видеть его денщика, надраивавшего до блеска сапоги своего домнула офицера. И вдруг однажды на этом крыльце в сопровождении того же денщика появляется с белокурыми локонами девочка, показавшаяся мне живой куклой. А из окна доносится томный женский голос: "Лулу-у!". Это жена офицера с дочкой приехали в завоеванную Транснистрию. Ни разу мы не сделали шаг навстречу друг другу! Нейтральная полоса даже между нами, маленькими сверстницами, была непреодолимой. Интересно, как смотрела Лулу на маленькую завоеванную туземку? Что стало с этой кукольной девочкой, вспоминала ли она свою детскую поездку в Одессу, своего няньку-денщика, бродившую по двору в одиночестве девочку? Мне этот двор запомнился резким столкновением света и тени: на залитом солнечным сиянием крыльце Лулу, и я, исподлобья за ней наблюдающая из затемненной части двора...

Уж не помню, не знаю, как мы оказались на следующей кочевой стоянке — на Гимназической и Большой Арнаутской. О, именно с этим двором и связано большинство моих воспоминаний военных лет.

Прежде всего, именно в этом дворе я научилась различать две военные формы и степень опасности, связанной с ними. Если во дворе появлялись солдаты, одетые в темно-зеленую форму, плохо на них сидевшую, можно было продолжать играть во дворе. Это забрели румыны, которые будут ходить по квартирам, что-то выменивать либо отнимать какие-нибудь вещи или продукты. Но если во двор входили немцы в ладно скроенной голубовато-серой форме, дети разлетались, как воробьи. Я бежала домой, изо всех сил хлопала осевшей дверью. На голову летела штукатурка...

Сюда забрали родители свою одинокую приятельницу, умиравшую от рака, чтобы ухаживать за ней до ее последнего вздоха. Впервые я увидела ампулы и не понимала, почему такие хорошенькие бутылочки всегда с от-

битыми горлышками. Помню красные таблетки стрептоцида. Врач сказал, что больной нужны лимоны (это при неизлечимой болезни!). Мы были бедны, и лимоны были недоступны, а, может, их в это время и не было в Одессе, их можно было привезти из Румынии. Мама знала, что у больной приятельницы есть племянница, вышедшая замуж за румына. Только чувство долга заставило маму собрать все свои чувства в кулак и пойти попросить лимоны для умирающей тети. Племянница так у нас и не появилась, чтобы проведать умирающую тетку, но через какое-то время прислала денщика мужа. Он принес два гнилых лимона! Мама отправила их назад. Даже много лет спустя при воспоминании об этом мама бледнела, и у нее дрожали губы.

Именно здесь, в этом доме, я рано научилась читать. Первое стихотворение, которое я запомнила наизусть и с упоением читала, не понимая в нем многих слов, было лермонтовское "Бородино". Но чем непонятнее были слова: "улань с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами", тем более они завораживали! Среди других книг, разрозненных (в основном русская классика), как-то затесался катаевский "Белеет парус одинокий". Как я любила эту книгу! Я знала ее наизусть. И теперь, столько десятилетий спустя, моя детская любовь к этой книге остается неизменной, неистраченной. Я так благодарна ей за детскую любовь к девочке Моте, к Пете и Гаврику, к ружью "монтекристо", к надкусанным пряникам на елке, к слюдяным дорожкам от "равликов-павликов" на заборе дачи Маразли, к проезжающему по Французскому бульвару ландо Каульбарса. Проходя мимо аптеки на Канатной и Базарной, я всегда с нежностью вспоминаю, что мимо нее ехала семья Бачей, возвращаясь из Аккермана, а почти рядом с нами, на Новорыбной и Гимназической, в гимназии, Петя вздохнул читал "Белеет парус одинокий" и должен был считать до миллиона!..

А долгими вечерами при свете керосиновой лампы мама читала вслух Некрасова, Жуковского, Пушкина. Для меня Пушкин начался с "Песни о вещем Олеге".

Как многие мои сверстницы, вспоминаю осколки фарфоровых тарелок с остатками росписи, из которых складывались драгоценные мозаики. Словно предвосхищая еще не написанный Патриком Зюскиндом "Парфюмер", мы с детским варварством набивали флакончики мятой, чабрецом, заливали водой и ждали появления ароматов, а нас обдавал запах застоявшейся воды.

Мама из лоскутков шила тряпичные куклы. Дедушка выпилил, укре-

пил на ниточках, раскрасил "Петрушку" — подобие марионетки. Сколько было радости!

А на мой четвертый день рождения друзья моей старшей сестры, Леночки, казавшиеся мне взрослыми, а им было по шестнадцать-семнадцать лет, сделали волшебный подарок. Не знаю уж, где они купили игрушечный диванчик, по размерам подобный мебели в "Нащокинском домике", только не ампирный, а буржуазный — с кожаными спинкой и валиками, с деревянной полочкой и овальным зеркальцем. Эта игрушка вызвала восхищение даже у неизбалованных взрослых. Что же говорить обо мне!

И еще одно сладостное воспоминание об игрушках. Моя вторая сестра, Таечка, со своей подружкой долго (тогда все казалось долгим) собирали копейки и в магазине "Два слона" купили игрушечного негритенка из папье-маше. Его одевали как девочку, сокрушаясь, что не смогли купить настоящую куклу — девочку. Целлулоидные девочки стоили дорого. Условились, что один день он будет жить у нас, другой день у подружки, жившей напротив. Нужно ли говорить, что один день вместе с негритенком у нас с утра до вечера жила подружка, на второй день сестра с пупсом отправлялась к подружке. Я же неотступно следовала по обоим маршрутам за сестрой, за ее подружкой, за негритенком!

Вся Одесса для меня была этим двором. Мама водила меня в церковь, и эти несколько кварталов были для меня огромным неведомым пространством: другие дома, на мостовой повозка с лошадью, незнакомые люди.

Смутно помню какой-то рождественский утренник в монастыре на Успенской. Родители с довоенных лет дружили с его настоятельницей, матушкой Анатolieй. Она иногда бывала у нас дома. Помню немолодую грузную женщину со строгим лицом. Может, этих утренников было несколько, но для меня они слились в одно воспоминание. Подарки с рождественской елки — незатейливая игрушка, пряник, яблоко... Но для меня, не избалованной праздниками во время войны, само чудо елки, полученного подарка, недолгое общение с другими детьми были нечаянной радостью.

Детские страхи всю войну гуляли со мной под ручку. Наша большая семья обитала в двух маленьких комнатах, рядом была абсолютно пустая комната. И рядом, в соседней квартире была такая пустынная комната. Эти, покинутые жильцами, покрытые слоем пыли комнаты и притягивали меня, и пугали. Крайне редко взрослые открывали таинственные двери, я в одиночестве входила туда — пустые, они казались мне огромными

и страшными. Сделав по пыльному полу несколько робких шагов, я в ужасе убегала в тесный домашний мир нашего временного жилья. Страхи, страхи — из шепота взрослых, обрывков разговоров, непонимания, откуда эта вязкая тревога.

Последние недели, дни перед освобождением Одессы. Страх с большей силой поселяется в моей незащищенной душе. Старшую сестру и ее ровесника, сына соседки, прячут за какими-то шкафами, потом вообще уводят ночевать к каким-то знакомым — говорят, что будут забирать молодёжь. Мама прибегает с побелевшим лицом, чудом не попала на Привозе в облаву. Я не понимаю многих слов, но что за ними таится ужас — остро чувствую. Все время кто-то приносит во двор тревожные новости — горит порт, горит спиртзавод.

Мы с мамой стоим на углу Пушкинской и Малой Арнаутской (очевидно, мы возвращались из Ильинской церкви. Теперь я думаю, может это было на Благовещение, седьмого апреля?), и я вижу первый в своей жизни пожар. Горит табачная фабрика (на том месте, где теперь Универмаг). Пламя охватило все четыре этажа, вздымается выше, до небес. Мама плачет. На этой фабрике до войны работал муж скончавшейся недавно приятельницы. Зрелище пожара завораживающе невыносимо. (Лет десять после войны стоял обгоревший каменный остов этого здания эпохи позднего модерна, с прекрасными барельефами. Когда его разобрали под стройплощадку для будущего универмага, еще долго беспризорными лежали остатки этих барельефов на Малой Арнаутской. Я помню, что Илья Шенкер подобрал, спас один из таких барельефов. Сохранился ли он где-то? Вряд ли художник увез его в Штаты.)

Наконец наступает девятое апреля. По городу (я помню, и на нашем доме) расклеены объявления-приказы: закрыть окна, ставни, оставить открытыми ворота, двери парадных и квартир. Началась тихая паника: что значат открытые двери — предвестие резни, засад, уличных боев?!

Под вечер мама отодвинула на окне, выходившем на Большую Арнаутскую, какую-то темную занавеску, начала плакать и креститься: "Боже, наконец-то! Они уходят!". Шепотом, еще боясь крикнуть, еще не веря — они уходят! Я тут же, встав на цыпочки, выглянула в окно. По Большой Арнаутской, в сторону Пушкинской, Ришельевской и дальше шли колонны, в которых уже не было выправки, щеголеватости. Зеленые и голубовато-серые цвета шинелей приобрели один — подавленно серый цвет.

И наконец утро десятого апреля! Залитый солнцем город, и по той же Большой Арнаутской, только теперь уже откуда-то оттуда, от Пересыпи,

от Старопортофранковской, от Пушкинской и Ришельевской шли Наши! Уставшие, в мокрых по грудь гимнастерках (взорвана дамба, к центру подходили почти вплавь!), не чеканя шаг, со счастливыми улыбками на лицах, они заполнили всю Большую Арнаутскую. На улицы высыпали все, Тут же на ходу обнимали, называли родные имена, не встречали ли такого-то на фронте, может, что-то знаете, где-то встретились на фронтовой дороге? Все, что было в доме, выносилось на улицу, Я помню наш голубой эмалированный кофейник, наполненный горячим напитком из эрзац-кофе (другого не было!), хлеб, куски мамалыги, картошку, словом, то, что было у нас, мы с сестрами носили по рядам. И слезы, слезы радости и утрат на всех лицах.

Судьба подарила мне много счастливых дней, много ярких, неповторимых встреч, событий.

Но то, что пятилетним ребенком я пережила 10 апреля 1944 года, не сравнимо абсолютно ни с чем!

Потом уже появились первые саперы и надписи на стенах домов: "Проверено. Мин нет". И госпитали с ранеными, слепые с трофейными аккордеонами в сопровождении маленьких поводырей ходившие по дворам, и плач, вой женщин, получавших похоронки.

И было впереди Девятое мая. Я смутно помню пальбу, крики радости. Действительно, смутно. Потому что для моего детства, для меня война закончилась в апреле сорок четвертого.



Удельный переулок

**Храм Николая Мирликийского и мученицы Ариадны
(ныне — храм во имя преподобного Иоанна Кронштадтского)**

Серия публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом продолжается. Неизменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости.



В начале XX столетия на морской (левой) стороне Французского бульвара существовало девять переулков, из которых лишь два имели собственные имена (первый — Юнкерский, третий — Удельный), а остальные обозначались просто римскими цифрами. Удельный переулок получил свое название по находившемуся прямо напротив него, на правой стороне Французского бульвара, заводу виноградных вин, принадлежавшему так называемому Удельному ведомству, или Ведомству уделов, то есть государственной структуре, ведавшей земельными уделами и личной недвижимостью непосредственно представителей царствующего императорского дома Романовых. Означенный винзавод был первоначально основан на земельном участке, принадлежавшем известному химику, основателю Одесского общества искусственных минеральных вод Энно, французским предпринимателем-винооторговцем Франсуа Нуво еще в середине позапрошлого столетия. Завод этот, сохранивший старые корпуса и просторные винные погреба, существует и поныне.

До революции в Удельном переулке насчитывалось девять земельных участков и соответственно домостроений, преимущественно дачного типа: пять (Барбариги, Шамаревских, Сахарова, Алексеева и Греческой богадельни имени Г.Г. Маразли) на нечетной и четыре (Васильева, Молинари, Гречина и Ведде) на четной стороне. Владельцами этих участков зачастую были люди известные и состоятельные: как, например, крупный предприниматель Л. Ведде, популярный мраморщик и скульптор М. Молинари и др.

Под последним, девятым номером, в переулке значилась богадельня Греческого благотворительного общества. Как отдельное церковное попечительство это Общество действовало с декабря 1871 года и содержало на

от Старопортофранковской, от Пушкинской и Ришельевской шли Наши! Уставшие, в мокрых по грудь гимнастерках (взорвана дамба, к центру подходили почти вплавь!), не чеканя шаг, со счастливыми улыбками на лицах, они заполнили всю Большую Арнаутскую. На улицы высыпали все, Тут же на ходу обнимали, называли родные имена, не встречали ли такого-то на фронте, может, что-то знаете, где-то встретились на фронтовой дороге? Все, что было в доме, выносилось на улицу, Я помню наш голубой эмалированный кофейник, наполненный горячим напитком из эрзац-кофе (другого не было!), хлеб, куски мамалыги, картошку, словом, то, что было у нас, мы с сестрами носили по рядам. И слезы, слезы радости и утрат на всех лицах.

Судьба подарила мне много счастливых дней, много ярких, неповторимых встреч, событий.

Но то, что пятилетним ребенком я пережила 10 апреля 1944 года, не сравнимо абсолютно ни с чем!

Потом уже появились первые саперы и надписи на стенах домов: "Проверено. Мин нет". И госпитали с ранеными, слепые с трофейными аккордеонами в сопровождении маленьких поводырей ходившие по дворам, и плач, вой женщин, получавших похоронки.

И было впереди Девятое мая. Я смутно помню пальбу, крики радости. Действительно, смутно. Потому что для моего детства, для меня война закончилась в апреле сорок четвертого.



Удельный переулок

**Храм Николая Мирликийского и мученицы Ариадны
(ныне — храм во имя преподобного Иоанна Кронштадтского)**

Серия публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом продолжается. Неизменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости.



В начале XX столетия на морской (левой) стороне Французского бульвара существовало девять переулков, из которых лишь два имели собственные имена (первый — Юнкерский, третий — Удельный), а остальные обозначались просто римскими цифрами. Удельный переулок получил свое название по находившемуся прямо напротив него, на правой стороне Французского бульвара, заводу виноградных вин, принадлежавшему так называемому Удельному ведомству, или Ведомству уделов, то есть государственной структуре, ведавшей земельными уделами и личной недвижимостью непосредственно представителей царствующего императорского дома Романовых. Означенный винзавод был первоначально основан на земельном участке, принадлежавшем известному химику, основателю Одесского общества искусственных минеральных вод Энно, французским предпринимателем-винооторговцем Франсуа Нуво еще в середине позапрошлого столетия. Завод этот, сохранивший старые корпуса и просторные винные погреба, существует и поныне.

До революции в Удельном переулке насчитывалось девять земельных участков и соответственно домостроений, преимущественно дачного типа: пять (Барбариги, Шамаревских, Сахарова, Алексеева и Греческой богадельни имени Г.Г. Маразли) на нечетной и четыре (Васильева, Молинари, Гречина и Ведде) на четной стороне. Владельцами этих участков зачастую были люди известные и состоятельные: как, например, крупный предприниматель Л. Ведде, популярный мраморщик и скульптор М. Молинари и др.

Под последним, девятым номером, в переулке значилась богадельня Греческого благотворительного общества. Как отдельное церковное попечительство это Общество действовало с декабря 1871 года и содержало на

свои средства девичье, так называемое Родоканакиевское, училище и богадельню, а также выдавало нуждающимся прихожанам денежные пособия, достигавшие нескольких тысяч рублей ежегодно. В начале 1890-х годов в Греческом благотворительном обществе созрела идея об учреждении богадельни для престарелых. Этот проект был вскоре реализован на средства щедрого филантропа и мецената, лидера движения благотворительности и милосердия, городского головы Григория Григорьевича Маразли. А несколько лет спустя при этой богадельне возвели храм.

Освященная в августе 1902 года во имя Николая Мирликийского и мученицы Ариадны церковь была построена на средства другого видного жертвователя греческого происхождения, Матвея Николаевича Маврокордато, в память его покойных родителей, а потому храм и носил имена их небесных покровителей. В возведении храма принимали материальное участие и другие члены греческой общины, однако их доля была невелика, тогда как Маврокордато вложил в это богоугодное дело до 80 тысяч рублей, а затем прибавил еще 7 тысяч на содержание церкви. Кроме того, на его средства была приобретена и вся церковная утварь.

Маврокордато — фамилия широко известная в старой Одессе. Предки Матвея Николаевича были одними из тех старожилов города (они приписались во вторую гильдию еще в 1798 году!), экспортеров зерна, каковые и составили "Столице Юга" престиж и вывели в лидеры мирового зернового экспорта. Это было чрезвычай-



Храм во имя Николая и Ариадны при богадельне Греческого благотворительного общества в Удельном переулке.
Архитектор Ю.М. Дмитренко.
Освящен 11 августа 1902 года.
Почтовая открытка
(между 1902-м и 1904-м годами)
из собрания М.Б. Пойзнера.

но состоятельное семейство, владевшее, кроме всего прочего, значимой недвижимостью в городе и его окрестностях, однако далеко не чуждое благотворительности.

М.Н. Маврокордато широко известен как деятельный член совета Одесского отделения Попечительства Государыни Императрицы Марии Федоровны о слепых, находившегося под августейшим покровительством Их Императорских Величеств. Так, он подарил этой человеколюбивой организации просторную дачу со значительным земельным участком. Примечательно, что в родственной, так сказать, Мариинской благотворительной организации (но для глухонемых) состоял и архитектор, соорудивший означенный храм Николая и Ариадны, — Ю.М. Дмитренко.

Как одесский архитектор Дмитренко настолько известен, что и говорить не приходится. Здесь же замечу только, что освящение церкви состоялось 11 августа 1902 года. (Любопытно, что название "Удельный" официально закрепилось за переулком, где расположен храм, только в следующем, 1903-м, году.) Как сообщали тогда местные периодические издания, в том числе — со слов самого зодчего, сооружена она "в стиле итальянского Ренессанса"; однопрестольная; пятикупольная; отличается богатым убранством; белый иконостас контрастно выделяется на темном фоне стен; купол сложен из мозаичного стекла; "стильная люстра"; "красоту церкви довершают большие готические окна". Поскольку Маврокордато как бы состоял "ктитором", то останки его родителей были перенесены в фамильный склеп, сооруженный под сводами церкви. О склепе сказано, что он выложен мрамором и "богат светом и воздухом". (В "смутное время" он был варварски ограблен и опустошен.)

В официальных справочниках церковь обычно именуется просто Николаевской. Первым ее настоятелем был священник отец Гавриил Яковлевич Ленчуков. Храм посещали как насельники греческой богадельни, так и окрестные жители. Число прихожан резко возрастало летом, когда дачи Французского бульвара были наиболее густо заселены. Летом храм посещали такие популярные не только в Одессе, но и далеко за ее пределами фигуры, как известный думец и благотворитель барон М.А. Рено, член Государственного совета России, тоже зарекомендовавший себя меценат Н.Ф. Сухомлинов, княгиня Сан-Донато (Е.П. Демидова), жившие на даче Маразли великие князья, не говоря уже о самом Маразли, Маврокордато, Параскева, Ралли, Родоканаки, Макареско и представители других видных греческих семейств.

ПРОЗА

Олег ГУБАРЬ Уроки тишины	97
Родион ФЕДЕНЕВ В профиль	110
Олег ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей	125
Татьяна ОРБАТОВА Танец на разбитых черепках	144
Вадим ЯРМОЛИНЕЦ Кредитная история	154
Татьяна МАРТЫНОВА Дальше было вот что... ..	161
Михаил ЖИЛИН Два рассказа	167
Инна НАЙДИС Профессор-убийца	170
Владимир ЕФИМЕНКО Старик	174
Юлия ЖАРКОВА Искатели детства	210

Олег ГУБАРЬ

Уроки тишины

Мальчик ли

Мы познакомились на поминках. Ее зовут Таня и она тоже Скорпион. Знаете, как на поминках. Это ж не свадьба. Тут скорее на себя проецируешь, примериваешь. Хотя тебя еще ни разу не хоронили. Действительно. Жениться можно периодически. А умирать — другое дело, приходится без репетиций. Вот и любопытно. Вроде бы, можешь же наконец узнать, кем ты был и кто ты есть на самом деле. Но это дежурное заблуждение. Поскольку о покойном — или ничего, или хорошее. Как живем, выходит, так и помираем — в полнейшем недоумении. В чем, вероятно, и заключается пресловутый, но утешительный смысл жизни.

Ладно, ничего не попишешь. Сидим, стало быть, закусываем. Чем Бог послал. Бог дал — Бог взял. Такое дело.

Соседку справа я точно где-то видел. Вглядываюсь плотоядно. Куда денешься, жизнь несправедливая продолжается. Пока. "Вам вина, — предлагаю, ухаживаю то есть, — или чего?" Она говорит: "Или чего". Выпила взрослую такую стопку и выдохнула, горло прочищая: "Гм-кхы". Привычно так, в удовольствие. И я вспомнил.

Таню эту, которая на работе называется, допустим, Мила, пользуется мой хороший приятель Аркаша. В каковом сюжете лично я не усматриваю ничего ни плохого, ни оригинального. Так оно все устроено — по образу и подобию, прости Господи.

Но есть во всей этой тривиальной, как тот же "смысл жизни", истории один значимый и саднящий момент. То есть не момент, а ребенок. Мальчик. Вполне, даже более того, ухоженный и вовсе не какой-нибудь мелкий пакостник и сквернослов, хотя от горшка два вершка. Тихий он, вот что. Рассеянный. И взгляд у него как бы не сфокусирован. Улыбка расхлябанная. Да нет, вполне нормальный, вменяемый, я не о том. Но такой, что бесконечно думает о чем-то своем определенном, а не сразу обо всем, перекакивая с кочки на кочку, как и положено семилеткам. Я наверное знаю, что у него есть одна большая мысль, которую он не может передумать, все пытаюсь охватить ее сразу, целиком, как бы завернуть в одно большое одеяло. Я вижу, как этот мальчик примеривается, будто штангист накануне подхода. Как вертит в руках кусок плотной ткани, раскатывая ее то по ширине, то по длине. И может быть, не решается приблизиться к возлежа-

щей перед ним махине, не видя возможности разом ее запеленать и, повернувшись спиной, навсегда уйти от нее восвояси.

Вот что я видел, когда безнадежно ловил его бликующий взор. Мне всегда хотелось потрепать его по макушке, на что я так и не отважился. Внешность у него была такая нежно восточная, почти как у сына Брюса Ли, Брендона. Впрочем, я немного приукрашиваю. Но только немного.

Мы с Милой (или Таней) водили наших сыновей в секцию восточных единоборств. Но мальчика Ли обычно доставляла как бы бабушка, думаю, мамка, квартировладелица. Оттого я тотчас и не признал соседку по умеренно печальному застолью. Виделись буквально два-три раза. Однажды при Аркаше и дважды на секции. В последних случаях на сто восемьдесят градусов разворачивая стилистику отношений. Ибо здесь она же была не на работе, а при исполнении материнского долга. А я добросовестно делал вид, будто не ведаю, что она — человек интересной профессии. Между прочим, Мила-Таня преображалась вполне органично. Хотя не меняла даже форму одежды и макияж. Это обстоятельство очень меня занимало. Интересно было знать, которая из ипостасей ей не то чтобы даже больше к лицу, но ближе по совпадению сути. Выяснить это мне, видимо, не суждено. Что тоже бывает.

Итак, я вглядывался в мальчика Ли и размышлял, как (не-) реализовалась в нем мать и кто-нибудь еще. По внешнему облику он, как я уже говорил, представлялся просто-таки типологическим восточным бойцом-малолеткой, как бы живым персонажем боевиков. Реально же оказывался самым безуспешным в своей возрастной категории. Не потому, что был не гибок, не проворен или не обладал подходящей реакцией. Нет. Дело в другом. Он, казалось, замирал на тренировках, впадал в коматозное состояние, а, может, в нирвану. От него ровно ничего не мог добиться на редкость доброжелательный и даже самоотверженный тренер. Мальчик в этом деле не участвовал, вот и все. А способности обнаруживались блестящие — когда он изредка просыпался. Помните, как в том кинофильме. Где Де Ниро в главной роли. Там люди, страдающие одною эксклюзивною болезнью, годами пребывают в некоем анабиозе, а когда изобретатель новой вакцины выводит их из этого состояния, они с душераздирающими всхлипами обнаруживают, насколько постарели. Впрочем, вакцина дает лишь кратковременный эффект, и эти несчастные возвращаются в свое первобытное бессознательное состояние.

Да, так вот, тренер и обратил внимание мамки и мамы на то, что ребенок равнодушен к занятиям, что, может быть, надо приискать ему что-нибудь для души. Как мне показалось, девушки обнаружили раздражение

и готовили какие-то репрессивные меры в отношении моего непроницаемого мальчика Ли. Что-то я такое услышал, что вот, мол, он единственный мужчина в доме и должен вести себя соответствующим образом. Короче говоря, у меня защемило сердце. И вообще: из затюканных мальчиков получаются затюканные мужчины, то есть не вполне мужчины. В общем, я боялся за него и одновременно — потерять его из виду и как бы изпод воображаемых контроля и опеки.

Вообще-то я в таких случаях скоростно женюсь. Но уже исчерпал все лимиты. К тому же что-то мне не светит (и не согревает) перспектива родственной мамки. Как же тогда жалость свою иначе реализовать, ума не приложу. Вот так, бывало, и страдаю. Приведут его на следующую тренировку? Не приведут? После взбучки? А может, никакой кары и не последовало?.. Привели. И мне было временно радостно. А как иначе? Надо ж и печалиться когда-нибудь. Брать такую высокую эмоционально-поминальную ноту, увлажняться слезами, гонять мороз по коже и такое прочее.

...Горячего не подают. Знают, видно, что нас чувства согревают. Плюс высокоградусная влага. Тоже хорошо увлажняет. "Ну, как там Аркаша?" — вопрошает Таня-Мила с неожиданной откровенностью. А чего там? Мы ж на поминках, один черт, друг друга шапочно знаем. То есть, практически незнакомцы. "Да ничего, — говорю, — что ему сделается". — "А за малого, — она так и сказала, "за", по-одесски, — ты переживаешь зря, я же вижу..." — "С чего ты взяла?" Улыбается этак профессионально. Ну да, они же психологи настоящие, не то что дипломированные. "Да чего ты, — продолжает этак врасляжку, — у нас же эти мальчики в доме скапливаются..." А? Как вам это? Скапливаются. "Мы их разводим, — гнет свое Мила-Таня, — ты не поймешь... Мужики в доме... Мы в них себя и вас любим и жалеем". Глупости какие. "Как это, — говорю, — себя и нас?" — "Ну, себя, конечно, покрепче, — отвечает, — и у нас потенциал имеется, чтоб рожать и любить таких сволочей, как ты. Понимаешь? Нет? Чтоб ты, зараза, — она начинала сердиться, — вот так печалился, глядя на них и сожалея, что не твои..."

Между тем территория поминок заметно сократилась. Оставшиеся сочувствующие как бы перетекли к оголовку стола, где гнездились аутентичные скорбящие. Мы с моей визавишкой оказались на самой периферии, и нас мучительно пытались идентифицировать родственники покойного, как бы вполпьяна сканируя дальномером.

Я говорю уважительно (мы к тому времени изрядно поднабрались): "Идемте, Татьяна, а то нас еще, пожалуй, поколотят". Она говорит: "Я не Татьяна". "А, — не смутившись, — ну, конечно, Мила". "Я не Мила", — го-

ворит Татьяна. "А кто же ты?" — удивляюсь, переходя на ты. "Я-а-а... Скорпион", — выдыхает Мила. "Я тоже", — говорю я. Она: "Жаль". "Кого жалить?" — откалambuриваюсь — как всегда, неуклюже. "Да все того же себя", — смеется, но горько. "И что же мне с этой жалостью делать?" — спрашиваю. "Ничего, — говорит, — валяй, жаль дальше". И после паузы: "Знаешь, — говорит, — ты парень хороший, вижу. Я для тебя что-нибудь сделаю". "Давай, — соглашаюсь беспечно, — делай". Что у меня там в башке оставалось? Думал, безвозмездно службу свою отслужить собирается, по симпатии и умолчанию, так сказать. А что? Мы такие. Мы глобальных обобщений любители. Типа "Бабы дуры, бабы дуры, бабы — бешеный народ" и т. д. и прочее. "Объективность", замешанная исключительно на убогом личном опыте.

...Я когда попал в Россию на армейскую службу, так однажды ходил с подругой в самоволку... по грибы. Так получилось. Лес был рядом. Настоящий. Не то, что у нас на юге — лесопосадки. Вот и не знал, какие грибы бывают. Думал, что в детских книжках они чуть ни в рост малышей — для сказочной гиперболы. А вышло, что на самом деле. Шел это я по лесной тропинке, и маршрут пролег меж двух симметрично раскланивающихся по сторонам деревьев. А ровно посередине — огромный подберезовик. С червоточинами, понятно, но, как по мне, так гриб просто-таки невероятной красоты. Удивление испытал совершенно детское, такое полузабытое. А моя спутница этак по-деловому срезала его (то есть их — гриб и впечатление) ножом, досадливо цокнула языком — что вот, мол, много червивой плоти отчеккрыжить придется. И стало мне как-то не по себе. Рос себе гриб, никому ничего плохого не делал, неосознанно состарился, и вот его без пользы в общем-то скосили. Потому что когда труху отчленять начнут, так почти ничего для жарки или сушки не останется. Лучше б и помер своею смертью в промежности каких-нибудь чахлах березок.

Отчего-то вспомнился этот сюжет, когда вглядывался в удаляющуюся и растворяющуюся в сумерках печальную спину мальчика Ли. В последний раз вглядывался. Потому что больше он на тренировках не появлялся. И Таня, которая не Таня. И Мила, которая немила, тоже.

За что и спасибо ей.

Уроки тишины

Пространство локального пользования — такая штука, что имеет свойство неуклонно сокращаться. То есть наполняться предметами, выдавливающим объем или, как бы сказать, кубатуру воздуха. Логично и,

вроде бы, даже очевидно, что чем больше в комнате вещей, тем как бы меньше свободного пространства. Но, уверяю вас, это только на первый взгляд. Поскольку во всяком порядочном доме имеется изрядное число предметов (а в моей классификации — как раз не предметов, а именно вещей!), заключающих в себе уйму пространства и простора. Типа тундры, широкой дороги, где мчится курьерский "Воркута — Ленинград", зеленого моря тайги, которое под крылом самолета о чем-то поет, знойных степей, куда ты уехала, а также далекой Амазонки, где не бывал я никогда, и др. Короче, от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей.

Как бы вещи эти типизировать, определить одним словом, на худой конец — лапидарным словосочетанием... Что-нибудь вроде ДОВЕСКИ К ВПЕЧАТЛЕНИЯМ, как-то так. Такие себе материализованные названия мемуарных файлов.

Прежде для почтенных этих ДОВЕСКОВ специально отводились почетные места — серванты, витрины, "горки", этажерки, полочки и прочее. Мир был пошире, а коммуникационные возможности поуже. Вот сувенирами из других жизней — с которыми нет связи, почти как с инопланетянами, и которых, следовательно, как бы и нет вовсе, — дорожили. И правильно делали.

Реестр ДОВЕСКАМ в общем довольно скучен и даже хронологически однообразен, оттого что фиксирует одну лишь форму, оставляя за скобками непостижимое содержание. Лелеяли разные там занюханные сухие листочки с цветочками (о чем — "миллион терзаний"), пейзажные камешки, допустим, из окрестностей того же Сорренто, экзотические ракушки с Подветренных островов сокровищ, дешевые поделки и открытки отовсюду.

Все — больше визуализированное, изредка — обонятельное:

"Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной

В слежавшейся пыли находим мы невзрачный

Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,

Но память в нем жива, жив отлетевший дух".

Моя подруга и конфидентка Сашка, великая лягушка-путешественница, регулярно устраивает у себя прополки и чистки, почище сталинских. После чего очередная ватага блестяще-шелестящей мишуры отправляется в места еще более отдаленные, чем те, откуда пожаловала. Изрекаю патетически: "Санька, ты жестока, ладно. Но на кой вообще тратила валюту на этакое безобразие?.." Она: "Тоже мне, тихий ангел... Понимаешь, они так

представительно смотрелись на родном фоне... А нынче я их не узнаю...". И то верно. Мне бы и самому ни за что не оторвать кусок джунглей, сельвы, прерий, кораллового атолла или там вечной мерзлоты. Огрызки — сталактита, сталагмита, гипсовой розы — с барского стола девственной природы. Просто-таки не дом, а палеонтологический музей (нет, говорю я, именно палеонтологический, не петрографический и не минералогический, — трупы, кадавры ретроспективных эмоциональных всплесков).

Впрочем, чего это я раскудахтался? Бывают же ДОВЕСКИ-ВЕРИГИ. Осязательные. Как, стало быть, адекватно сформулировано: вериги памяти. У меня такие имеются.

Вот, скажем, Пашка Пархомовский, друг детства моего. Он когда яблоко ел, так всегда с косточками. И при этом говаривал — он медиком был, — что, мол, содержащийся в косточках одного яблока витамин такой-то с избытком удовлетворяет суточные человеческие потребности в этом витамине. Пашки давно нет, а как возьму в руки яблоко, взвешу на ладони, так вся процедура истового поедания им косточек в сочетании с проповедью здорового образа жизни тут же реализуется. Яростно снижая аппетит.

Или вот еще. Сухой каштан. Не из тех, что таскают на поживу из огня. А как раз несъедобный. У нас в каждом парке — пруд пруди. Коричневый такой, со светлым щенячьим пятнышком. Кожа зеленая с шипами, а внутри попадаются двойняшки, симметричные полусферы. Вот я такие половинки люблю. Они этой своей выпуклостью удобно укладываются в ладонь. И тогда кажется, что ее слегка распирает. Что в этом плоде живет законсервированная энергия роста.

Я всегда запасался каштанами с ранней осени. Нет, не так. Все пронзительно значимые события по какому-то неясному стечению обстоятельств непременно приурочивались к сентябрю. Оставалось всего ничего — подчиниться их ходу и подбирать каштаны прямо на совместном маршруте.

Когда я Ленку слушал, мне почему-то всегда не хватало одних ушей. Не в том смысле, что появлялась надобность обзавестись еще парой. А в том, что и руки следовало задействовать, чтоб они тоже участвовали в процессе вниманья.

Тогда шарил голодными глазами, выискивая встречный поперечный каштан или желудь (или камешек окатанный, если дело было у моря). Только не всякий годился. Поминутно наклонялся, схватывал, осматривал и отправлял назад, в пергаментный листопад. Ленку это, вероятно, выбивало из колеи, но она деликатно терпела мои выходки. Наконец об-

заводился подходящим экземпляром, по сути — прибором, настраивал его на нужную частоту — каштан мягко входил в нарочно сформованный для него паз ладони, словно аккумулятор, — и начиналась биолокация или что-то в этом роде.

Мне было абсолютно все равно, что там несет моя корреспондентка. Хотя бы и полную ахинею. (Что, вообще говоря, имело место быть.) Для меня она была вокалисткой, мелодекламатором. Что бы ни трюндела. Понимаете, что я хочу сказать?

В конце концов, что есть сама музыка — как не гармоничный звукоряд: ритмически и интонационно организованные звуки. "Организация (учреждение?) звуков", и больше ничего особенного. Стало быть, кому — соловей, кому — кенарь, а кому — и сова с царевной-лягушкой квакушкой.

А Ленке же моей надо же было когда-нибудь слышать собственный голос, чтоб он (голос) совсем не атрофировался. Потому что в принципе молчунья она была редкостная. Может, про героев-пионеров вовремя читалась или там про партизан с подпольщиками, не знаю. На людях — редкое, но меткое словцо. Не серебряное, а очень даже золотое. Да и только. Бабы на нее поначалу всегда косились, ожидая подвоха, какового никогда не следовало, потом привыкали и говорили с нею за двоих — что очень удобно.

Помалкивала же Ленка неукоснительно, и не только в очереди к гинекологу или, там, на службе, но и "в семье своей родной", представляясь мне какою-то бесконечно осаждаемой со всех сторон многочисленными врагами крепостью. При этом осаждающие лишались всякой возможности вести переговоры о капитуляции на взаимовыгодных условиях и т. п. Это озадачивало и внушало уважение к предполагаемому противнику, вплоть до безоговорочного отхода с оккупированных территорий и пакта о ненападении в одностороннем порядке.

То есть, если переводить на обиходный язык, то из этого выходило следующее. Окружающие по собственной инициативе, причем довольно энергичной, лихо выговаривались, выбалтывая сокровенные военные тайны и иллюминируя самые потаенные и заповедные уголки смутного своего сознания или полной бессознанки. И судя по всему, лишь за тем, чтоб оглушить обволакивающую и обнимающую Ленку тишину. Чем старательнее она молчала, тем более оголтелой делалась откровенность товаров. Получался феномен односторонней связи. Вроде того, когда полярники стучат и поют "Морзянку", а радиоастрономы навязчиво вызывают к заблудшим троюродным братьям по разуму, сигнализируя: "Мы были, есть и будем есть!".

А при мне Ленка зачем-то говорила. Пела как бы. Или распевалась. А я слушал зачарованно. И большего кайфа в жизни у меня, если честно, никогда и не было. Я с ней даже немного научился молчать, потому что вообще-то неисправимый трепач.

Пела она сама по себе. Не по заказу. Лучше бы и не портить песню. Только я хотел чего-нибудь, как нынче говорят, эксклюзивного, чтоб конкретно адресовалось мне. Любимые песни (о главном) по заявкам радиослушателей. Мы же любили друг друга. И о чем тут было говорить. А я ненасытно желал, чтоб она это как-нибудь озвучивала. Ленка же на сей счет словоохотливой не была, зато любить умела как никто. Вот и вся песня.

...Санька — она же и моя благосклонная читательница — говорит: "Ты, конечно, молодец, — говорит, — но, случается, по сюжету скользнешь, а я накушаться не успеваю". Какой тебе, сестра, сюжет: "Он пришел. Она сказала. Он достал"?..

...Как ни мну каштан этот сферический, не припомню, о чем моя Ленка пела. Что-то умиротворяющее, колыбельное такое, убаюкивающее (меня). О детстве. О родне какой-то отдаленной — седьмая вода на киселе, — однако теплой, поныне согревающей душу. О застрявших в памяти садово-огородных пустяках. О стариках и старухах у самого синего моря пред разбитым своим корытом. Песня-то, кажется, вся и была об одном безбрежном одиночестве и больше ни о чем... Кто теперь скажет, когда у меня от Ленки всего только сухой каштан один и остался.

Да нет же, я не в этом смысле. Где-то жива-здоровая. Я о довесках. Об уроках тишины.

Вот ведь бредет кто-нибудь мимо самозабвенно или в маршрутке на соседнее сидение радостно плюхнется — в ушах губковые такие черные сверчки, а за пазухой — невидимый плейер. А у меня — каштан в ладони. В правой. Чтобы подальше от сердца.

Цветы жизни

В своей жизни я дарил цветы не так уж редко. А запомнились только эти. Неказистые подвяленные чайные розы. К тому же — желтые.

Не то чтобы это были какие-нибудь "Цветы зла". Но специфическая амброзия распространялась, что называется, по всем направлениям бытия. "Твой запах в тропики влечет меня, как зов. И тесно в гавани от мачт и парусов". Эти розы теснили, выдавливая за оградительные молы, волноломы и за что-то там еще такое, о чем понимают исключительно занудные гидротехники.

А подарил я их Шурику Рыбкину по прозвищу Рыба. Тридцать с лишним лет тому назад и, как выяснилось, вперед. Не от себя подарил, а от Ленки Алёхиной, общей нашей с Шуриком подруги. То есть она мне поручила его с днем рождения поздравить. Конкретно, как нынче изъясняются, поздравить: цветами (на что выдала что-то около пяти рублей). Отнести к нему домой и передать. Что я и сделал с большой ответственностью. Отправился к вокзалу, где отирались фонтанские и люстдорфские цветочницы, и положил глаз на содержательный букет лимонных чайных роз. Мне, пожалуй, почудился просто-таки ароматный "Липтон" с лимоном. (Хотя чего это я зря болтаю, никаких "Липтонов" мы тогда знать не знали.) Радостно купил, а цветочница более чем охотно рассталась с охапкой. Рыбы дома не было. На безрыбье вручил цветы его младшему брату с соответствующими инструкциями. И благополучно покончил с Ленкиным поручением.

Прошло пару дней. И тут Лёха разбранила меня почему зря. "Что же это ты, охламон, — орет, — желтые розы притащил?! Ты специально, да?! Подстроил, да?! Знаешь, как Рыба обиделся?!" — "С чего бы это, — возопил истово, — да я самые лучшие чайные выбрал! Знаешь, как пахнут?!" — "Да ты чего придуливаешься, балда, — Ленка просто ошалела, — желтые розы — это ж к разлуке!!"

Тут и я опешил. Мне было около семнадцати и я понятия не имел о языке цветов и прочем язычестве. Бабушка моя, Муся, разноцветные розовые лепестки — и всенепременно от чайных роз! — собирала и на обширном кухонном подоконнике просушивала. Наливку из них готовила замечательную, а мы, дети, случалось, попивали. А розы в пору школьных экзаменов у нас не переводились: Папа мой математику преподавал, причем как раз на Фонтане. Такие копны приносил, что ой-ой-ой. Вот я и распознавал одни только эти цветы. Которые вечно несут впереди себя белоснежные первоклассницы и прочие выпускницы роддомов. А об иных-прочих, считайте, понятие имел единственно из считалочки: "Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме..." и т. д.

Мы вообще-то все очень дружили — Леха, Рыба и я. Она сорвиголова была у нас, заводила, как бы сказать, сорванчиха. Рыба — рохля такой, добряк. А я — черт его знает, у меня характер шероховатый, с заусенцами. Но как-то же мы сплывались, сцементировались, срослись. Получилась такая, как геологи говорят, брекчия: камень как камень, а приглядеться, так он из разновеликих и разнородных кусочков складывается, в том числе — ребристых, острых.

Да, так вот, Ленка большая была выдумщица на розыгрыши и приколы всякие. Ну, допустим, возьмет и назначит свидание четырем ухажерам на четырех углах одного и того же перекрестка — Коблевской и Петра Великого. Чтоб из окна просматривался. А после сверяет по часам, который кавалер сколько прождал. Состязание такое, а она — независимый как бы рефери. А то бывали у нее изобретения и менее невинные. Как-то раз потащила нас с Рыбой якобы поздравлять подругу. Сверток у нее с собой аккуратненький такой, перевязанный розовой ленточкой с бантиком. "Сюрприз, — говорит, — хочу ей доставить". Сверток под дверь положила, кнопку звонка припечатала, а сама — по лестнице бежать. "Без меня, — кричит, — разберетесь". А в пакете, оказывается, мусор был. Неловко получилось. Распитие в парадных организовывала. Сигареты на улицах стреляла. На такси сшибала неизменные сорок копеек — столько от нашего Чичерина до ихнего Великого Петра нащелкивало. В пивбары, "на природу" и футбол нас водила и выводила в расход. И такое прочее.

Мы ее с Шуриком уважали безмерно и были влюблены. А выходило, что состояли в ее конфидентах, в подругах, каковых (подруг) у нее отродясь не водилось. Побаивались ее девицы, поскольку не в их пользу расклад всякий раз выпадал. Насчет "расклада" — так это тоже была Леха. Она в преферанс нас играть выучила, всей терминологии и лексике карточной. Типа "Нет хода — не вистуй!", "Туз — он и в Африке туз!" ("Марьяж — он и в Африке марьяж!"), "Не с чего ходить — ходи с бубей!" итд. Рыба называл ее "дамой бубновой с розаном и черепом" — как на типологических русских картах. Забавно, что на обиходных дореволюционных колодах, рисованных не чересчур русским французом Шарлеманем, розан этот был именно что желтым, от чего, вероятно, и пошел весь сырбор с гадальной разлукой. "Я уйду с толпой цыганок" и такое прочее.

Да, так вот Леха всегда козырной картой была, на любой игре. Девчонки рисовались, жеманились, а она и "в склянке темного стекла из-под импортного пива" розой красною "цвела гордо и неторопливо". За тещедушного Рыбу заступалась, шипела, шугала, шипами оцарапывала и рожи лица била немилосердно.

А цветы... Что цветы? Ну пришло ли бы мне в голову ей цветы какие-нибудь подарить? Оттого и оставался непросвещенным в этом вопросе — ее же и недоработка! Мы, правда, фильм тогда новый смотрели — "Цветы запоздалые", по чеховским рассказам. Навздыхались втроем, наохались. Там такой модный старорежимный доктор полюбил чахоточную и врачевать принялся запоздало. И цветы там были точно. А вот какие... Хотя

убейте, не припомню. Думаю теперь, что мокрые хризантемы — так называемые "японки", быть может. А может, и не быть.

С Шуриком, конечно, помирились. И зажили по-прежнему. Он ее любил, как умел. Я — неумело. И она — как умела. А дальше мы как-то потеряли Леху из карточного обихода (но не из виду). Рыба поступил в Водный институт, что было вполне логично, я — в университет, что, в общем, тоже имело свое объяснение, а вот за каким чертом атаманша наша поперлась в Кредитно-экономический — оставалось полнейшей загадкой. Есть подозрение, что прижилась там неспроста. Имелся при сем вузе студклуб с отменной тусовкой припадочных рок-музыкантов, на каковых тогда принято было молиться, поскольку целина, физика, лирика, партия, любовь, комсомол и весна уже не котиrowались. Так вот Леха вскорости с одним из таких хмырей простодушно умотала на ПМЖ куда-то в Крым. Говорят, нянчилась с ним, лечила от запоев, побоев и ковбоев, затыкала собою амбразуры, бронепоезда на скаку останавливала, в горящие избы входила налегке, рвала аорты, делала аборт и т. д. и прочее. Потом был у нее на поруках средней руки кинорежиссер типа "Живой труп — 2", то есть не то чтобы уж совсем труп, но и не то чтоб определенно склонный к дальнейшему земному существованию, во всяком случае, деятельному. Работать (над собой), как и рок-музыкант, не желал и все искал отговорки. Складывалось впечатление, что Ленке непременно нужен рядом кто-нибудь полуживой. Такой, чтоб (покабутке) наотрез отказывался от приятной обязанности жить. Как бы это получше растолковать...

Ну, вот был я как-то по некоей надобности у пожилого рентгенолога — дальней своей родственницы. И в это время заглянул к ней на консультацию один пациент, крепкий такой сорокалетний мужик. Она внимательно разглядывала принесенные им снимки, о чем-то они довольно спокойно, по-деловому беседовали, а я скромно сидел в отдалении. Когда мы остались одни, родственница эта меня и спрашивает: "Знаешь, что у этого человека?" Откуда мне было знать. Она, после паузы: "У него рак основания черепа". Я молодой был, неотесанный: "Так что, — говорю, — он умрет?". Она ехидно как-то пожевала губами и выдала: "Умереть — он не умрет". Еще пауза. И: "Но жить он тоже не будет".

Да, так вот Леха таких и опекала. Которые ни то, ни се. Одной ногой, вроде бы, там, а другой — и вовсе не ясно где. Все это меня до того озадачивало, что старался и не задумываться. Раз надо ей, так пускай себе.

А если итог подвести, так живут они все — и рок-музыкант запойный да прикольный (припеваючи), и "Живой труп — 2" (придыхающе), — жи-

вехоньки, и теперь живет всех живых, живут да, как говорится, в х.. не дуют. Другие им няньки нашлись, сменные — как мастера или там трусы с пеленками. Так что попали, можно сказать, в хорошие руки. Такой, понимаете ли, second hand. И есть же большие любители в нем покопаться...

Тут Ленка снова на нашем горизонте замаячила. Я к тому времени уже нескольких лошадей сменил. А Шурик — так тот долго оставался безлошадным. Никак не удавалось сдать его в эксплуатацию. Все щурился в свои очки-линзочки. Зрение у него паршивое ко всему прочему было. Щуплый такой, беспризорный. Пока Элька не подобрала. Хорошая такая, добрая баба, насадка, промелькнувшая на периферии нашей совместной юности. По-хорошему жили. Только что без детей. Вот Леха и говорит: "Давай, — говорит, — Рыба, я тебе детей наваляю...". Я говорю: "Лучше бы мне наваляла". Она: "У тебя и без того перебор". И лыбится этак в полгубы. Хотя у нас с ней до и после было. Это, как его... Ну, ИММУНИТЕТ-А-ТЕТ... Рыба: "А как же про марьяж? Ты ж нас сама наставляла..." — "Какой такой марьяж?" — "Как это какой?! Марьяж — он и в Африке марьяж!" — "А... Нет уж. Это, пожалуйста, без меня, в одностороннем, так сказать, порядке..." И загадочно прибавила: "Под игрока ходи с семака". Потом еще анекдот старый вспомнила. Про детей, которые цветы жизни, цветущие в чужом палисаднике.

На том они и порешили. Работали, значит, во исполнение. Я потом дважды в роддом приходил. Поздравлял их. Через силу, если честно. Цветы свои запоздалые приносил. Без зла. Как бы это сказать, чтобы было правильно... Нет, не правильно, а как-нибудь адекватно... Ну вот если б мне стать ее новорожденным, так я готов хоть бы и вообще перестать быть. Как-то так. Хотя и не оригинально (см. письма Джойса к Норе).

Короче, как ни старался, а делить все такое неумоготу. И без того, какой шмат жизни сообразили на троих — в горле застрял... Стою, бывало, на мосту, поплеываю в Темзу (а хоть бы и в Темзу!) и все мне по барабану. Так и подмывает подойти к первой встречной, наброситься с меморандумами совместного детопроизводства. Может, думаю, повезет. Не подхожу. Все как-то наоборот. Напьюсь и сам жертвой чьих-нибудь (дамских же) словоизъявлений становлюсь. Так и стал шляться по экспедициям, чтоб подальше от зарыбленного Лехой водоема. И год, и два, и несколько. Оно как бы и притупилось. А после — такое несчастье...

Примчался в город. Тропический ливень, да и только! Благо, самолет приземлили. Просто чудо. К выносу опоздал на полчаса — за цветами заскикивал ("Я садовником родился, не на шутку рассердился...", далее по

тексту.) Тормознул тачку и — на кладбище. Старое оно, там почти не хоронят. К родственникам разве что, бутербродом. А тут еще льет! Разверзлись хляби небесные. Грязь непролазная. Башмаки вязнут — то всхлипывают, то чавкают. Как я. Серединка на половинку. Весы такие неуправляемые. Безмен... Вокруг — ни души. Спросить некого. Где да что. "Среди сурового безмолвия могил", — по словам классика. Раньше оркестры духовые (читай Жванецкого) безобразно давали жизни. После смерти. Может, и лучше без них. Только похороны не сыскать. Хоть бы там поскандалил кто — жена, допустим, с любовницей (покойного).

...Шурик совсем по-дурацки уплыл. Глаза свои захудалые лечил. И уколы ему делали прямоиком в глазное яблоко. (Которое недалеко от яблони и т. д.) Больно, конечно. Но многим же делают. И ему сколько-то сделали. Только однажды он после инъекции зачем-то упал и умер. Вот, собственно, и все.

...Как-то я на них все же набрел. Колумбарий — прямо-таки доска почета, только что фотопортреты в три яруса не меняют: скукотища... Народу немного. В болоте старательно топчется. Как в гражданскую. Вот-вот, кажется, и воинский салют грянет. Только никакого салюта нету.

Ленка настырно в почетном карауле стоит. (Никто не скандалит. Никакого тебе трения у гроба. Даром что законная Элька поблизости. Где ж погребальная интрига?! Никакой динамики...) И мальчик при Лехе. А мальчик-то был! И подросток! Стройный такой, крепенький, улучшенной породы. И этак до печенки знакомо щурился. Видно, со зрением нелады. Так это что, поправимо. У нас медицина такие чудеса творит, черт бы ее побрал... Девчонка, правда, подкачала. Мелкая, жалкая даже. Такая, что уколешься. Поглядел — как в зеркало! — и укололся... "Господи ж, — заныл, — ты ж Боже ж мой жыж..." Глаза на мамку ее поднял. Вглядываюсь же изо всех сил, а лица, глаз Ленкиных разглядеть не могу. "Что ж ты все молчала, зараза ты бубновая, — себе думаю, — что ж молчала..." Стыдливо заслоняюсь мокрыми своими цветами. Вялеными. Желтыми. Чайными.

.....
Не с чего ходить — ходи с бубей!

В профиль

Женя-Катово жил возле Сабанеева моста во втором дворе бывшего доходного дома и, как говорил Саша-точильщик, если сюда идти с Севера, то надо взять влево и вниз, а если из Владивостока — то лучше кружным путем через Индию и не забывать спрашивать: в каком порту на Гаванной улице находится баня с небольшой парикмахерской, куда вам лучше не заходить. При этом Саша-точильщик засовывал очередной окурочок папирос "Сальве" в пасть льва и орал: "Ожил, змея! Но шницель битвы до поры хочу!".

С Гаванной нужно было свернуть под арку, которую украшали вмурованные по уши головы львов, пройти гулкий грязный колодец первого двора, нырнуть в короткий тоннель и оказаться во втором дворе, где стоял двухэтажный довесок бывшего доходного дома — флигель, с обычными квартирами. Но квартира, в которой обитал Женя-Катово, была не совсем обычной: входная дверь из единственной комнаты открывалась прямо на лестницу — прихожей не было. Так что широкая лестничная площадка служила и кухней, и холлом, и прихожей. И, в какой-то мере, изысканной гостиной с венским стулом и плитой с баллонным газом. До того как Женя-Катово поселился в этой комнате-квартире, он шоферирил в Болградском районе. Был сиротой — потерял родителей после пожара родимого дома, воспитывался миром и дальними родственниками, становился на ноги, выходил в люди, и уже было вышел, но оглох.

А пока все это происходило, в комнате-квартире проживала одинокая женщина Светлана Александровна, продавщица магазина канцтоваров на Екатерининской возле кафе Фанкони. Светлана Александровна когда-то получила это жилье от районного торгового и сразу из хозяйственного магазина пошла на повышение в канцтовары, поставила на лестничной площадке газовую плиту, решила жить тихо, то есть изучать и готовиться. Изучать канцтовары. Готовиться в техникум. Изучать объявления об обмене, готовиться к переезду. А в своих максималистских мечтах она видела себя бескомпромиссным ревизором, грозой бухгалтерий, складов и баз.

Но частые посещения лицами мужского пола, которые хотели быть подальше от газплиты и поближе к самой Светлане Александровне, мешали ее намерению жить тихо, да еще соседка слева, вечно заспанная Антонина, жена лейтенанта-моряка, поставила рядом со взрывоопасным газовым баллоном венский стул и, как только запахнет вареным или жаренным,

выходила "на огонек", усаживалась и страстным шепотом расспрашивала: что за мужчина был вчера у Светланы Александровны, какого сорта, звания. С какими намерениями приходил и не пытался ли остаться до утра — так что тихая жизнь осложнилась замужней завистью соседки и настойчивостью мужского пола.

В своем Болградском районе Женя-Катово об этом ничего не знал, а появился он возле Сабанеева моста позже. И произошло это, собственно говоря, из-за сквозняков. Весенних опасных сквозняков. Светлана Александровна опрометчиво вымыла утром голову и помчалась в свои канцтовары, а там двери вечно распахнуты настежь, и на следующий день будущий бескомпромиссный ревизор Светлана Александровна отправилась в поликлинику на Приморский бульвар. В правом ухе стреляло, в левом было щекотно. В поликлинике ее осмотрели, покачали головой и записали на прием к специалисту, как сказала женщина из больницы очереди, — на прием к "большой светиле по ухам".

Эта "светила по ухам" принимала в тот же день. И Светлана села в коридоре на стул рядом с худым мужчиной, который никак не отреагировал на ее появление.

— Я буду за вами? — утвердительно спросила по одесскому обыкновению Светлана.

Худой молчал. Он был в майке-сеточке. Его парусиновые брюки морщились. Пиджак он скомкал и положил на колени. Молчал. Да еще пристально смотрел перед собой. "Наверное, слепой", — подумала Светлана Александровна и сверилась с табличкой: в тот ли кабинет она пыталась занять очередь? Кабинет был тот. Светлана, чтобы как-то обозначиться в очереди, снова утвердительно спросила:

— Я за вами, если, конечно, ваш номерок крайний передо мной.

Худой не шелохнулся. Тогда Светлана Александровна преднамеренно качнулась, задела мужчину плечом и посмотрела на него, как говорила соседка Антонина, изо всех сил, то есть повернула голову так, что уткнулась подбородком в свое плечо, а глаза ее блеснули, как показавшиеся из-под воды перископы.

Мужчина повернулся — и были его очи отчаянно живыми, синими, лицо загорелое, но не кирпичное и жесткое, и чем-то приятным и бархатым повеяло на Светлану Александровну.

— Вы мне что-то сказали? Повторите, пожалуйста, что вы мне сказали...

Он почему-то виновато улыбнулся. Светлана тут же простила ему его вину, хотя в чем он виноват, ей было неведомо.

- Я просто спросила... Если вы в этот кабинет, то я буду за вами.
— Да. Я к врачу, — коротко ответил он. — Я ваз пропущу впереди себя.

Светлана на всякий случай ничего не ответила и удивилась: вежливый, а говорит как-то странно. Вдохнула: мужчины всегда вежливы, если у них что-то не так. А ее сосед уже не отворачивался, смотрел на Светлану Александровну так же пристально, как только что смотрел на стену. Потом спросил:

- Я плохо говорю? Очень заметно?
— Не очень.
— Значит, заметно. Отвык я разговаривать.
— Почему отвыкли?
— А я зовсем ничего не злышу.
— Но как же вы со мной разговариваете, если ничего не слышите?
— А я по губам понимаю. У ваз губы очень выразительные.

Такого о своих припухших и слегка подкрашенных губах Светлана Александровна еще не слыхала. И она подумала, что ее разыгрывает этот худощавый. Да и сидел он не как все, склонившись, а прямо. Как пианист. "Если он не слепой, да еще разыгрывает, что не слышит, тогда у него что-нибудь с позвоночником", — решила она.

— Вы мне не верите, — догадался мужчина. — Я вообще по губам плохо понимаю. Но ваз я понял сразу. Меня зовут Женя. А ваз?

— Светлана Александровна, — ответила она, определив дистанцию дальнейших взаимоотношений.

А взаимоотношения эти не замедлили продолжиться. Женю все-таки вызвали первым к "светиле по ухам". Он виновато развел руками и скрылся за дверью кабинета. Светлана отметила: высокий, прямой, как весло. Она вдруг подумала: "Этот Женя сказал бы: прямой, как "везло". И ей стало смешно.

Очередь начала нервничать, потому что Женя довольно долго был в кабинете. Когда он вышел, то взглянул на Светлану грустно. В свою очередь, Светлана Александровна взглянула на Женю ободряюще. "Светила по ухам", врач-ларинголог Эльза Михайловна не нашла ничего опасного в простуде Светланы, посоветовала беречься. Женя встретил Светлану в вестибюле. На бульвар они вышли вместе. Обе стрелки часов на здании бывшей Думы выглядывали из-под правого уха памятника Пушкину. Тени от платанов покачивались под ногами легкими занавесями. Женя остановился возле памятника. Заложил руки за спину и старательно произнес по складам, почему-то взглянув на Светлану:

- Вот. Пучкин.

Светлане Александровне стало грустно, она посмотрела на этого взрослого беспомощного мужчину и сразу поверила ему во всем. "Эх ты, Пучкин", — растерянно подумала она. То, что происходило с ней сейчас, было Светлане Александровне незнакомо. Бывало, к ней в гости на Гаванную приходил стивидор из порта, и, когда угощал американской жвачкой и сигаретами, Светлана Александровна могла спокойно сказать, что она не жует и не курит, хотя подарки принимала — они стоили денег. Знакомого флейтиста из филармонии она держала на расстоянии высказыванием: "Я же вам не флейта, чтобы вы меня так понимали". В отличие от Светланы, флейтист Шекспира читал и рук не распускал после услышанного. Как-то и прихожанин из соседней кирхи увязался за Светланой Александровной со своими темными католическими намерениями и подарил ей четки. Светлана тут же предложила: "Я ваши четки повешаю на шею как бусы. И место хорошее. И вы о боге не забудете, когда глянете на мою грудь". Светлана Александровна умела быть и шаловливой, и ироничной. Но в мыслях она твердо видела себя замужем за начальником торгова в офицерском мундире, но чтобы он еще при этом вел модную телевизионную программу вместо плюгавого Маслюкова. Материальное обеспечение, блестящий чин и популярность — все это объединялось в голове Светланы Александровны при мысли о будущем.

А тут рядом с ней... шел вчерашний шоферюга, да еще глухой. Ему нужно было ехать в Болград, где у него было полдома, но "светило по ухам" настаивало, чтобы он задержался в Одессе и находился под ее постоянным наблюдением.

От больницы на Приморском до Гаванной рукой подать, но Светлане знакомый путь показался долгим. Шли медленно. Говорить не о чем. Да и спутник глухой. Она впервые отметила для себя, что идут они по красивым местам: порт, похожий на разноцветный торт, знаменитая Потемкинская лестница, выложенная, казалось, из сотен фишек домино, и елочная, слепящая бликами солнца статуя Дюка... Снизу по лестнице из луна-парка к статуе поднималась толпа молодых людей. Их было человек сто. Они окружили статую герцога. Один молодой человек взобрался на постамент и набросил на шею герцога Ришелье связку бубликов. Девушка возле постамента выкрикивала: "Столичное и поместное дворянство! Наш современник Штольц!.. Поход князя Игоря!..". Светлана объяснила своему глухому спутнику, что это выпускники школ гадают по статуе Дюка: какая тема сочинений будет на выпускном экзамене.

— А бублики зачем? — спросил Женья.

Светлана Александровна об этом никогда не задумывалась, но знала, что гадают и на кофейной гуще, а поэтому ответила своему спутнику:

— Ну, не кофе же статую обливаеть.

Они прошли весь бульвар. Остановились возле остатков решетки дворца Воронцова. Решетка напоминала воткнутые в землю римские дротики. Колоннада дворца была испещрена надписями. Колонны были гладкими, и сделать надпись на пятиметровой высоте казалось немислимым.

— На плечи друг другу становятся и пишут, и пишут, — воинственно заметила Светлана Александровна. — Такую древность портят!..

Но испортить этот день в начале лета было никому не под силу. Из воронцовских поместий они снова вышли на бульвар, свернули в переулок и по бывшей контрабандисткой тропке в центре города быстро спустились на Гаванную. Весна еще не совсем сошла с городских улиц. Сдобно пахло акацией. Светлана Александровна ощущала в груди тающие льдинки. Женья надел свой пиджачок — его как будто знобило. Но окончательно дело решил диван.

Были сумерки, когда они подошли к дому Светланы. Женья быстро, по-хозяйски повытаскивал окурки из черной пасти вмурованного в арку льва. Казалось, что сейчас он был готов перекрасить все унылые дома на Гаванной. Светлана не возражала, когда ее провожатый свернул с ней под арку, подивился каменному колодцу первого двора, опасливо согнулся под второй аркой и вышел к флигелю, где у стены и стоял диван.

Еще утром Антонина вместе с точильщиком Сашей вынесла диван вон из набиравшей уют квартиры. Диван был с высокой спинкой. Наверху были полочки с зеркалами. Когда Светлана присела на него, он издал звук, как будто в магазине канцтоваров кассирша выбила чек.

Вдвоем они и занесли диван в Светланину комнату-квартиру. Антонина столбом стояла в своих дверях и сонно раздумывала о превратностях бывшего львовского мебельного гарнитура. А Светлана Александровна уже в комнате сказала своему провожатому:

— Вот, Пушкин. Тут переночуешь.

Потом на плите жарилась яичница с брынзой, а Светлана сидела на своей тахте, и не было у молодой женщины никакой охоты поверять алгебру гармонией. Женья сидел на краешке дивана. Одобрительно отозвался о единственном окне, что выходило на задворки католической церкви и было увито виноградом. Женья обратил внимание на единственную в комнате картину в облупившейся, но когда-то добротной раме. Картина

изображала море, скалу и парус яхты. Но скала была больше похожа на парус, а парус был тяжелым, как глыба. Женья подивился этому, но картину одобрил, а Светлана гордо сообщила, что картину рисовал ее брат, сейчас проживающий в Молдавии. Из книг в комнате было несколько учебников за седьмой класс и потрепанный роман "Служанка фараона". Женья одобрил и телевизор, который был укрыт специальной накидкой для телевизоров, купленной в магазине вещей с уценкой. О флаконах, помадах, щетках и других предметах культуры, что были разбросаны на подоконнике. Женья не отозвался никак, и ему был вручен ключ от квартиры. Светлана хотела было включить телевизор, но Женья увидел на тумбочке тюбик клея и ножницы. И попросил бумагу.

С этого все и началось

Женья как-то особенно, по-доброму посматривал на Светлану, одаривал ее синью глаз, сидел на спасенном диване спокойно и высоко. И очень к месту. И Светлана Александровна удивилась, поймав себя на мысли: ведь это могло произойти с ней давным-давно. А Женья что-то выстригал ножницами из бумаги, клеил и, закончив, воскликнул:

— Катово! — и протянул Светлане Александровне ее портрет в профиль, вырезанный из бумаги.

И до того было похоже, что она растерялась, потом изумилась и рассмеялась.

— Горит у вас, — оповестила Антонина, заглянув в комнату.

Светлана перевернула яичницу на сковородке и с гордостью, как будто показывала пейзаж брата, продемонстрировала из своих рук свой портрет. Сонное выражение вмиг слетело с лица Антонины, и обе женщины стали похожи на девочек — рассматривали, вертели в руках портрет на картонке, как бы соревнуясь в одобрении этого чуда природы в профиль.

— Катово! — Женья протянул Антонине и ее портрет. И тут Светлана Александровна возревновала, с досады рассыпала брынзу, заволновалась: Антонина на портрете была искусно изображена в профиль рядом с газовой плитой, а из сковородки так и летели брызги масла! Портрет самой Светланы Александровны бледнел по сравнению с этим произведением.

— Художественно вырезает, — одобрила Антонина и бросилась переодеваться, чтобы Женья вырезал ее в новом платье и итальянских туфлях.

В последующие дни отношения наладились своеобразные. Рано утром Светлана Александровна выметала из своей комнаты на лестничную площадку обрезки бумаги, а на стенах оставались ее портреты в профиль. Они были выполнены из бумаги всех цветов и оттенков на подходящем

фоне цветного картона. И больше всего поражало, а порой и удручало хозяйку то, что Женя необъяснимым образом умел с помощью ножниц и бумаги понять ее настроение и неизвестно как передать, скажем, что вечер был холодным, а виноградная завязь в их окне слезилась от дождя, и от этого было зябко и вспоминалась покойница мать.

Еще в детстве Женя удивлял всех своим талантом к ножницам и бумаге, когда украшал родительскую хату к праздникам. Но потом это забылось. А теперь и при посещении "светилы по ухам" Женя стал щелкать ножницами, изображая врача-специалиста при изучении ушных раковин страждущих пациентов. Однажды, поджидая в коридоре свою очередь, Женя вырезал из бумаги по памяти и здание Думы, и пушку с английского фрегата, и памятник Пушкину. "Светило" очень похвалило и стало называть его Женечкой, а он ее Эльзой Михайловной. Когда же Светлана узнала обо всем этом, то взяла отгул и прогулялась с Женей по городу, и он ей понавыврезал и легкого Дюка, и ширь лестницы, и грузного Воронцова, и колоннаду, и львицу с потомством из горсада.

— Вырезай мне, как Гильзе своей вырезал, — говорила Светлана, называя Эльзу Михайловну Гильзой. Светлана не считала, что ею руководят мстительные чувства, но что-то вроде сатисфакции она получила. А Женя был готов для нее и на прочие подвиги с помощью ножниц.

Как-то вечером заглянул к ним стивидор из порта. Осмотрел новоявленную картинную галерею, пожал Жене руку и исчез навсегда.

Заходил и филармонический флейтист. Тоскливо посмотрел на диван Жени и спросил: "Можно один профиль Светы на долгую мою память?". Был вырезан с флейтой в зубах, смеялся, пил принесенное с собой "Ток-кайское", прикинулся опьяневшим и отбыл, насмываясь от обиды.

Прихожанин-католик над каждым портретом восклицал: "Матка Боска!", затем с темными католическими целями предложил: а не пожелает ли пан оформить панно с ягнятами, волхвами и девою Марией с малюткой. Пан отказывался, потому что Светлана тайком сделала страшные глаза.

Через неделю Женя поцеловал Светлане Александровне руку. Сделал он это неумело, как будто намеревался остановить кровь на запястье женщины. Сделал он это по двум причинам. Во-первых, видел по телевизору, как мужчина от невозможности выразить обаявшую его радость, поцеловал руку другому мужчине, правда, старику. Во-вторых, Светлана так открыто радовалась каждому сотворенному профилю, что у Жени сжималось сердце, он вздрагивал от сопричастности к ее восторгу. В ответ на по-

целуй руки Светлана одолжила в канцтоварах ширму, которая там была на случай переучета какого-либо из отделов. Теперь на ночь Женя раздевался не в темноте, а за ширмой. И когда они тушили свет, Светлана Александровна объявляла: "Все. Отправляемся на переучет".

"Какой-то он не типичный, — думала перед сном Светлана. — Двадцать шесть лет. И женщины, наверно, были. Шофер. Левые рейсы..." Именно эти левые рейсы и поцелуй ее руки никак не совмещались в мыслях Светланы Александровны. Сам Женя не мог объяснить, откуда у него такое интересное видение мира с помощью ножниц. Но природа наделила его зорким зрением и твердой рукой. Это проявлялось и раньше в умении писать любым замысловатым шрифтом. Стенную газету в армии он оформлял такой замысловатой вязью, что боевой листок можно было принять за ватиканскую индульгенцию, если бы не красочное изображение на ней тяжелого танка. Однажды соседка Антонина высказала ценную мысль: ножницами тоже можно зарабатывать деньги. И Светлана Александровна пошла ва-банк. Альбом с видами Одессы в профиль она отнесла в редакцию газеты, и деловитые корреспонденты отнеслись к творчеству Жени благосклонно. Они дали задание своему начинающему коллеге взять у Жени интервью. Этот их коллега заранее заготовил умные вопросы и, условившись со Светланой Александровной, пришел на Гаванную. Сначала он спросил, где Женя достает бумагу, картон, какими ножницами пользуется и как часто затачивает их. Так как все сырье, включая ножницы, поставлялись из светланиных канцтоваров, она и заявила опешившему корреспонденту, что готова к любой ревизии, а в случае недостачи все с себя продаст и заплатит. Вспотевший корреспондент немного помолчал, а потом из своего блокнота вычитал очередной вопрос:

— Вы, по сути, график. Кто вам ближе: Дюрер или Мазарель?

— А нам ближе всего в больницу ходить, — немедленно ответила Светлана и с вызовом добавила: — А там до сих пор глухим никакой помощи. Вот о чем надо писать.

Неизвестно, чем бы это все кончилось, но Женя протянул корреспонденту его портрет в профиль — взлохмаченная голова, склонившаяся над блокнотом.

— Как же это у вас получается?! — воскликнул корреспондент, зачем-то ощупывая свое лицо.

Светлана ответила примирительно:

— А что тут непонятного? Он — вырезальщик. А вы — писальщик.

Однажды сияющая Светлана прибежала в больницу и на весь коридор

объявила: "О нас написали!". Правда, вместо интервью была корявая заметка "о не пропадании талантов втуне и использовании их в деле", но заголовок гласил: "Кудесник с ножницами".

Этого было достаточно для решительных действий.

В считанные дни Светлана оформила Жене инвалидность, вступила с ним в брак, автоматически прописала его у себя, дала объявление о продаже половины дома в Болграде и выхлопотала для Жени лицензию на вырезание профилей всех желающих этого граждан, а также разрешение надписывать открытки золотыми чернилами. Нужно было найти точку, место, где новоиспеченный "опытный мастер" мог бы осуществлять контакт с желающими увидеть себя в профиль.

— Ты будешь вырезать их в Аркадии, — решила Светлана.

Женя смастерил плоский ящик, похожий на громадные доски для игры в нарды, прибил к ним ремень и привычно, как будто делал это всегда, закинул свой этюдник-нардые за спину и отправился в Аркадию.

Собственно говоря, Аркадия — это восточная часть Пелопоннеса, отличающаяся счастливой и мирной жизнью, простотой нравов, и воспетая древними греческими поэтами. Древние считали Аркадию пристанищем богов. Поэтому и Женя начал со знакомства с одесскими аркадийскими богами. Они были представлены: Зевсом — хитроватым хилым стариком Ильей Михайловичем, что обслуживал силомеры, Паном — мититейщиком Сашей и... Фемидой — в лице тридцатилетнего парня, неудачно перенесшего полиомиелит. Его звали Павлом. Он взвешивал всех желающих на медицинских весах и измерял рост. И Зевс, и Пан, и Фемида-Павел были мгновенно вырезаны Женей из черной бумаги и приклеены к белому картону. Заканчивая очередной портрет, Женя говорил неизменное:

— Катово.

И, естественно, уже через несколько дней Зевс спрашивал у Пана:

— Женя-Катово на месте?

Боги не только приняли Женю в свою среду, но и сговорились на вечерней заре отметить появление Жени-Катова.

К морю вела аллея, на которую до независимости от пальм высаживали чахлые пальмы. В конце аллеи Женя поставил несколько ящиков, а на них водрузил "нардые", раскрыл их, приготовил бумагу, инструмент, открытки, "золотые" чернила и стал ждать первого клиента. В конце аллеи он устроился потому, что отсюда было видно море, силуэты танкеров на горизонте, веселые катера, пристань, боны, волнорез... Женя машинально взял ярко-синий картон, цветную копирку, сделал первые надрезы брит-

вой, недовольно выстриг что-то ножницами, бросил на картон желтую полоску пляжа, розоватый занавес неба, и вскоре яркое, кирпичного цвета судно-сухогруз легло на синий картон...

Когда Женя поднял голову, то увидел, что окружен плотным кольцом людей в купальниках и плавках. Они о чем-то оживленно переговаривались. Из внутренностей "нард" Женя извлек табличку и показал ее собравшимся. На табличке было написано: "Ваш портрет в профиль — это силуэт! Ваш силуэт — это наш сувенир для вас! Расценки приемлемые. Работает опытный мастер".

— А это... не больно? — спросила маленькая девочка, облизывая мороженое.

Мать девочки положила на "нардые" деньги и спросила мастера, имеет ли право ее дочь во время вырезания лизать мороженое.

— Катово! — сказал через минуту счастливый мастер.

Мать придирчиво рассматривала портрет, затем повернула девочку и как будто первый раз в жизни увидела свою дочь в профиль. Наступила тишина. Пауза была томительной.

— Это она, — наконец признала мать профиль дочери.

— А мороженое? — спросила девочка. — У меня на профиле нет мороженого.

— Вырежьте ей на сдачу мороженое, — сказала мать.

— Два, — сказала девочка.

На вечерней заре, когда солнце скатилось за тополя седьмой станции Большого Фонтана и затоптанные пляжи обнажились от людских тел, в подсобке мититейной собрались боги. Зевс, Фемида-Павел и Женя-Катово ужинали, запивая болгарским вином "Мельник" горячие мититеи. Сам мититейщик Пан, до отвращения за день надышавшись мясными парами, грыз засохший плавленый сырок.

— Тонковат на жилу народ пошел, — говорил Илья Михайлович Зевс. — От раньше рычаги сдвигали — так сдвигали. Я силомер два раза в месяц чинил. А теперь народ пошел с исключительно дамской силой.

— Зато тяжелый, — уточнял Фемида-Павел. — Становятся на весы — только и успевай гири двигать!

— А едят мало, — мрачно констатировал мититейщик Пан. — Раньше я им в день по пятьсот порций скармливал. А теперь... не едят, а кушают.

На Гаванную Женя пришел поздно, раскрыл "нардые" и вытряхнул из дивана ворох денег. Светлана Александровна онемела.

После этого события начались политические и хозяйственные перемены. Была объявлена Независимость. В Аркадии всё стали ломать. Зевс,

Пан и Фемида-Павел сгнули в ее тенетах. Появились бары, платные пляжи и звучные названия ресторанов "Копакабана" и "Эльдорадо". Светлана взялась вести нехитрую бухгалтерию мастера силуэта. Она уволилась из торгового и магазин канцтоваров приказал долго жить, купила раскладной стул и почти весь световой день сидела рядом с Женей в конце аллеи в Аркадии. Женя стал популярным, о нем говорили на пляжах Ланжерона и Отрады, а Светлана не только вела кассу, но и частенько одергивала увлеченного своим делом мастера. Когда он по просьбе клиента оформлял вырезанный профиль парусниками, танкерами, морской волной, Светлана Александровна делала мастеру выговор, потому что за это потерянное время можно было обслужить еще двоих-троих. Однако учебник анатомии и физиологии за седьмой класс, между страниц которого Светлана имела обыкновение класть наличные деньги, запестрел и зелеными купюрами.

У Жени-Катова появился ученик. Правда, его звали Григорий Маркович и он был вдвое старше Жени. Это был очень самолюбивый и не больших способностей человек. Он усердно учился мастерству силуэта, но его профили получались какими-то среднеарифметическими. Не было в них характера человека, настроения. Григорий Маркович любил порассуждать о глубине мысли и нераскрытых возможностях искусства коллажа, силуэта, но когда брался вырезать профиль бездомного аркадийского пса, у него нередко получался худой азиатский поросенок. Но это не мешало ему вести разговоры о создании частной фирмы "Профиль", и он мечтал о ее филиалах в Крыму.

...В те годы в библиотеке я видел много чудаков. Седой математик с орлиным взором Аристотеля и статью юноши пытался доказать периодичность непериодичных дробей. Бывший студент философского факультета работал на пилораме, а в библиотечной курилке рассуждал о происхождении одежды и доказывал, что татаро-монголы одевались плохо, отчего их в Азии заела мошка, и поэтому они пошли походом на Русь. Был еще любитель поэзии. Он настолько любил ее, что, получив в окне выдачи томик Мицкевича, был не в состоянии дойти до читального зала. Он садился на стул в вестибюле и тут же начинал лихорадочно переписывать стихи. Но он переписывал их особенным образом. Сначала он выписывал из всего сборника все первые буквы стихов. Затем все вторые буквы. И так далее. Когда он заканчивал свое увлекательное занятие, то приходил в такое возбуждение, что часто вызывали "скорую помощь".

Но то, что я увидел летним днем в прохладном полупустом читальном зале, меня поразило больше всего.

Возле меня сел за стол худощавый молодой человек в майке-сеточке. Профиль его был удлиннен и в меру скуласт. Руки сильные с неестественно тонкими кистями и пальцами. Из-под рыжеватых густых ресниц в мою сторону на мгновение высветился отчаянно синий взгляд. Мужчина перелистывал избранное Пушкина. Перелистывал то в одну сторону, то в другую. Время от времени кивал, очевидно, одобряя текст. Затем, выхватив из папки ножницы и цветные листочки, принялся лихорадочно кромсать их, вглядываясь в пушкинские строчки, был чем-то недоволен, комкал нарезанные полоски, откладывал их в сторону, принимался кромсать новые... "Да, если он конспектирует Пушкина, то довольно странным способом", — подумал я.

Потом я сталкивался с ним в кабинете искусств, где он просматривал альбомы с репродукциями. Однажды он достал ножницы и, по своему обыкновению, принялся кромсать бумагу, но был тотчас остановлен сотрудницей кабинета. Она решила, что он вырезает репродукции.

Из читального зала я обычно уходил последним, но в этот раз последним был уже знакомый мне мужчина. Он получил из гардероба потрепанный портфель, а когда хотел положить в него папку, она выскользнула у него из рук, и по полу веером разлетелись нарезанные кусочки бумаги. Я помог мужчине собрать его сокровища. Это было нелегким делом: листочки прилипали к мраморному полу, я поддевал их ногтями и складывал на круглый стол. Листочки оказывались то женскими головками, то фигурками с тонкими шпагами. В одном из них я разглядел нечто знакомое и воскликнул:

— Да это Евгений! Из "Медного всадника". Но почему с ним Пугачев?

— А все Пучкин, — ответил мужчина. Он стоял на коленях и рыскал по полу пальцами музыканта.

Мы вышли на улицу Пастера и познакомились.

— Почему все-таки вы занимаетесь таким странным делом? — спросил я. — Вырезать профили... это что-то устаревшее, чистой воды анахронизм.

Он возразил просто, не пытаясь что-либо доказать: если он умеет это делать, значит, делать это надо. Кроме того, Женя сказал, что он не только вырезает профили, но и копирует репродукции разных художников. И мы отправились с ним на Гаванную смотреть его работы.

В комнате был включен телевизор. Светлана — жена Жени — и ученик Григорий Маркович сидели в полутьме. Зажгли свет. Меня поразили гла-

за Светланы: очень темные зрачки, в которых иногда вспыхивал медный отблеск. Она была красива, но фигуру и лицо портила едва заметная опухлость. Меня усадили на диван, и я стал смотреть Женины альбомы. Женя смотрел на меня. Григорий Маркович смотрел телевизор. Светлана на лестничной площадке смотрела, чтобы не пригорел сладкий перец, который она жарила с натертой брынзой.

Трудно рассказать, передать впечатления о копиях мировой живописи в альбомах Жени. Во-первых, он делал копии с репродукций. На свой вкус он покупал тоненькие книжечки репродукций и, полагаясь на интуицию, делал с них коллажи. Рембрандт, Эль Греко и Рубенс получались на коллажах грубовато. Но все-таки впечатление было неотразимым, странным. Как будто ребенок баловался с живописью великих. Но Брейгель, Матисс, Руссо и Пиросмани смотрелись на копиях-коллажах превосходно. Ученик у Жени был. Мне подумалось, что ему нужен учитель.

Утром я зашел за Женей на Гаванную. Точильщик Саша правил Женины ножницы, бритвы. Время от времени он выкрикивал в пространство: "Ожил, змея! Но шницель битвы до поры хочу!". Вместе с выкриками в пространство летели искры. Я с трудом разобрал, что слова точильщика вполне осмысленны. Они означали: "Ножи, лезвия! Ножницы, бритвы, топоры точу!".

Олег Соколов жил тогда на Ольгиевском спуске. Мы поднялись к нему на второй этаж по лестнице, где стоял невообразимый запах морских водорослей, карболки и кошек. В то время Олег благополучно миновал период жизни, когда человек проходит испытание алкоголем. Женя впервые в жизни попал к художнику, да еще в каморку-мастерскую, где не было ни сантиметра без графического этюда и графической фантазии. Но Олег впервые в жизни видел Женины альбомы.

— Вы моряк? — спросил он у Жени.

— Нет.

— А мне показалось, что вы были в Японии. Или, по крайней мере, в Италии. Хотя... я не знаю ни одного человека, который работал бы в вашей манере. Если хотите приходить ко мне — приходите. Будем разговаривать... Но как же мы будем разговаривать, если вы глухой?

Я объяснил. Олег рассматривал альбомные листы, на которых Женя копировал импрессионистов. Затем, прищурившись, перевел взгляд на Женю. Он смотрел на него, как на сумасшедшего: заинтересованно, но с желанием сохранить дистанцию.

— Поразительно! — сказал Олег. — До этого даже я не додумался бы.

Затем он обратился ко мне:

— Нет. Ты представляешь! Он все эти пуантилистские мазки, точки понавыврезал из цветной бумаги, высыпал на картон, и в результате получил "Арльских дам" Ван Гога.

Он прикрыл губы ладонью, чтобы Женя не прочитал по ним слова, и сказал мне, сделав страшные глаза:

— Кого ты ко мне привел? Ведь это же гигант! Ты представляешь, какую бы он сделал мозаику? А колорит? Гигант!

Олег в своих пристрастиях и увлечениях меры не знал. Но я был рад за Женю.

Почти все лето Женя пропадал в мастерской у Олега. Григорию Марковичу это было с руки, так как он все-таки набил руку по вырезанию среднеарифметических профилей. Не знаю, сколько бы это продолжалось, но к Жене стал возвращаться слух. Очевидно, процедуры, назначенные Эльзой Михайловной, сделали свое дело. Но слух к Жене возвращался медленно, и он это скрывал от всех. Кроме врача.

Однажды, в начале сентября, когда бархатный сезон золотисто засветился над Одессой, и на пляжах и на улицах города стало спокойнее без приезжих, улеглась пыль, и даже в середине дня дышалось легко, Женя работал над иллюстрациями к "Одиссее" Гомера. Светлана на лестничной площадке ссорилась с соседкой Антониной. В выражениях они не стеснялись. И Женя слышал все, хотя и не считывал с выразительных губ Светланы Александровны.

— Евроквартиру тебе твой глухой еще не выстриг ножницами? — вопрошала Антонина.

— Ты лучше ответь, что тебе наплавал твой моряк.

— Когда ты своего глухого выгонишь, я тебе отвечу.

Из дальнейшей перепалки Женя узнал, что Светлана не собирается жить с ним вечно, что у нее штурман-любовник, что она совершила с Женей ошибку по молодости лет и жалости.

На следующий день Женя исчез со своими альбомами в неизвестном направлении. Светлана ждала несколько дней. Съездила в Болград. Но там следов Жени не обнаружила. Когда она вернулась из поездки и вошла в свою комнату, то увидела, что многие вещи в ней оказались вырезанными из бумаги. Экран телевизора был из матовой бумаги и подклеен к картону под дерево. Тахта была вырезана из цельного и широкого листа. И гнутые стулья оказались из бумаги — на них было страшно садиться. Картина ее брата, проживающего в Молдавии, висела на стене, вся за-

клеенная радужными денежными купюрами... Григорию Марковичу пришлось вызвать "скорую помощь", потому что он застал Светлану, когда она разрезала картину брата на ровные прямоугольники. Ни на какие вопросы она не реагировала.

Светлане сделали укол и увезли на Слободку в желтый дом. Там она некоторое время утверждала, что Пучкин написал ей три альбома стихов, что какая-то Гильза Михайловна на самом деле шпионка и возвращает слух для того, чтобы выведать у шоферов государственные секреты, и что учебник анатомии и физиологии за седьмой класс написан по ее, Светланиному, организму. Потом она успокоилась, перестала глотать канцелярские скрепки и к весне была выписана. Теперь в аркадийской аллее возле ученика Жени-Катова Григория Марковича сидела очень располневшая женщина. Она часами не двигалась, ничего не говорила, а только рассматривала профили из черной бумаги на сером фоне. "Нарды" по наследству перешли к ученику. И статью о Жене Григорий Маркович подклеил к заголовку газеты "Таймс" и скромно вещал, что о нем, о Григории Марковиче, пишут вот и в заграничной прессе. Если возле него останавливались с пирожками или с мороженым, Григорий Маркович гневался, разводил руками и говорил:

— Зачем вы здесь кушаете? Здесь работает художник. Я могу умереть каждую минуту от ваших пирожков.



Андрей

Андрею не спалось. Он осторожно встал, стараясь не шуметь, подошел к балкону и приоткрыл дверь. Было тихо, как бывает обычно летней ночью. Эту тишину поддерживали и нежный свист сверчка, и шуршащие под слабым дуновением ветра деревья, и тихое посапывание малого в кровати. Скоро зрение привыкло к темноте, и он начал различать стол со скатертью, стулья, ковер на стене. На полу, на надувном матрасе, разметав одеяло и подушку, спала утомившаяся за ночь Надя.

Андрей осторожно открыл предательски скрипнувшую балконную дверь и вышел наружу. Вдохнув свежего пьянящего воздуха, он зажмурил глаза и засмеялся счастливым беззаботным детским смехом. Неожиданно ему пришло в голову, что не грех бы и одеться — не приведи господь, увидят соседи, как он голышом ходит по балкону; но было жаль уходить от этого приветливого шелеста листвы, чистого воздуха, и он просто присел на табурет, накрыв ноги какой-то тряпкой, лежавшей на велосипеде.

Постепенно веселье ушло, но ощущение глубокой тихой радости осталось. Андрей еще раз крепко вздохнул полной грудью и стал смотреть на улицу. Мысли перебегали бездумно с одного предмета на другой, но постепенно приняли общую направленность. Надо в конце концов разобраться, что же такое произошло, почему так резко изменилась жизнь? В последние дни было время подумать об этом, но он гнал от себя эти мысли, опасаясь, что холодная логика заставит изменить принятое решение. Видимо, время пришло только сейчас.

Он с детства не любил насилия. В лет пять за домом он обнаружил Генку с Сашкой, выжигавших горячей пластмассой муравьев. Андрей долго объяснял им, что "муравьям тоже больно". "Мы же краснопузики", — оправдывался Генка. "Они черных обижают, и кровь с людей пьют. Вот Сашку укусили". Сашка спускал носок и показывал красный прыщ на ступне. Но, видимо, все же в его словах было что-то такое, что заставило их устыдиться. "Мы больше их не жгем, — через два дня торжественно объявил Сашка. — Мы расковыряли пластмассу, и они снова построили себе дом".

Потом был случай с раком. Николай Павлович поймал рака и отдал его ребятам. Поскольку Николай Павлович был ни кем иным как его дядей, ребята дали подержать рака Андрею, хотя он был и самый младший. Недолго думая, Андрей подошел к реке и выпустил бедолагу.

клеенная радужными денежными купюрами... Григорию Марковичу пришлось вызвать "скорую помощь", потому что он застал Светлану, когда она разрезала картину брата на ровные прямоугольники. Ни на какие вопросы она не реагировала.

Светлане сделали укол и увезли на Слободку в желтый дом. Там она некоторое время утверждала, что Пучкин написал ей три альбома стихов, что какая-то Гильза Михайловна на самом деле шпионка и возвращает слух для того, чтобы выведать у шоферов государственные секреты, и что учебник анатомии и физиологии за седьмой класс написан по ее, Светланиному, организму. Потом она успокоилась, перестала глотать канцелярские скрепки и к весне была выписана. Теперь в аркадийской аллее возле ученика Жени-Катова Григория Марковича сидела очень располневшая женщина. Она часами не двигалась, ничего не говорила, а только рассматривала профили из черной бумаги на сером фоне. "Нарды" по наследству перешли к ученику. И статью о Жене Григорий Маркович подклеил к заголовку газеты "Таймс" и скромно вещал, что о нем, о Григории Марковиче, пишут вот и в заграничной прессе. Если возле него останавливались с пирожками или с мороженым, Григорий Маркович гневался, разводил руками и говорил:

— Зачем вы здесь кушаете? Здесь работает художник. Я могу умереть каждую минуту от ваших пирожков.



Андрей

Андрею не спалось. Он осторожно встал, стараясь не шуметь, подошел к балкону и приоткрыл дверь. Было тихо, как бывает обычно летней ночью. Эту тишину поддерживали и нежный свист сверчка, и шуршащие под слабым дуновением ветра деревья, и тихое посапывание малого в кровати. Скоро зрение привыкло к темноте, и он начал различать стол со скатертью, стулья, ковер на стене. На полу, на надувном матрасе, разметав одеяло и подушку, спала утомившаяся за ночь Надя.

Андрей осторожно открыл предательски скрипнувшую балконную дверь и вышел наружу. Вдохнув свежего пьянящего воздуха, он зажмурил глаза и засмеялся счастливым беззаботным детским смехом. Неожиданно ему пришло в голову, что не грех бы и одеться — не приведи господь, увидят соседи, как он голышом ходит по балкону; но было жаль уходить от этого приветливого шелеста листвы, чистого воздуха, и он просто присел на табурет, накрыв ноги какой-то тряпкой, лежавшей на велосипеде.

Постепенно веселье ушло, но ощущение глубокой тихой радости осталось. Андрей еще раз крепко вздохнул полной грудью и стал смотреть на улицу. Мысли перебегали бездумно с одного предмета на другой, но постепенно приняли общую направленность. Надо в конце концов разобраться, что же такое произошло, почему так резко изменилась жизнь? В последние дни было время подумать об этом, но он гнал от себя эти мысли, опасаясь, что холодная логика заставит изменить принятое решение. Видимо, время пришло только сейчас.

Он с детства не любил насилия. В лет пять за домом он обнаружил Генку с Сашкой, выжигавших горячей пластмассой муравьев. Андрей долго объяснял им, что "муравьям тоже больно". "Мы же краснопузики", — оправдывался Генка. "Они черных обижают, и кровь с людей пьют. Вот Сашку укусили". Сашка спускал носок и показывал красный прыщ на ступне. Но, видимо, все же в его словах было что-то такое, что заставило их устыдиться. "Мы больше их не жгем, — через два дня торжественно объявил Сашка. — Мы расковыряли пластмассу, и они снова построили себе дом".

Потом был случай с раком. Николай Павлович поймал рака и отдал его ребятам. Поскольку Николай Павлович был ни кем иным как его дядей, ребята дали подержать рака Андрею, хотя он был и самый младший. Недолго думая, Андрей подошел к реке и выпустил бедолагу.

— Ты что, сдурел? — кричал тогда Володька. — Он все равно не выживет, у него лапа перебита.

Остальные говорили что-то в этом роде. Он же упрямо, сквозь душившие его слезы, мотал головой. Выживет или не выживет рак, — в тот момент ему было все равно. Главное, чтобы животное не мучили. Душевное потрясение Андрея было столь велико, что он проплакал всю ночь. Видимо, из-за этого Славик, который был на четыре года старше, рос без отца и был очень самостоятельным, как-то задумчиво сказал ему: "А ведь ты пропадешь". Потом подумал еще немного и добавил: "А может, и нет, потому что батя у тебя капитан".

Да, батя у него был капитан, и это определило выбор, который он сделал. Впрочем, выбора никакого не было. Просто в десятом классе отец позвал его на кухню и осторожно спросил, куда он хочет поступать. Выслушав неопределенные ответы о школе милиции и о Водном, отец кивнул головой и вышел. Через неделю Андрей узнал, что будет поступать в "Вышку".

Наверное, за него просили. Во всяком случае, экзамены он сдал без труда, все-таки полгода занимался с учителем физикой и две недели — математикой. А может — просто повезло, по крайней мере, по физике.

Учиться сначала было тяжело. Оторванный от обычного уклада жизни, он не мог сразу сориентироваться, как найти новую кафедру, как достать книги из библиотеки, если еще нет курсантского билета. Постоянные наряды, и главное, не похожий на школьный принцип обучения тяжким грузом легли на плечи Андрея. Первая сессия прошла неудачно — две двойки из трех экзаменов. По истории он, правда, получил пять, а остальные два досдал через неделю, но Андрей чувствовал себя очень неуверенно. Родители тем временем уехали в далекий Вьетнам, отец пошел вверх по служебной лестнице, а он стал жить с братом, который только что закончил ту же "Вышку".

На втором курсе стало легче. Нарядов было меньше, к системе обучения Андрей привык, как и к собственной свободе. Нашлись и новые друзья (старые отбывали службу в армии), он стал ходить на экипажную дискотеку, пить водку, хотя больше нравились ликеры, — денег хватало. Появились девочки. Впрочем, с первой, Оксаной, он очень быстро расстался, а со второй встречался год. Уже через три месяца она заявила, что у них будет ребенок.

Это повергло его в нестерпимый ужас. Надо было ходить в какие-то консультации, где ее не принимали без матери, терпеть пренебрежитель-

ные взгляды медсестер в больницах. Все это продолжалось месяц. Неожиданно оказалось, что с ней было "все нормально", просто почему-то оказалась большая задержка.

После такой нервотрепки все светлое, что было в его чувстве, мгновенно улетучилось, но они встречались еще восемь долгих месяцев.

Когда мать приехала в отпуск, он был на третьем курсе. Она быстро уловила произошедшую с ним перемену и осталась дома, навещая к отцу лишь два раза в году. Впрочем, Андрей был только рад этому. Он порядком устал, да и об учебе не мешало подумать.

С третьего курса время полетело быстрее. Он и сам не заметил, как промелькнул третий, четвертый, заканчивался пятый. Перед уходом на практику он познакомился с Надей. Впрочем, "познакомился" — немного неверно, знакомы они были и раньше. Андрей давно ходил играть в теннис. В большой теннис. В парке был старый, потрескавшийся, заросший по краям травой асфальтовый корт. Андрей играл здесь с пятого класса. Вряд ли мать, давая ему десять пятьдесят на металлическую ракетку "Корт", подозревала, в какое глубокое увлечение это выльется. Не подозревал этого и сам Андрей. Но вот уже десять лет как он исправно ходил "постучать". Летом здесь собирался коллектив человек в двенадцать, а зимой оставались три-четыре неистовых фаната, в число которых входил и он.

За десять лет можно многого добиться. Андрей не стал лучшим игроком, но не было на корте человека, которого он бы не победил. В светлые минуты вдохновения он мог обыграть любого, впрочем, так же, как и проиграть, когда игра не шла.

Она появилась недавно. Андрей как раз уходил на практику после четвертого курса. Невысокая, с темными волосами, веселыми голубыми глазами, очаровательными ямочками на щеках, Надя понравилась ему сразу. Но своим здоровым крепким телом она ничуть не напоминала нарисованный им себе идеал — худой восковой манекенщицы.

Впрочем, тогда времени думать обо всем этом не было, он быстро ушел на пять месяцев, это был уже приличный срок, и мимолетно промелькнувший образ девушки не оставил в душе никакого следа. Да, пять месяцев — это срок. На практику отводится всего три. Если учесть, что Андрей ушел на два месяца позже, то можно понять, как тяжело пришлось по возвращении. Надо было ходить в деканат, доказывать, что ты сможешь сдать, а ночью сидеть и зубрить то, что остальные давно прошли. Но раз прошли, значит, и дорогу протоптали. На возникшие вопросы у всех всегда был ответ. Ребята подсказывали, к кому лучше идти сдавать

и какие вопросы кто любит. Андрей и сам удивился, когда за две недели он сделал и сдал все пять курсовых. Правда, времени на отдых не оставалось — через десять дней начинались экзамены.

Новый год он встретил с мамой и приехавшим в командировку отцом. Они посидели, выпили шампанского, съели все, что приготовила мама, посмотрели телевизор и легли спать. Скучно, но Андрею понравилось.

Потом четыре дня утомительного переписывания конспектов, и он оказался в том же положении, что и остальные. За одним исключением — он не ходил на лекции, а, следовательно, не мог претендовать на хорошее отношение, но это уже пустяки. Экзамены сдал все и сразу. После последнего — автоматики — Андрей шел и весело напевал Тарантеллу. Было приятно сознавать, что все препятствия позади, и впереди его ждет три недели безмятежного отпуска.

Эти каникулы ознаменовались еще одним событием — женился Василий, старший брат. За этим и отец приезжал — посмотреть невесту. Пока Андрей "грыз гранит науки", молодые подали заявление в ЗАГС и теперь усиленно готовились к свадьбе.

Свадьба ему не понравилась. Было много народу, почти все не знакомые ему сослуживцы брата; Василий плавал вторым помощником на "Коммунисте". Много шумели и пили. Про невесту же Андрей ничего не мог сказать — невысокая, если не сказать маленькая, красивая, закончила Иняз, а что за человек — кто же знает, надо время, чтобы что-то определенное сказать.

Родители были заняты свадьбой, обустройством молодых, и Андрей почувствовал, что ему снова предоставлена некоторая свобода. Впрочем, теперь она особенно была ему и не нужна. Годы "гусарства" прошли, и возвращения в "трясину" он не хотел. Андрей навещал старых друзей, играл в теннис.

В тот день они встали играть вместе случайно. Валера, игравший с Андреем, уже уходил, а остальные почему-то не хотели разбивать свои пары. Андрей стоял секунд тридцать и уже думал, что на сегодня ему ничего не светит, когда неожиданно Надя взяла со скамейки ракетку и вышла на площадку. Ему стало приятно. Захотелось показать себя хорошим игроком, и это ему удалось, он был в ударе. Сама Надя играла не очень, но здорово бегала. Лучше некоторых мужчин и, безусловно, всех женщин. Они выиграли три полусета и разошлись, довольные друг другом. Потом они еще несколько раз становились вместе, правда, результаты были скромнее, но они считались сильной парой. Андрей уже начал было стро-

ить какие-то планы, но, увы, Надя была занята. Один раз за ней пришел парень, и по тому, как он уверенно обнял ее за талию, Андрей понял, что они встречаются давно.

Но нет — так нет, ничего страшного. Шло время. Андрей заканчивал пятый курс, после экзаменов его ждала практика. В ожидании судна он проводил время на пляже, даче и корте...

Но как-то уж так сложилось в то лето, что Надя с Андреем задерживались на корте дольше остальных. Не часто, но бывало. Домой им было по пути. Тогда-то Андрей и узнал, что она живет в общежитии, не очень далеко от его дома. Кроме того, ему стало известно, что она работает закройщиком в ателье. Ателье тоже было совсем рядом с его домом.

Как-то в воскресенье они заигрались до самого обеда.

— Мама, — всполошилась Надя. — А на толчок уже поздно.

— А что тебе надо купить? — поинтересовался Андрей.

— Да не купить, а продать, — Надя открыла сумочку и показала белую женскую рубашку. — Хозяин фиксированную требует, а заказов пока нет.

— Ох, и тяжелое дело. Я не могу заставить себя что-то на толчке продать. Один раз пришлось тельник, так столько страха натерпелся, — признался Андрей.

— Что ты, — улыбнулась Надя. — Я не смогу стоять. Так, по лоткам пройдуся. Может, кто купит.

У Андрея появилась идея.

— А сколько ты хочешь за нее?

— Долларов девять. Можно за восемь, если совсем уж ничего.

— У меня друг на толчке работает. Можно ему показать.

Надя, не колеблясь, достала из сумки рубашку и, положив в кулек, протянула ему:

— Держи.

Он взял, немного подумал и предложил:

— Давай пойдем ко мне, я ему позвоню и сразу тебе скажу ответ.

Она согласилась — время поджимало.

Никакого друга на толчке у Андрея не было. Пока Надя сидела на табуретке в коридоре, Андрей тихо отвел мать в другую комнату и показал рубашку.

— Тебе нравится?

Мать внимательно осмотрела изделие.

— Сколько стоит?

— Девять долларов.

— Беру. Скоро у Веры день рождения, я ей подарю.
(Вера — жена Василия.)

Для вида Андрей позвонил кому-то из друзей и условился о встрече в четыре.

— Ну все, — сказал он Наде, когда они вышли из дома. — В четыре я уже буду более или менее знать, что и как. Как мне тебе сообщить?

— Но он ведь не сразу продаст.

— Может, он сам сразу купит, если вещь ходовая. Давай завтра после обеда?

— А с утра нельзя? Мне деньги надо завтра сдавать.

— Нет, с утра я на дачу. Хотя подожди, — Андрей сделал вид, что его осенила идея, хотя к этому и вела вся его интрига, — я же могу тебе в общагу занести.

Надя заколебалась.

— Может, лучше назначим время?

— Если бы я знал, когда я от Валерки освобожусь!

(Вот это чистейшая правда.)

— Но нас очень трудно найти.

Он задумался.

— Я могу сейчас пойти с тобой и посмотреть.

И она сдалась. Почему-то хотелось верить, что этот парень сможет решить ее проблемы, хотя, честно говоря, какая надежда может быть на то, что продавец с толчка сразу купит вещь, пускай даже хорошую?

Общага была недалеко. И хотя Андрей знал свой район досконально, он действительно не нашел бы ее в этом нагромождении общежитий. Сразу четыре на таком пятачке. Да еще в каждое вход со своей подворотни.

Возвращался Андрей окрыленным. Но пока он дошел домой, здравый смысл взял верх.

— Она ведь встречается, — бубнил на ухо мерзкий голос.

— Ладно, — сдался возле дома Андрей. — Я ведь просто отдам деньги — и все.

В шесть часов он зашел в общежитие и отдал деньги. Ее радости не было границ. Вместе с соседкой, полной девушкой лет тридцати, попили чай и сыграли пару партий в клуб. Домой Андрей пришел грустный.

Прошел месяц. Судна все не было. Надя уехала к родителям во Львов. Один раз мать спросила Андрея:

— А где та девочка, с которой ты приходил как-то с корта?

— А что? — удивился он.

— Просто очень хорошая девочка.

Этот разговор озадачил Андрея. Дело в том, что мать и Надя не сказали друг другу кроме "здравствуйте" ни одного слова. Тем более он призадумался, когда на Верины именины мать подарила ей золотые сережки вместо купленной и неизвестно куда канувшей рубашки.

Под лежащий камень вода не течет. Надя приехала через неделю. К этому времени у него был готов новый план.

— Мне бы пиджачок на свадьбу.

— А что, пора?

— Главное пиджак, а девушек у нас хоть пруд пруди.

Подобрали материю, взяли размеры, и теперь Андрей раз в три дня приходил на примерку. В ателье к нему привыкли, даже здоровались по имени.

Все произошло внезапно. Ру вернулся! Руслан был большим другом Андрея. Он вернулся с практики и сразу позвонил. Договорились встретиться в городе.

— Только давай с мамзелями. Я соскучился по женскому обществу. До пяти я себе чего-нибудь найду, могу и тебе захватить.

Андрей знал, что это не бахвальство — Ру действительно пойдет и найдет себе девушку за два часа.

— Не надо, я думаю, я приду не один. Только давай в шесть.

— ОК.

Он был уверен, что Надя согласится, если только у нее нет срочной работы. Так и случилось. Встретились на площади Победы. Сели в кафе "Снежинка" и стали, по выражению Руслана, "приводить себя в состояние, когда не стыдно показаться в экипаже". С ним была девочка, лет шестнадцати. Тоненькая и стройная, она напоминала Андрею олененка.

Ру был на подъеме, говорил почти все время один, много удачно шутил. В девять часов поехали в экипаж. Надя почти не пила, но Андрей, не смотря на то, что не пропустил ни одной рюмки, не чувствовал никакого хмеля. В десять Надя вышла позвонить; Андрей стоял у будки.

— Нет, Ира, нет, — слабо доносилось до него. — Не надо звонить. Я там больше не бываю.

Последняя фраза насторожила его. Она может обозначать что угодно, и все же...

Одиннадцать. Экипаж. Очередной медленный танец. В зале полумрак, много дыма. Андрей крепче прижал Надю. Не сопротивляется. Тогда медленно, чувствуя, как бешено заколотилось сердце, он наклонился и нашел

ее губы. Надя ответила. За столик они вернулись другими людьми. Ру грустно смотрел на Андрея:

— А моя мадам совсем плоха.

Действительно, девочка не рассчитала сил— у нее их и быть не могло, — свалилась от усталости и алкоголя и сейчас спала на двух стульях, свесив ноги, накрывая чьим-то пиджаком.

— Пошли, поговорим, — потянул Андрея Ру. — Мне ее надо доставить в кубрик, а сам я ее не донесу.

— Зачем она тебе такая?

— Во-первых, она проснется утром. А во-вторых, куда я ее дену?

— Отвези домой.

— Дудки. Сама завтра доедет.

Вдвоем они перенесли безжизненное тело в кубрик Ру.

— Ну что, счастливо вам, — зевая, проговорил хозяин, когда операция была закончена.

— Давай, до встречи.

До вокзала шли пешком. Часто останавливались и целовались. На вокзале сели в тройку, и троллейбус медленно покатил по пустому городу. Едва сев, Надя заснула, склонившись к Андрею на плечо. Он нежно гладил ее руку и касался губами затылка.

Через неделю Андрей ушел в рейс. Получилось долго — семь с половиной месяцев. От бездеятельности и однообразия плавилась мозги. Хотелось выйти на палубу и поковырять на луну. Здесь первый раз в жизни Андрей подрался. Сильно никто никого не побил, но до самого конца не мог отделаться от жгущего чувства стыда.

На седьмом месяце тоска по дому была такой сильной, а замкнутое пространство в сто восемьдесят железных метров так тяготило, что временами ему казалось, что он сходит с ума. Видимо, так и было.

Помогла случайность. Когда он, по обыкновению, после обеда лежал на кровати и думал, что бы почитать, взгляд натолкнулся на нетолстую книжечку в зеленом переплете. Это Евангелие привезли миссионеры из Франции. Андрей нерешительно открыл ее. Первую главу читать не стоило. Итак: "Когда же Иисус родился во Вифлеме"...

Он прочитал запоем "Святое благовествование от Матфея" за четыре дня. Дальше пошло чуть тяжелее, события повторялись, но за три недели он одолел все книги "Нового завета". Чувство, которое он после этого долго испытывал, можно сравнить с чувством глубокой радости и умиротворения. Ему казалось диким, что он мог ударить другого человека и вооб-

ще желать другому зла. Ведь действительно, нет в мире больше истины, чем "возлюби ближнего своего". Пусть бога нет, но какая глубокая истина в этих немудреных заповедях, в этой глубокой вере в торжество добра. Правда, через неделю злые мысли снова начали посещать Андрея, но он старался гнать их от себя.

Последние две недели перед сменой были особенно тяжелыми — потому, что точно никто не знал, будет она или нет. Андрей нервничал, и даже поругался с боцманом. Это событие снова повергло его в уныние, и он даже мысленно перед ним извинился, хотя, если честно, то неправым Андрей себя не считал.

Но все в жизни заканчивается. Когда Андрей приехал домой, мать очень хорошо отзывалась о Наде: "Молодец, сама себе дорогу пробивает и никогда не унывает". Еле дождался шести часов. Когда он громко постучал в ее комнату, и Надя открыла дверь, то от волнения он вздохнул и не сразу смог выдохнуть. Андрей замер на пороге, забыв, что нужно войти, позабыв обо всем на свете. Надя сама порывисто подбежала к нему и крепко обняла. "Наконец-то". Этим единственным словом она выразила все долгие томительные дни ожидания, когда некуда себя деть, и бес- сильно сами собой опускаются руки.

За семь месяцев Андрей пропустил ни много, ни мало, а госэкзамены и защиту диплома. Пришлось сильно навестывать. Но в конце июня он сдал госы, а второго июля прошла защита. Он снова был свободный человек. Но, правда, это была не та свобода. Раньше он неразрывно был связан с училищем, которое уже гордо именовалось академией, — после определенного промежутка времени надо было снова возвращаться к учебе; теперь же ему предстояло рвать эти связи и налаживать новые.

Пока готовился диплом, Андрей каждое утро шел в академию, сдавал книги в библиотеку, форму на склад, подписывал бегунок. После обеда заходил к друзьям или домой, вечером к Наде. Родители купили новую квартиру специально для него. Это тоже было очень к стати.

Однажды ночью Андрей неожиданно для себя спросил Надю: "Тебя не тяготит наше неопределенное положение?". Надя подняла голову от подушки и положила руку ему на грудь: "Как сказать... Лучше, конечно, ждать мужа, чем парня".

Андрей решил поговорить с родителями. Он думал, что они попросят подождать полгода, пока он устроится на работу, может, сходит в первый рейс, но мамин ответ ошеломил его: "Конечно, давайте. Давно пора". Отец был не менее категоричен: "Чем скорее, тем лучше. Надо, чтобы ты

женился, пока не взяли на работу, а то потом будет некогда". Так неожиданно все и завертелось. Через неделю они подали заявление. Ждать надо было месяц. Отец уехал к себе, мать с братом были заняты ремонтом, и свадьбу пришлось готовить им вдвоем.

Сперва Андрей быстро, в какие-то два дня, рассчитался с училищем. Потом надо было искать платье, помещение, транспорт, фотографа, тамаду, кинокамеру, заказывать торт, цветы, писать приглашения... Некоторые вопросы решались легко, как, например, с фотографом и кинооператором, некоторые потребовали хороших усилий. Особенно трудно было найти зал и платье.

Месяц пролетел хлопотно — незаметно. Последний день был самый напряженный. Неожиданно возникла проблема с микроавтобусом, водителя грозили забрать возить какое-то начальство, и он до самого вечера не был уверен, сможет приехать или нет. Так же внезапно отказалась стричь парикмахер, причину отказа так и не поняли, и, наконец, надо было возить продукты повару. Ложась спать, Андрей не мог отделаться от томно-сладкого, и, в то же время, пугающего ощущения, что завтра что-то в его жизни круто изменится. Он лег один — Надя подгоняла платье. На кухне родители готовили пирожки.

День начался неудачно — то ли они что-то недоговорили, то ли бабка дурная попалась, но она испуганно вертела головой от Андрея к Наде и приговаривала: "А что вы сказали? Ничего вы не сказали. Придете — не придете, а мне цветы рвать". Подходящих же на базаре для букета невесты не было. "Пошли пока стричься", — предложил Андрей. Через полчаса, пока она сидела в кресле, Андрей вернулся и начал выбирать сам. Мямлить он не любил, поэтому за неимением желтых роз купил большой красный букет. "Невесте очень понравится", — уверяла продавщица, заворачивая букет.

Но букет невесте не понравился. Может, дело было и не в нем, но, посмотрев на громадный ярко-красный шар в его руке, она быстро отвернулась и вдруг зарыдала. Андрей первый раз видел, как Надя плакала, и растерялся, но быстро нашелся и прижал девушку к себе. Решили, что он съездит на Соборку и купит новый. Всю дорогу в машине Андрей раздумывал, как непредсказуемы женщины. Сам же он, по выражению парикмахера, был спокоен, "как удав".

А дальше все прошло как по маслу. Все приехали вовремя, на церемонии почти не ждали. За столом было очень весело. Может, оттого что было мало народа, и почти все — молодежь. К двенадцати начали разъезжаться. Они так устали, что брачной ночи у них не было.

Через неделю Андрей пошел в пароходство. Оформление тянулось долго, почти полтора месяца, но он и не торопился. Наконец он сдал все экзамены, подписал все бумаги и получил зеленое удостоверение. Теперь надо было ждать судна. Оно появилось через месяц. Один из старых отцовских друзей взял его к себе.

Первое время было очень тяжело. Он многого не умел. По ночам снились кошмары. Несколько раз Андрей просыпался и не понимал, где он, что с ним, почему он спит на вахте, и куда идет судно? Через три месяца это ушло. Он научился главному — глядя на радар, в картинку с десятью целями, различать опасные и возможные варианты отворотов без угрожающего сближения с другими судами.

Рейс на этот раз затянулся еще больше. Когда минул восьмой месяц, Андрей опять почувствовал, что больше он не может. По утрам долго лежал в кровати, с тоской глядя на минутную стрелку, ожидая, когда придет время идти на вахту. Появились странности. Один раз он ушел с мостика, захватив с собой журнал. Другой раз долго пытался открыть капитанскую каюту своим ключом. По вечерам опять хотелось быть волком. Вместо этого Андрей ходил и тихо напевал "Вьется в тесной печурке огонь", "Ой, цветет калина". Народ пил беспробудно, поговорить фактически было не с кем. В поисках занятий он опустошил судовую библиотеку, ходил в бассейн, спортзал. Но это уже слабо помогало. Положение осложнилось тем, что Надя была беременна на девятом месяце, и Андрей непременно хотел успеть домой до родов.

Однажды, перебирая вещи в своей сумке, Андрей увидел книгу в красной обложке, широкого формата. Он попытался вспомнить, что это за книга и откуда, но не смог. Лишь когда достал и прочитал название "Роза Мира", вспомнил.

За день до отхода к нему пришел Валера. Он ушел одним из первых и уже успел вернуться. Большими друзьями они не были, но относились друг к другу хорошо. Валера был большим искателем, интересовался буддизмом, мусульманством, христианством. С его подачи Андрей прочитал книгу о дзен-буддизме. Книга ему понравилась, хотя просто как познавательная.

— Уходишь? — спросил Валера. Андрей как раз собирал сумку.

— Да.

Они сели пить чай, мельком поглядывая телевизор. Там шло какое-то интервью.

— А вы верите в Бога? — спросил диктор толстяка в очках.

Отвечающий поднял глаза:

— Да. Во что-то высшее, управляющее всеми законами, я верю.

— Вот чувшь, — рассердился Валерка. — Не может прямо сказать: "Я верю в Бога". Нет, надо ему как-то так, что, дескать, верю, но не в того, что вам старушки рассказывают, а в высший, научный разум.

— А ты веришь? — Андрей внимательно смотрел Валерке в лицо.

Тот выдержал взгляд:

— Да.

Это короткое "да" сказало Андрею много. Неожиданно он рассказал, как в рейсе читал Евангелие, какой след оставила эта книга. Валера слушал внимательно, не перебивая. Под конец рассказа он вышел в коридор, вернулся со своей сумкой, достал из нее две книги и протянул Андрею:

— На, читай. Другому не дал бы, а тебе надо.

Первую книгу Моуди "Жизнь после смерти" Андрей прочитал сразу, до отъезда. Впечатление было потрясающее. Идея существования Бога вошла в его сознание. Если бы у него было время подумать, то неизвестно, до каких глубин он бы дошел. Этому помешал отъезд и рейс. Вторая книга лежала теперь перед ним.

С трепетом от предчувствия избавления от скуки на несколько дней раскрыл Андрей "Розу Мира".

Первые двадцать страниц показались ему неинтересными. Лишь отсутствие какого-либо занятия да Валеркин авторитет заставили его продолжать. Но дальше! Книга поработила его. Андрей забыл про сон, про еду, про работу, рейс. Все то, что тихо, подобно маленькому ручейку, пробивало себе дорогу в его мировоззрении, вдруг хлынуло рекой, прорвавшей плотину. Да, так и только так может быть. Разбросанные в беспорядке кусочки мозаики вдруг сложились в единую прекрасную картину мира. Андрей чувствовал, что в нем происходят процессы необратимые и глубокие, удивлялся, как другие этого не замечают.

А другие действительно ничего не замечали. Только Серега второй как-то заметил: "Что-то ты все время улыбаешься. Пожалуй, тебе домой пора".

"Глупый, — думал Андрей, — ты и не знаешь, что есть на свете "Роза Мира", что ты живешь среди даймонов и ангелов, игв и демонов".

Но прошло несколько дней — и ему опять захотелось домой, опять брошенное кем-то неосторожное слово будило в нем вспышки ненависти. И тут Андрей начал понимать смысл изречения, прочитанного когда-то в книге о дзен-буддизме: "Для просветленного горы перестают быть горами, реки реками, камни камнями. Но проходит немного времени, и горы

опять становятся горами, а камни камнями". "А я даже не просветленный", — думал он.

Прошло две недели. Пришла телеграмма — Надя родила сына. Спрашивали, согласен ли назвать Владимиром. Он не возражал. По такому случаю был большой стол, пили много водки. Андрей держался и сильно не пил. Вообще, большой радости он не чувствовал.

"Смена". Это слово тихо вылетело из радиорубки, поднялось на мостик, понеслось, разливаясь вширь по каютам, и докатилось до подвала. Родовались все, даже те, кто не хотел ее и говорил, что "работать нужно, пока работается".

Дома отдыха не получилось. Маленький трехмесячный комок требовал кормления, гуляния, зарядок, прививок, в общем, всего того, чем так наполнена жизнь малышей. Андрей, накопивший большой потенциал физических сил, но уставший психически, тем не менее, с радостью окунулся в заботы. На время он забыл о Розе Мира и обо всем светлом, что вошло в него с этой книгой. Но однажды раздался телефонный звонок.

— Привет, — Валера, как всегда, излучал оптимизм. — Как дела?

— Хорошо, — обрадовался Андрей.

Договорились встретиться возле дома в кафе. Андрей взял с собой книги.

— Ну как? — поинтересовался Валера.

Андрей собрался с духом и неожиданно разразился целой речью о том, что он пережил после прочтения "Розы Мира".

— Ого, — только и сказал Валера. — Мне, пожалуй, и учить-то тебя нечему. Сам кого хочешь можешь заразить своей верой.

— Ну почему? — смутился Андрей. — Ты ведь тоже веришь.

— Верю. Да только меня не тянет выйти на улицу и проповедовать первому встречному. Вот в чем дело.

Андрей был вынужден согласиться, что Валера прав. Мысли, бурлившие в голове, прорывались через край. Ему действительно хотелось выйти на площадь и кричать: "Люди, послушайте...". "Какой, человек, — показалось, скажет ему уверовавшая толпа. — Да это посланник Божий". Он тут же смутился и покраснел, как будто кто-то мог подслушать эти мысли.

Они поговорили еще полчаса, уже о своих житейских делах и проблемах.

— Пока, — сказал на прощанье Валера. Потом посмотрел внимательно, хотел что-то добавить, но не решился.

Эта встреча всколыхнула сознание Андрея. Ему казалось, что он что-то должен непременно сделать, куда-то идти, что-то рассказать. Но что?

Рассказывать кому? Два последующих дня он был задумчив и не в меру рассеян. Ложась спать вечером во вторник, он решил, что должен непременно бросить плавать и стать учителем, рассказывая детям о близком приходе Розы Мира и обо всем, что с этим связано. Но в глубине сознания слабо стучала мысль, что для этого нужно еще пять лет учиться, а даже если не учиться, то все равно на пути встретятся препятствия, которые он не сможет преодолеть, потому что нет в нем истинной одержимости, которая ломает все. Нет твердой уверенности, что именно этот путь и никакой другой предназначен для него. А семья? И, в конце концов, есть ли у него талант воспитывать детей?

Ночью он неожиданно проснулся. Светящийся циферблат часов показывал два десять. Было очень темно. Нади он не видел, лишь слышал ее ровное тихое дыхание рядом. Неожиданно он сел. Новая мысль озарила его. Теперь он знает, что делать.

Андрей тихо встал, взял небольшой рюкзак, с которым они ходили на базар, и начал собирать вещи. Так, пару смен белья, старое теплое одеяло, свитер, кепку. Теперь на кухню. Раскладной нож, несколько яблок, груш, бутылку воды. Все. Нет, на всякий случай паспорт и немного денег. Теперь все. Если что не взял, то это уже неважно.

Он шагал по ночному городу, и на душе у него было легко и весело. Да, он пойдет по стране. Может, месяц, может, два. Сколько выдержит. На примере узнает, как живут люди, приобщится к вере. Он не заметил, как дошел до поля, где заканчивалась восточная часть города. Здесь, за стеклянными дверями НИИ, он посмотрел на красные цифры часов: четыре десять. Андрей умышленно пошел вправо, по границе города и поля. Если так идти, то часа через полтора будет школа-интернат, а возле нее есть телефоны. Школа стояла с краю частного сектора, но как бы внутри пяти больших новых дач. Их хозяева, а точнее, их псы, следили, чтобы местные хулиганы не ломали телефоны, и Андрей частенько пользовался этими телефонами, когда ходил с ребятами на поле.

Он позвонил домой, когда начинался рассвет, и багровое зарево уже заливало нижнюю половину небосклона. Сказав что-то маловразумительное ничего не понимающей со сна Наде, он быстро повесил трубку. Потом вздохнул и уверенно зашагал к солнцу, прочь от города.

Андрей бродил уже три недели. Он узнал это сегодня у церкви. Какая-то бабка, не в меру словоохотливая, сказала другой, что сегодня "четыре-надесятое, год как умерла Валерия". Он сильно изменился — щетина делалась жесткой и начинала становиться настоящей бородой. Волосы спе-

реди сильно отросли и падали на глаза, мешая видеть. Кожа на щеках начала шелушиться, то ли от ветра, то ли от недостатка витаминов.

Подавали ему мало, впрочем, он сильно и не усердствовал — еще стеснялся. Старался избегать городов — там могли взять как бомжа, либо побить нищие. Кроме того, в деревне больше садов и полей, где всегда можно чем-то поживиться. Самым надежным было просить дачников и курортников — они давали, чтобы поскорее отвязаться и не портить себе выходные. Мылся он в речках, возле поливных кранов пустующих дачных участков; там же стирался.

Очень тяжело было первую неделю. Рюкзак украли на третий день, и он остался ни с чем. Лишь гордость и упрямство, а может, и еще что-то, что он сам толком не понимал, удерживали его от того, чтобы бросить все и вернуться. Потом стало легче. Душа немного очерствела и как бы покрылась коркой, сделавшись нечувствительной к брани и хамству. Некоторые встречи вспоминал с юмором, хотя смешного было мало. Особенно вспоминалась одна, четыре дня назад. Он решил срезать лесом, заблудился, проплутал больше суток, и все это время почти ничего не ел. Ночь была холодной, и он очень плохо спал. Утром им овладело отчаяние, идти уже не мог, впрочем, скорее не по слабости, а из-за уныния. Но когда взошло солнце, приграв застывшие конечности, Андрей как-то незаметно успокоился, поднялся и пошел, как говорится, куда глаза глядят. Часа через четыре он начал выбиваться из сил, к тому же все сильнее давал знать о себе голод. Но Андрей продолжал упрямо идти, хотя понимал, что лучше все-таки остановиться и передохнуть. Но его пугало это бездействие, когда остаешься один на один с лесом, и когда он начинает окружать тебя шорохами и потрескиваниями.

Неожиданно деревья расступились, и он вышел на поляну. Небольшая круглая полянка, какие ему уже попадались, — но в центре этой стоял большой красный джип, заляпанный грязью. Возле него сустились несколько крепких коротко стриженных ребят. Андрей, не помня себя от радости, поспешил к ним. Когда он был уже в двух шагах от машины, они заметили его. Под недружелюбными взглядами Андрей остановился и вдруг заметил, что ребята клали в машину автоматы, а в руках у крайнего слева — пистолет с глушителем. И этот крайний, в зеленом спортивном костюме, казалось, смотрит на него и думает, что надо бы этого свидетеля...

Странно, но это не испугало его. Им неожиданно овладело какое-то безразличие к своей судьбе. "Дайте пожрать", — неожиданно для себя сказал Андрей. Ребята заколебались. Наконец тот, что стоял справа, в штанах цвета

хаки, быстро повернулся и пошел к машине. Он вернулся с большим куском колбасы и ломтем белого хлеба. После прочтения "Розы Мира" Андрей хотел и пытался стать вегетарианцем, но сейчас эти двести грамм сырокопченой колбасы показались ему божественным нектаром. "Держи", — парень в хаки протянул Андрею стакан, до половины заполненный белой мутной жидкостью. Теплая водка обожгла горло, дошла до желудка и почти мгновенно заструилась по жилам в виде охватывающего все тело тепла и слабости.

Когда он закончил с колбасой, ребята уже сидели в машине. Зашумел двигатель, джип рывком тронулся с места и, набирая скорость, скрылся среди деревьев. Андрей было рванулся остановить их и спросить дорогу, но сообразил, что легко выйдет по следам, лег под молодым дубом и уснул.

После этой встречи он, непонятно почему, сильно воспрянул духом. Может, потому, что сделал вывод: "Ни один волос не упадет с головы вашей без Божьего ведома". Но сегодня ему снова было тяжело. Прошлой ночью был дождь, и он два часа шел промокший, пока не нашел укрытия. Сейчас Андрей чувствовал, что он простыл, и если сегодня не переночует в теплом месте, то может серьезно заболеть. "Нет, пора домой, — внезапно решил он. — Завтра начну пробираться в родную сторону". От этой мысли стало теплее, и Андрей веселее зашагал по дороге.

На небе уже поднималась луна, когда он вошел в деревню. Село было небольшим, домов в тридцать, но какое это, в сущности, имело значение? Увы, он прошел десять домов, и везде его ждало разочарование — никто не желал пускать в дом бродягу, пускай и верующего. В одиннадцатом доме долго не открывали. Собака уже начала хрипеть, когда сердитый мужской голос крикнул:

— Кто?

— Пустите богомольца переночевать, — жалостливо начал Андрей. — Больной совсем...

— Проваливай, — лениво ответил голос. Потом добавил уже кому-то рядом: — Богомolec, видишь, объявился.

— Давай отседа, — закричал он опять Андрею, — Не то псину спущу.

Хлопнула дверь. Андрей, обессиленный, присел под забором. Из глаз потекли слезы. "Сволочи, — пробормотал он. — Ведь можно так и подохнуть, а никто и не пошевелится". Через несколько минут замолкла уставшая собака. Андреем овладела апатия. Он как бы спал, и в то же время понимал, где он и что с ним.

Неожиданно скрипнула калитка. "Тихо, ты", — прикрикнул кто-то заворчавшему псу. Затем добавил: "Странник, ты здесь еще?".

"Голос женский", — мелькнула мысль.

— Здесь я, — слабо ответил он.

При свете луны Андрей увидел, как над ним склонилось сморщенное старушечье лицо.

— Пойдем, — тихо сказала старуха.

Пес несколько раз тявкнул, но она снова цыкнула, и он замолчал. По выложенной камнем тропинке они дошли до небольшого каменного сарая.

— Заходи, — толкнула противно заскрипевшую дверь бабка.

Проход был низкий, и Андрею пришлось сильно пригнуться, чтобы зайти. Старушка зажгла лампу и села на лавку.

— Ешь, — кивнула она на стол, где стояли две тарелки с огромными пирожками и маленькими голубцами.

Андрей сел и живо набросился на яства. Через минут десять он, довольный, смотрел на остатки пищи, приятно сознавая, что не сможет съесть уже ни кусочка. Бабка ушла и вернулась со стаканом крепкого чая в подстаканнике, какие дают в поездах.

Вместе с чаем Андрею удалось вместить в себя еще один пирожок с творогом. После этого он устало откинулся на стенку, с благодарностью глядя на старуху.

— Ты и вправду богомolec, аль так сказал? — строго спросила старуха.

— Правда, — кивнул Андрей.

— Из новых, что ль, бабтихстов?

— Чего? — обиделся Андрей. — Из православных я.

(Он не был даже крещен.)

— Господи, и развелось же мерзости, — перекрестилась старуха. — И куда направляешься, богомolec?

— А уже домой, — вздохнул Андрей. — Погулял я, бабушка, пора и домой.

— И много храмов божьих посетил?

— Много, да не все церкви храм.

Бабка покачала головой, видимо, осуждая его последние слова.

Помолчали. Почувствовав, что должен смягчить тяжесть последних слов, Андрей задумался, вспоминая все, что увидел в последнее время.

— В Медвежьем церковь хорошая, — тихо ответил он.

Глаза у старухи потеплели.

— Верно. Я сама в Медвежье все прошу Васю ездить. А он — далеко, далеко. А все равно, хоть раз в месяц, а бываем. Отец Василий всегда такой спокойный, хоть и строгий. Кажется, каждый день ходила бы его слушать.

Глаза старухи увлажнились.

— Слава Христу Спасителю, — быстро перекрестилась она. И вдруг заплакала. — Спасибо, Господи, что не оставил рабу твою.

Она еще несколько раз всхлипнула и успокоилась.

— Ведь как церковь в Ильичах восстановили, так Марфа мне и говорит, — объясняла она Андрею, — что, дескать, вера воскресает. А я ей говорю: "Нет, говорю, посмотри, кто сейчас из верующих остался? Мы с тобой да дед Пантелей. Молодые сейчас в иноземную веру ударились". Как у Нади дочка из города приехала и говорит: "Я верующая, но бабтихстка". Тыфу, мерзость какая. А сейчас, видно, сам Господь направил тебя, сердешный, ко мне, дабы могла я от безверия прозреть. Ведь сколько лет мне было, как последний богомолец в ворота к нам стучался? Мать покойница жива была еще.

Старуха снова заплакала.

Утром с первыми петухами она выводила его к калитке.

— Прощай, сердешный, — прижала она его голову к груди трясущимися старческими руками. — Прости, коль что не так, поминай Степаниду в своих молитвах.

— Спасибо, — только и сказал Андрей и, чувствуя, что надо сказать что-то еще, быстро добавил:

— Благослови тебя Господь.

А потом повернулся и быстрым шагом пошел через село. На душе было легко и весело.

Он смутно сознавал, что эта вчерашняя встреча не случайная, и ради этой несчастной заброшенной старухи, может, и было задумано это его богомолье. Сердце начинало биться быстрее, когда думал он о том, что скоро увидит Надю и услышит захлебывающийся смех малого. Всю дорогу у него в душе звучала музыка, которую помнил еще с детства, и которая, как он недавно узнал, была восьмой частью последнего произведения великого Моцарта.

К вечеру Андрей пришел на автобусную станцию в село Лучистое. Его автобус уходил через час. За этот час он купил бритву и в кустах у лужи с большим трудом сбрил бороду. Потом позвонил домой.

— Я слушаю, — услышал он Надин голос после третьего гудка.

— Это я, — тихо сказал он. — Буду сегодня, часов через пять.

— Хорошо, — ему показалось, что ее голос дрогнул.

Всю дорогу он мучительно подбирал слова, какими сможет объяснить Наде все, что заставило его вдруг сорваться в это непредвиденное путешествие. В конце концов, он плюнул и попытался думать о другом, но не смог, и через несколько минут уже снова спорил и доказывал.

Домой Андрей приехал, когда стемнело. Родной звонок отозвался целой серенадой в его душе. Надя открыла дверь почти мгновенно. Как и год назад, он забыл зайти, и она сама подошла и прижалась к его изрезанной щеке.

— Ты не сердись? — спрашивал он через два часа, когда она, лежа у него на груди, осторожно проводила пальцем линии на его животе.

— Сердятся — это когда чашку разбил, — тихо сказала Надя.

Андрей едва не заплакал.

— Я, честно говоря, была не в себе некоторое время. Я ведь ничего и придумать не могла, ты мне толком ничего не объяснил. Хорошо, что Валера зашел на третий день, глаза мне открыл. "Он, — говорит, — грехи наши пошел замаливать". Потом рассказал, что он испытал, когда в первый раз "Розу Мира" прочел. Я, кстати, ее сейчас читаю. Потом ходил каждый день, успокаивал меня, ведь больше никто не знает, мне и поделиться не с кем. Мать через день звонила, я устала придумывать, где ты. А Валере позвони завтра, а то он в рейс из-за тебя не пошел. Все хочет поговорить с тобой. Он о тебе так лестно отзывался, что мне уже самой начало казаться, что все так и должно было быть.

— Не сердись, — еще раз тихо сказал Андрей.

— Ты только скажи, ты еще будешь уходить?

— Нет, — погладил он ее по голове. — Не знаю, что еще точно я сделаю, но думаю, что ничего особенного. Для просветленного горы остались горами, а камни камнями.

И сейчас, сидя на балконе, Андрей радостно смотрел на звезды и думал, что вот так, постепенно, с самого детства, незаметно для себя шел он выше и выше, вверх по склону холма, чтобы сейчас наступить на первую ступень, ведущую в небо, и отсюда начать свое долгое восхождение.

Танец на разбитых черепках

Многие события, отраженные в этом рассказе, не являются художественным вымыслом, в отличие от имен и фамилий.

* * *

"И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий... он был слишком неопределенно грустен, и сие было для него всего мучительнее..."

Прочитав эту фразу, Василий задумался. Он проштудировал уже половину книги, но споткнулся именно на этих словах. Наверное потому, что сегодня ему тоже грустно и тяжело. Достоевский всегда заставлял его думать. А еще чувствовать себя идиотом. Правда, не таким, как князь Мышкин, а самым что ни на есть настоящим идиотом.

— Куда ни глянь, все непонятно. Ну, к примеру, зачем человек существует и для чего ему разум? Тут какая-то недоработка Творца: разум должен быть у бессмертных. Смертным, для их же собственного спокойствия, он не нужен, им необходимы только рефлексy.

Василий поморщился. Разболелся зуб.

— Если бы сегодня пошел на склоны собирать мусор, может быть, и не разнылся, проклятый!

Двадцатипятилетний Василий Нерасторопный был длинным, худосочным и бледнолицым. Любил торты с кремом, малосольную тюльку и крашенных блондинок. Последние десять лет жил в коммунальной квартире, в шестнадцатиметровой комнатке (доставшейся по наследству от покойной бабушки) и работал мастером по ремонту лифтов. Такая жизнь ему порядком осточертела, вот он и записался в школу оккультных наук. Кроме него там было еще человек пятьдесят разного возраста и вероисповедания. Но объединяла всех одна цель — обретение смысла своего существования. Учитель, Петр Мавродиевич Беспородный, не торопился посвящать желторотиков в устройство мироздания. Он лечил их от безделья и тревоги трудом. И главная его фишка — уборка территорий. Польза от этого дела, несомненно, была. Прежде всего, службам, отвечающим за чистоту и порядок побережья. Правда, работники этих подразделений и не подозревали, что каждое утро перед восходом солнца многочисленная группа людей собирает скопившийся за день на склонах и берегу мо-

ря мусор. Не знали они и о том, что уборка производится в сугубо магических целях (иначе, наверняка, сами бы захотели воспользоваться открывающимися неограниченными возможностями). По теории Беспородного, люди, бросающие мусор на землю, а не в специально поставленный контейнер, не дорабатывают свое жизненное время, теряют его. Если же бумажки, кульки и объедки собрать, произнести над всем этим некие заклинания, можно недоработанное, неиспользованное время... забрать себе. Кроме того, после ковыряния в помойке можно и здоровье поправить. Правда, последнее всегда вызывало у Василия сомнения. Почему же тогда бомжи, постоянно роющиеся в мусорниках, такие больные и несчастные? Учитель объяснял это тем, что бомжи не знают необходимых заклинаний. И обещал открыть особенно талантливым ученикам эти волшебные слова. На лекциях он учил их составлять гороскопы, рассказывал о пришельцах из космоса. Легенда о космических братьях завораживала. Оказывается, давным-давно с созвездия Больших Псов прибыл на нашу планету космический десант, состоящий из шести рас — красной, черной, голубой, желтой, белой и коричневой. А в это время по матушке-земле бегали, ни о чем не подозревая, приматы, которым было совсем не до интеллекта. Они жили согласно своим инстинктам, и, видимо, были очень довольны этим. Но существа со звезд решили осчастливить животных, наделив их разумом. Как происходил этот "эксперимент вселенского масштаба", Беспородный не знал. Говорил — или лабораторным путем, или естественным, то есть половым. Но с этого времени началась эволюция в сознании приматов. А особенно продвинутые особи стали проводниками далеких миров. Беспородный был именно таким. Говорил, что выходит на связь с созвездием Больших Псов, может погасить любое отрицательное поле, устранить болезни, а также наладить всем нуждающимся быт. А желающих было много. Вот люди и потянулись к нему. Стали дарить украшения в знак особого уважения и почитания. Носили всевозможные вкусности — конфеты, шампанское, вина, не говоря уже об обычной еде. Ведь проводника надо кормить и поить, иначе он не сможет вещать от имени звездных братьев. Кстати, к вину он относился с большим уважением. Говорил, что человек, который его не пьет, нечистый, имеет дурные мысли, а посредством божественной жидкости они проявляются.

Свои уроки Беспородный частенько проводил на море, заставляя учеников раздеваться догола и нырять в воду, даже если на улице несколько градусов выше нуля. Говорил, для здоровья полезно. А еще он устраивал на берегу моря ночные праздники. В такие дни вина выпива-

лось немало. А в состоянии опьянения люди должны были "выпустить себя", то есть танцевать, делиться своими проблемами и даже заниматься под кустами любовью. В общем, делать то, чего им не хватало в повседневной серой жизни.

И все же он не торопился открывать свои козырные карты. По крайней мере, всем. По его мнению, прежде чем получить ключи ко всем замкам истины, ученикам следует освоить семь священных профессий. Это поэт, музыкант, астролог, маг, воин, учитель и... кузнец. Но и тут у Василия возникали сомнения. Он понимал: если шесть профессий, при усердии, освоить можно, то с последней возникают сложности: где взять молот и наковальню? Петр Мавродиевич утешал его тем, что, дескать, где шесть, там и семь.

Сегодня мастер по ремонту лифтов решил освоить первую, то есть стать поэтом. Сев поудобнее в кресле и скрестив по-турецки ноги, он закрыл глаза, настроился на свое внутреннее состояние и... рифмы посыпались: "...Расслабляется каждый как может, кто-то стукнет кого-то по роже, кто-то песню унылую сложит, или выпьет сто грамм коньяка..."

— Фу, ты! Что за гадость получается — удивился Василий.

Снова заныл зуб. Вспомнив о бутылке коньяка, одиноко стоявшей вот уже пять месяцев в буфете, парень подскочил, как ужаленный.

— Это спасет от зубной боли!

Налив себе рюмку, он понюхал содержимое, вздохнул и выпил. По телу разлилась приятная теплота. Зубная боль немного притупилась. А вот рифма обострилась: "Ветром в поле гремят чьи-то кости, кто-то ходит намеренно в гости, кто-то видит в поломанной трости полный смысла буддистский бамбук..."

Василий разозлился: "Это что же получается? Я не могу даже стихов нормальных сочинить? Почему у других стихи словно сладкая вата на палочке, есть так и хочется? А у меня какая-то "хрень" выходит? Впрочем, сейчас бы не ваты сладкой, а хрустящего огурчика, картошечки бы вареной, "синеньких" с чесночком, колбаски бы домашней или... ах, да! Тюлечки..."

У парня от этих мыслей потекли слюнки. Он изо всех сил пытался вытеснить из воображения стол, который уже нарисовал, но стол не вытеснялся. А нужно было, и поскорей. Ведь учение Петра Мавродиевича мало того что запрещало учиться в институте, смотреть телевизор, слушать радио, оно еще не позволяло есть картофель, помидоры, баклажаны, пить

кофе и курить. Ну с первым, то есть с учебой в институте, у Василия сомнений не возникало. Он и не стремился получить высшее образование. Да и способностей к обучению не было. Радио он тоже не слушал, а вот телевизор... еда... сигареты... Здесь приходилось туго. Но парень крепился. До сегодняшнего дня.

— Что-то я пошел вразнос — пробормотал он, наливая очередную порцайку горячительного.

Василий вспомнил, что на шкафу у него сигаретная заначка. Плюнув на все запреты, он достал оттуда мятую сигаретину, крикнул, налил еще рюмочку, опрокинул залпом и закурил. Рифмоплетство продолжало изводить: "...кто-то мускулом жирным играет, кто-то ваньку все время валяет, кто-то Родину-мать обнимает в ностальгии, но издавека..."

Парень глянул на свои тщедушные мышцы. Они были похожи на помятые тряпочки, которые по всей коммунальной кухне развесила соседка Любка. Чтобы окончательно не испортить настроение, Вася отвел глаза от своих мощей. Он вспомнил, что пока в квартире жил Люсик Шустер, все было иначе. Они вместе ходили в спортивный зал, качали бицепсы, ухаживали за девчонками, а теперь...

— Конечно, Люсику хорошо — он в Нью-Йорке. А я тут занимаюсь поиском смысла жизни. Пишет иногда, что ностальгия замучила. А возвращаться не хочет. Приехал бы, я его с Беспородным познакомил бы. Учитель объяснил бы ему, что к чему. Ведь он знает, как жить.

Люсик был самым близким другом Василия. Всегда наставлял на путь истинный, пытался привить любовь к наукам, хотя бы к чтению. Вот и Достоевского именно он ему подсунул. Сказал, там есть все. Когда друг уехал, Василий совсем потерял ориентиры. Не знал, что делать, как жить. Он даже не представлял, насколько важной фигурой был Люсик в его жизни. Покуривая сигарету, попивая коньяк, парень встал с кресла и направился в коридор, к комнате, где некогда обитал его друг. Там с самого его отъезда никто не жил.

В комнате была та же обстановка, что и при Люсике. Кожаный диван, торшер, книжный шкаф. Даже магнитофон. Ничего не забрал с собой Люсик. Да и зачем ему это сейчас? Ведь теперь у него совсем другая жизнь. Вася сел на диван и задумался. Ему хотелось быть таким же, как Петр Мавродиевич, уверенным в себе, спокойным, таинственным. "А как его бабы любят!" — думал парень. Он вспомнил Машку, голубоглазую кра-

сотку, буквально пылинки сдувавшую с учителя. Она преданно смотрела в глаза и ловила на лекции каждое его слово. Правда в последнее время с ней что-то произошло. Стала психованная, крикливая, постоянно на скандал нарывается. Ее даже посадили на скамейку штрафников.

Захотелось спать, и Василий закрыл глаза. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд. Когда очнулся, то с ужасом обнаружил, что перед ним сидит... Люсик.

— Что, Вася, тяжело?

— Люсик! Ты как здесь оказался? — вытаращился тот.

— Но тебе же плохо, — улыбнулся его друг.

— А может, у меня белая горячка?

— Нет, просто ты дошел до черты, за которую ступать страшно.

— Не понимаю, о чем ты?

— Ты в самом деле хочешь быть таким, как твой учитель?

— Я хотел быть таким, как ты... Но мне этого не добиться. Ты слишком умный.

— Но ведь ты считаешь и Петра Мавродиевича умным?

— Ты не понимаешь... Он другой. Таким, как он, может быть, когда-то я смогу стать. Надо только узнать секрет его успеха.

— Ну да! А так же позывные братьев по разуму... Ты даже не представляешь, насколько он — другой. А его успех... Впрочем, ты сам поймешь. Только для этого тебе, не взыщи, придется поселиться на время у него в голове, — сказал Люсик, махнул перед лицом Василия какой-то книгой и...

* * *

Добиваться успеха любой ценой. Это Петька понял еще в детстве. В маленьком сибирском селе, где он родился, было именно так. Там выживали как могли. Тяжелые условия жизни, нищета, в которой все без исключения жители пребывали, доводили его до иступления. Петька ненавидел нищету больше всего. Его мать так много работала, что света белого не видела! Надо же было одеть и накормить его и еще пятерых детей. А помощи ожидать неоткуда. Отец-то умер. Его Петька тоже ненавидел. Как он посмел умереть! А еще он ненавидел свой рост — слишком маленький. Сверстники всегда смеялись над ним, называя недомерком. Да и с лицом не повезло — чересчур уж рябое. В общем, куда не кинь, всюду клин. А как хотелось власти! Чтобы ребята слушали и подчинялись, девки любили.

— Девки-то вообще — стервы. Любят только красивых и статных. Это ког-

да они бабами становятся, после сорока, тогда им уже все равно, какой мужик, кривой, горбатый, лишь бы был. А пока молодые — перебирают! — думал он.

Петьке хотелось, чтобы они не перебирали, а выбирали, причем его. Но в своей вотчине сие невозможно. Слишком на виду его жизнь, его унижения. Все помнили, как Витька Кирпич таскал его за патлы по всему селу, а затем надавал пинков под зад и ткнул раз десять мордой в снег, да так, что кровавая юшка из носа потекла. И за что? За то, что он подглядывал, как Витька в бане хлестал веником по голому заду жирнопузую Аньку. Все помнили, как его, шестнадцатилетнего, гоняла по селу тридцатипятилетняя Катька. И за что? Что не смог... удовлетворить ее похоть.

— Кто меня спросил, хочу ли я Катьку? Ее толстое, пропахшее потом тело, кривые волосатые ноги, шершавые пятки. Навалилась, дура и давай тискать. Из рта воняет навозом, из-под юбки — рыбой. Вот тварь! — злился парень.

А еще он затаил злобу на Марию, соседскую девчонку, худенькую и светловолосую. Она ему очень нравилась, он ей — нет. Девушка мечтала о его злейшем враге Витьке.

Петька не хотел быть обыкновенным. Ему нужно было стать исключительным. Ведь это, по его мнению, давало большие преимущества, и кто знает, может быть, даже спасало от смерти. Но исключительные в селе отсутствовали. А, значит, учиться этому было не у кого. Он надеялся лишь на то, что однажды вырвется из этого села и обязательно уедет в Москву. Там, по его мнению, исключительных было много.

Петька не любил учиться в школе. Он не интересовался ни физикой, ни математикой. Эти науки не вели к власти над людьми. И литература не привлекала.

— Слишком много боли. Некоторые произведения заставляют задумываться, чувствовать вину за свои поступки. Это мешает думать о власти и славе, — решил он однажды и перестал читать книги.

Десять лет после школы парень скитался в поисках халявной жизни. Ему везло. Помогали истосковавшиеся по молодому мужику бабы. Они в своем одиночестве готовы были обогреть, накормить, дать денег на вино и сигареты. И однажды Клавка, пятидесятилетняя торговка, которую он осчастливливал время от времени своей "любовью", так расщедрилась, что выделила деньги на поездку в Москву. Больше его никто из односельчан не видел. Даже мать.

Валентин Валентинович Изрекайло был тем, кого Беспородный искал многие годы — исключительный, таинственный, магический, интеллигентный, знающий, любимчик женщин и богов. Он сразу заметил Петьку. Слишком уж тот старался ему понравиться. Вскоре Петька стал адептом Изрекайло. Они вместе ходили на массовые сеансы гипноза. Там, по мнению Изрекайло, можно воочию увидеть плоды гипнотического воздействия на человеческое сознание. Петьку удивляло, что среди людей так много сумасшедших. Бабушки и дедушки, мужчины и женщины, юноши и девушки бегали по залу, размахивали руками, вращали головой, а некоторые делали такие телодвижения!..

— Они не сумасшедшие. Этому есть другое, научное объяснение. Все дело в черепушке. В определенном секторе головного мозга находится центр эротической регуляции организма. Он легко поддается ритмической стимуляции, а также гипнотическому воздействию. Это могут быть танцы, чтение мантр, молитв, песнопения и так далее, вводящие человека в транс. На массовых сеансах гипноза или исцеления центр эротической регуляции реагирует первым. Люди, у которых есть проблемы в сфере сексуальных отношений (а таких большинство), получают в зале временное облегчение...

— Испытывают оргазм?

— Происходит своего рода разрядка. Как только это произошло, человеку становится легко и спокойно, исчезает на время тревога, он ощущает прилив бодрости, новых сил, и думает, что ему помог целитель или гипнотизер. Поэтому запомни — воздействие на центр эротической регуляции — наиболее легкий путь зомбирования. Кроме этого метода воздействия есть и другие.

— Но ведь только дураки могут долго висеть на крючке у целителя!

— Почему же. Часто и вполне разумные люди. Ведь жизнь штука непростая. Однажды человек осознает, что не может полностью управлять своей жизнью и жизнью своих близких. Возникают трудности на работе, происходят неблагоприятные, психотравматические ситуации. Например, утрата прежних идеалов, разочарование в жизни, распад семьи, социальная изоляция, смена привычных жизненных ориентиров.

Петька слушал Изрекайло заворожено. Вот он, ключ к власти — человеческая слабость!

А тот продолжал:

— Оказавшись в таком плачевном состоянии, люди начинают поиск "спасительного каната", за который можно было бы уцепиться, чтобы вы-

жить. Некоторые доведенные до отчаяния, готовы кинуться куда угодно, хоть головой в омут, лишь бы вырваться из паутины прежней жизни. Чаще всего ищут опору в духовной сфере. У многих понятие "духовность" слишком размытое, нечеткое, поэтому они цепляются за все, что хоть как-то связано с этим словом. Вот тут-то приходим мы и предлагаем им сыграть в игру под названием "обретение смысла жизни".

— Какие же правила этой игры?

— Надо дать своим ученикам магическую теорию о происхождении человека, заполнить их жизнь общением, занять их вечера, подталкивать к разговорам о сокровенном, формировать в них чувство единения. Но прежде всего надо пообещать им устроенный быт, отсутствие проблем, поддержку, понимание, даже бессмертие!

— Но ведь это невозможно! Как взрослые люди могут поверить, что я смогу им все это обеспечить?

— Для этого их надо вернуть в детство.

— Но каким образом?

— Из традиционной психологии известно, что в каждом человеке есть три составляющие — взрослый, родитель и ребенок. Первые двое — зрелые, сформированные части нашей личности, способные трезво оценивать происходящее, брать на себя ответственность за поступки, не поддаваясь эмоциональной оценке ситуации. А ребенок — это самая сокровенная часть личности, которой присущи неконтролируемые эмоции, неумение трезво оценивать ситуации и реально воспринимать действительность. Внутренний ребенок всегда ожидает чуда вне рамок действительности и всегда ждет безусловной любви.

— Так как же действовать?

— Надо искать тех, у кого силен внутренний ребенок. То есть, людей инфантильных, истеричных, жаждущих чуда, тех, кого в детстве недолюбили и недооценили родители. А также тех, у кого проблемы в жизни. Их следует обласкивать, вызывать своими действиями чувство глубокой, непроходящей благодарности, но не позволять им и шагу ступить самим. Сладкая конфетка... Как поется в известной песне: "Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит..."

Кроме того, следует лишить их способности самим выстраивать свои цели и перспективы, запретить общаться с другими людьми, превратить в еще более аморфные, безвольные существа. Воля учителя должна быть определяющей. Сказал: "Прыгнуть через голову" — и они обязаны прыгнуть, сказал: "Отречься от близких, детей, церкви" — и они должны отречься... После

такого прополаскивания мозгов их следует растить уже по своей программе, без перспектив стать зрелыми и самостоятельными. Тогда у тебя всегда будут пища, кров над головой, драгоценности, не говоря уже о людских душах, которыми ты сможешь владеть, как тебе заблагорассудится.

— А если обман раскроется?

— Ты стремишься к власти?

Петька подумал. Потом решительно сказал:

— Конечно!

— Тогда открою тебе истину, которую ты должен раз и навсегда усвоить: дьявол всегда обещает золотые горы, а платит разбитыми черепками!

Вооруженный этой теорией Петька, теперь уже Петр Мавродиевич, прибыл в Черноморск. Почему сюда? Он давно мечтал жить в городе у моря. Здесь он быстро нашел учеников. Ведь людей, обремененных своими проблемами, потерявших опору в жизни, испытывающих дефицит общения, жаждущих сказки и таинственного приобщения к чему-то неземному, можно отыскать в любом городе. Он их объединил легендой о космических братьях, зажег в них надежду на спасение, взял ответственность за их жизнь, определил, чем им нужно заниматься, а чем — нет. Он с нескрываемой радостью видел, как "ведутся" ученики на все его теории. Благоклонно принимая их подарки и подношения, он жирел, наполняясь силой их ожиданий, надежд, веры. Он радовался, когда они, ради того, чтобы быть рядом с ним, бросали своих жен, мужей, детей, когда они занимались под его пристальным взглядом любовью под кустами, он миловал и наказывал, принуждал и направлял... А еще он очень ценил парилку. И, если в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" друзья собирались в бане под Новый год, Беспородный с особо приближенными к нему людьми делал это раз в неделю по субботам. Правда, и там он не обходился без определенных ритуалов. Возможно, рассказы о похождениях Гришки Распутина на давали ему покоя, так как в бане он вел себя соответствующим образом, то есть совместно с друзьями осчастливливал любовью слушательниц, убеждая их в том, что очищает их от всякой скверны. Особенно он любил поиздеваться над студенткой Марией. Ведь она была так похожа на его первую любовь — Машку. Он ощущал себя ее повелителем, заставлял делать такие вещи, которые она никогда бы не делала с другими, а однажды в бане потребовал от нее обслужить всех участников оргии.

Машка сходила с ума по учителю. Но после случившегося в бане она превратилась в истеричку. Рыдала, просила пощадить, постоянно разма-

хивала руками, икала... И тогда он наказал ее, отправив на скамейку штрафников. Вскоре Машка попала в психиатрическую лечебницу.

Однажды на одном из праздников у моря Беспородный выпил много вина и заснул. Ему приснилось, что он в красной дьявольской маске с лопатой в руках стоит посреди пустых глиняных кувшинов, в которые превратились его ученики. Со всего размаху он бьет по кувшинам, разрушая их один за другим и под барабанный бой и дикий вой, раздающийся из-под земли, танцует на разбитых черепках...

* * *

Василий открыл глаза. Он лежал в своей кровати. Ужас сковал все его тело. То, что ему пришлось пережить, не просто испугало, а повергло в шок. Он понял, что всю свою жизнь испытывал гнетущее чувство пустоты и одиночества, но пока был Люсик, он этого не замечал. Только после его отъезда он потерял почву под ногами. Почему? Он никогда не хотел брать на себя ответственность за свою жизнь. Он никогда себе не верил и считал себя слабым, беспомощным ребенком! Он всегда ждал, что однажды придет благодетель и даст ответы на все его вопросы. Люсик таким не был. Он всегда знал, чего хочет, четко определял цели и задачи и добивался успеха в жизни. И при этом оставался человеком — добрым, искренним, внимательным.

— Я такой же, как многие люди, слабый, бестолковый, ноющий, желающий "того, не знаю чего". Господи! Почему же нынче души, если нас можно так легко купить? — шептал он, вспоминая мысли и действия Беспородного.

Васька встал с кровати и подошел к письменному столу. Увидев, что там лежит "Идиот" Достоевского. Он машинально взял книгу и наугад открыл: "...Неизвестность и отвращение этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как непрерывная мысль: "Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы секунду счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!"

— Вот он, выход! Люсик прав! В произведениях Достоевского есть все. Ведь я еще не умираю, а, значит, есть шанс изменить свою жизнь. Главное — перестать бояться и научиться самому рулить по жизни, — взволнованно бормотал Василий.

В его ушах все еще звучала страшная музыка подземелья — вой, писк, бой барабанов и звук крошащихся на мелкие кусочки кувшинов...

Кредитная история

Первую в своей жизни кредитную карточку Свердловы отправились обмывать в заведение турецкого общепита "Диван", что на Макдугал, недалеко от пересечения с Бликер. От кого-то они об этом месте слышали. Машину пришлось запарковать кварталов за пять. Потом они по ошибке пошли в другом направлении. Потом Наташа пожаловалась на то, что хотя шуба теплая, легкие туфли на шпильках — не самая удачная обувь для мартовского вечера. В общем, поплутав минут десять-пятнадцать, они в конечном итоге нашли этот "Диван", и усатый янычар, приняв у дамы шубу, провел их к столику со свечкой в стаканчике.

Заказывал Вячеслав Михайлович, который любил хорошо поесть и при случае повторял, что у кого хороший стол, у того хороший стул. В своей родной Одессе он знал шеф-поваров лично, потому что все они когда-то были его студентами: до выхода на пенсию он работал преподавателем физкультуры в поварском ПТУ. Когда он заказывал, допустим, обычные вареники в "Украине" на Ласточкина, то говорил официанту: "Скажи Вите, что Свердлов просит положить больше жареного лука". Фамилия у него, надо сказать, была запоминающаяся, революционная. Хотя по природе своей он был натуральным эппманом. И повар Витя, вытирая руки полотенцем, сам сопровождал глечик с варениками к столу высокого гостя.

Итак, в "Диване" они заказали на закуску комбинированное блюдо, на котором было, значит, запоминайте: долма, гумус и бабагануш с горячими лепешками, маслины, печеные баклажаны под ледяным йогуртом и треугольные такие пирожки из слоеного теста с сыром. В качестве основного блюда был подан люля-кебаб, дорогие товарищи, от одного аромата которого в рот ударяла такая мощная волна слюны, что человека неподготовленного могла и со стула сбить. Но Свердловы были как раз людьми подготовленными. Они только сделали глубокий вдох-выдох и придвинули тарелки.

Однако же когда им подали турецкий кофе и облитую липким медом баклаву, они решили перекурить.

— Расплачусь пока, — сказал Вячеслав Михайлович, заранее предвкушая момент, ради которого и был затеян культпоход по местам турецкой кулинарной славы.

— Сережа! — позвал он официанта. Он всех официантов звал Сережами, и все они на это имя откликались.

Янычар Сережа подошел.

— Чек, — сказал Вячеслав Михайлович на чистом английском языке.

Сережа поклонился и через несколько минут принес на тарелочке чек. Свердлов внимательно изучил его и приступил к церемонии запуска карточки в большую жизнь. Сперва он легонько прихлопнул себя ладонями по груди, как бы проверяя, в каком из двух внутренних карманов пиджака спрятался от него шалун-бумажник. Потом сунул руку в левый карман. Задержав ее там на секунду, достал. Раскрыл. Извлек карточку и, на секунду зафиксировав ее в воздухе, положил в тарелку. Готово!

— Сори, онли кэш, — негромко сказал Сережа, но эти тихие слова произвели на Вячеслава Михайловича, как говорили крупные писатели прошлого века, эффект разорвавшейся бомбы. Его просто контузило этими словами. Контузило и присыпало трехметровым слоем земли. Сережа тем временем вежливо поклонился и нырнул в приятный полумрак.

Дело было плохо. Начать с того, что весь словарный запас Свердлова был ограничен от силы десятком слов, половина которых были нецензурными. Одна только перспектива объяснений с официантом страшила его, как ребенка страшит визит к дантисту. Между тем объяснение было неизбежно. В кошельке у него были аварийные доллары 60, но должен был он — 85 плюс чаевые.

— Я сейчас, — Вячеслав Михайлович поднялся. План у него созрел с какой-то фантастической скоростью. План этот был совершенно безумным, но, знаете, бывают в жизни человека такие напряженные моменты, когда логика уступает место чувствам. — Мне в туалет на секунду.

План был простой, как не знаю что. Если в туалете есть окно, он вылезал через него на улицу, шел в ближайший банк, брал в банкомате наличные, тем же манером возвращался и, ни на минуту не роняя своего человеческого достоинства, расплачивался с бусурманами.

Окно в туалете имелось. Высоковато было, но он — одно слово физкультурник — одну ногу поставил на унитаз, вторую на водопроводную трубу, подтянулся, извернулся... короче, вылез. Спрыгнул, правда, неудачно — чуть подвернув ногу. А распрямившись, обомлел. Даже, я бы сказал, не обомлел, а был контужен вторично. Он стоял не на какой-то улице, а в черном, как могила, колодце, и только одно окошко светило в нем — окошко туалета, из которого он только что выбрался. И наверху еще глупая звезда мерцала в ледяном мартовском небе. И все.

Он вернулся к стене, чтобы лезть обратно в спасительный сортир, но тут уже ничего не было, чтобы поставить ногу или подтянуться, — ни унитаза,

ни водопроводной трубы, ничего, кроме плотно пригнанных друг к другу кирпичиков. Со словами "Не может быть такого, не может быть, чтобы не было", Вячеслав Михайлович стал наощупь обходить дворик. И нашел-таки, нашел сеточную дверь и едва различимые ступени за ней, которые вели в какую-то другую темноту. Напрягая зрение, стал всматриваться.

Что-то там виделось ему вдалеке. Вроде бы еще какой-то дворик со щелью сбоку, из которой сочился сероватый свет и, кажется, даже долетали звуки проезжавших автомашин. Кажется. Он потряс дверь своей крепкой рукой, проверяя крепость замка. Дверь была хлипковатой, и потому он стал действовать решительно. Коротко развернувшись, Свердлов ударил в поперечную перекладину плечом. Дверь с неожиданной легкостью распахнулась, и он скатился по ступенькам во мрак, встретивший его громом пустых мусорных баков. Видимо, он потерял на минуту-другую сознание, поскольку, открыв глаза, ничего вокруг не увидел и даже не сразу понял, где он. Потом вспомнил. Потрогал голову — мокрая была голова. Стал всматриваться. Вроде бы лежал он в каком-то коридоре. Справа желтел проем, ведущий во двор, из которого он сюда, так сказать, прилетел. Слева серел другой, из которого мог быть выход на улицу.

Поводив в темноте руками в поисках опоры и не найдя ее, он встал на четвереньки и пополз. Таким вот макаром Вячеслав Михайлович добрался до ступенек и взобрался по ним в другой дворик. Здесь он поднялся на ноги, но тут его качнуло, как на палубе корабля в крепкий шторм, и сразу тошнота ударила под дых, да так, что полетели наружу все эти пирожки слоеные с долмой и люля-кебабом в белом вине шардоне калифорнийского разлива. Держась обеими руками за стену, товарищ Свердлов освободил организм от турецких деликатесов. Ничто не должно было отягощать его в предстоящей схватке с превратностями жизни. Он ослабил галстук, расстегнул непослушными пальцами верхнюю пуговку и на дрожащих ногах двинул вдоль черной стены.

В скором времени он снова ткнулся в сеточную дверь. Пошатал осторожно. Эта крепко держалась. И замочек тут висел, как говорили на родине, амбарный. Подналег, да сил не осталось. Но тут уже облегчение было — там за очередным двором с запаркованными на ночь автомобилями снова были ворота, уже широкие, и за ними окна светились, уголок витрины выглядывал, такси проехало, а за ним еще. Он снова потряс дверь и крикнул слабо, осваивая легкие: "Хэлп!". И снова: "Хэлп! Хэлп ми!". Но не менее как с полсотни метров надо было лететь его слабому голосу.

И вдруг человек появился перед ним. Из каких-то коробок, стоявших

за сеткой у стены, выбрался и подплыл к нему, освещенный смертельным светом луны. Негритос какой-то. Смердящий, как тяжелое инфекционное заболевание. Спросил чего-то непонятное и стал осматривать его пиджак, голову мокрую, руку с часами, как рассматривает мародер мертвяка, который никуда уже от него не денется.

— Чего смотришь, обезьяна ты вонючая, — сказал Свердлов выпускнику Института дружбы народов имени Патриса Лумумбы в городе-герое Москве, бывшему товарищу Франсуа Музону. Этот товарищ в свое время получил диплом преподавателя русского языка и литературы, вернулся в родную Доминиканскую Республику, но, не найдя работы, перебрался в Соединенные Штаты, где стал профессиональным бездомным наркоманом с прогрессирующей шизофренией. — Полиция мне надо. Давай, макак немытая, гоу, за полицаем. Гоу! Выручай. Хэлп мне делай. Андерстэнд ты меня или не андерстэнд?

Звуки благоприобретенного в забытой уже жизни языка внезапно открыли какой-то клапан в перепутанных мозговых извилинах бывшего товарища Музона. Взявшись обеими руками за железную раму двери и приблизив лицо с поломанными зубами к сетке, он вдруг заговорил:

— Мчаца тючи, вьюца тючи, невидимкою люна освещает снег летучий, мютно ньебо, ночь мют-на...

Не веря своим ушам, Вячеслав Михайлович отшатнулся. Тот же, вытаращив глаза и вода над головой скрюченной рукой, продолжал:

— Мчаца бьесы рой за роем в беспредельной вишинэ, визгом жялобным и воем надрывая серцэ мнье.

— Братан, — остановил чтеца-декламатора Вячеслав Михайлович. — Ты давай бросай про бесов. Ты лучше выпусти меня из этой мышеловки. А то ведь замрзну на хрен. Холод-то собачий, а я, гляди, в одном пиджачке. Ну, давай, родной, иди, иди. Позови кого-то, как там по-вашему — копа, что ли.

— Копя? — шизоид раздумчиво почесал затылок.

— Ну, да — копа, — занервничал Вячеслав Михайлович. — Да не бойся, не тронет он тебя. Скажешь: человек в беду попал, надо выручить. Ну, чего тебе еще надо?

— Дрюг, а пятерку не одолжишь до стипендии, а? — спросил по старой памяти доминиканец.

— На, родной, на, — трясущимися руками Вячеслав Михайлович достал бумажник и, поскольку других купюр не было, дал двадцатку.

— Спасибо, дрюг, — сказал бывший товарищ Музон и пошел, покачи-

ваясь, за подмогой. О своей миссии несостоявшийся педагог вспомнил уже после того, как купил себе пару пакетиков своего лекарства от всех скорбей. Где-то этак через часик. В это время он пересекал Бликер и увидел, как двое полицейских, заламывая руки женщине в шубе, пытались пригнуть ее к капоту патрульной машины. Женщина же истерически визжала на чистом русском языке: "Нет у меня денег, у мужа деньги, а муж пропал!!!". Собственно, именно после того, как Франсуа Музон увидел полицейских, он и вспомнил, что ходил именно за ними. Но поскольку к этим полицейским сейчас лучше было не приближаться, он побрел назад к своему русскому другу, который поселился по соседству с его домиком-коробкой от стереосистемы "Айва". Это был хороший русский. Не просто большой любитель поэзии — меценат!

"Фашисты!" — кричала женщина крутившим ее полицейским, и, глядя на нее, Франсуа Музон думал, что эта душераздирающая сцена поразительным образом выбилась из программы тех передач, которые кто-то невидимый включал ему каждый раз, когда он запускал в свою широкую ноздрю дорожку чудесного зелья. Видимо, в тот вечер его по ошибке подключили к какой-то другой телесети, транслировавшей дурной во всех отношениях сон.

Интересно, что тот же дурной сон сейчас видел и Вячеслав Михайлович Свердлов. Как и полагается всякому любящему мужу, он уже много чего нафантазировал про любимую жену, оказавшуюся посреди незнакомого города без единого английского слова и американского доллара за душой. Жена была младше его на хороших лет 15 и, как это случается, чем больше разница в возрасте супругов, тем сильнее работает у одного из них фантазия. И вот эти две воспаленные фантазии — музоновская и свердловская — поползли, цепляясь за гидранты, урны и дорожные знаки, друг навстречу другу и встретились на углу Бликер и Макдугал. А поскольку их было две, то и вышло так красочно и звонко, как в кинотеатре "Сони" с широким экраном и многоканальной стереосистемой. Она им: "Фашисты!", а они ее лицом об капот — ба-бам! Но это были только фантазии. В жизни-то такое крайне редко случается. Мы сами знаем о считанных случаях, и о них потом все газеты пишут по полгода.

Вернемся к Вячеславу Михайловичу. Сперва он пытался для обогрева стывшего организма подпрыгивать, притопывать и делать разные физические упражнения. Но постепенно пенсионный возраст взял свое. И тогда Вячеслав Михайлович присел на корточки и обхватил себя за плечи. В этот момент он с необыкновенной ясностью ощутил, на каком тонком

волоске висит человеческое счастье и сама жизнь. Как малейшая какая-то заваyka, дурацкая совершенно случайность может прихлопнуть его гробовой крышкой. Потому что еще неизвестно, когда эта говорящая по-русски обезьяна приведет сюда полицейского или хотя бы вернется сама. И от своего бессилия и слабости он заплакал.

Остывая на ночном морозце, Вячеслав Михайлович плакал сперва неумело, с некоторым трудом выдавливая из себя стоны и слезы, но постепенно наловчился. И чем лучше он плакал, тем жалче ему самого себя становилось. И он даже уже видел, как на туманном рассвете, под звуки песни "Карузо" в исполнении Лучано Паваротти и Лучо Далла кто-то из владельцев запаркованных в том, другом дворе машин увидит лежащее возле сетки его окоченевшее тело.

Есть мнение, что вот такие вот слезы, исторгнутые, как говорится, из глубины души, очищают эту душу и доходят туда, куда они должны пойти. Так вышло и на этот раз. Рыдания услышал один местный житель по прозвищу Свисток. Почему его так прозвали, я вам расскажу как-нибудь в другой раз, а пока только ограничусь сообщением, что окно его спальни выходило в тот самый колодец, на дне которого плакал наш герой. Свисток услышал рыдания во сне, и сначала ему показалось, что это он сам плачет. У него были все основания плакать. На днях он узнал, что из простого носителя вируса иммунодефицита голубого человека он стал единоличным владельцем полнометражного случая СПИДа. Помимо этого его бросил старый любовник, который стал жаловаться на то, что он свистит не так, как в прежние времена. Врал, конечно, сволочь. Просто нашел какого-то молодого хахалю, вот и все. Но потом другая мысль вкралась в спящее сознание Свистка и подсказала ему, что сам он так долго плакать бы не стал. Дело в том, что он работал редактором в одном голубом еженедельнике и просто не мог допустить, чтобы какое-то действие продолжалось слишком долго. Кроме одного, конечно. Во всех остальных случаях это грозило потерей читательского интереса. И от этой мысли он проснулся. А рыдания между тем продолжались.

— Ы-ы-ы, На-ту-у-уля моя, — бубнил кто-то за окном, — На-точка, где ты, солнце мое, у-у...

Свисток встал с постели и, набросив одеяло на худые плечи, подошел к окну. Подняв раму, высунул голову в ночь и внизу увидел сидящего на корточках человека.

— Эй, мен, вот-с ап? — позвал он его.

Человек замолчал и, словно не веря своим ушам, поднялся и произнес неуверенно в темноту:

— Господи, ты ли это? А я уже решил, что ты не при-дешь.

— Уа-уа? — не понял Свисток.

Мужчина, наконец, определил, что говорили с ним из открывшегося где-то вверху окна, и, протянув в направлении Свистка руки, взмолился:

— Хэлп ми. Плиз, хэлп ми!

— Омайгад! — выдохнул Свисток, хватаясь за сердце, насквозь пронзенное чувством сострадания к бедолаге.

— Ам-каминг! Ам-каминг!

Как подхваченный ветром лист, он вылетел на кухню и, схватив нужный ключ, бросился вниз спасать несчастного. И на этом мы всю компанию и оставим с надеждой, что Свистку, уже к Новому году испустившему последний вздох, зачтется этот душевный порыв. Что до освобожденного наконец Вячеслава Михайловича, то, чертыхаясь, он захромает в ближайший банк, чтобы снять деньги, а оттуда — в ресторан, где его ждет переволновавшаяся Ната. Но прежде, чем подойти к ней, он на минуту задержится в дверях и, посмотрев на нее со стороны, на невероятно элегантную худощавую женщину с короткой стрижкой и чудесными карими глазами, подумает, как ему все-таки повезло в этой жизни. А потом они поедут домой и счастливо заснут друг у друга в объятиях на красивой итальянской кровати.

Ну вот, пожалуй, и все. А что до того, что кому-то пригрелилось, так это только пригрелилось и будет забыто, как забывается все плохое, увиденное во сне.

Нью-Йорк



Дальше было вот что...

Пирамида желаний

Кусочкин растрепал всем, в каком секторе находится черный ящик. Пришлось перепрыгивать. Охрана не серьезна, идет на подкуп. Вчера донесли, что Ласта опять смеялась на рабочем месте, а это чревато выговором старшего по группе, да и от шефа пока не было никаких вестей, а это могло означать все, что угодно. Ласту дезавуировали и вывели из сектора. На дорогу дали, как всегда, пакет от тетрапака, булочку, колготки (у нее 20 DEN). Конченная девка. Потом — разбор полетов: то, да се. Убрали еще двоих. Мужики не обижались. Правда, никто их не спрашивал, вывели в овраг, да и все. Шеф так и не позвонил, а мы — со старшим. Охрана, я уже говорил, ненадежна. Вчера проводил с ними тренинг по Абрахаму Маслоу — ни черта ребята не понимают. Пришлось разъяснять всю пирамиду. Когда добрался до самоактуализации, увидел, что говорить практически не с кем. Рокфор завалился уже на первом вопросе о потребностях в равноправных контактах с партнерами. Нажрался и спал. А Гошин даже пристрелить попросил. Что такое позиция неформального лидера? Что такое оппозиция? А черный ящик что такое, сучьи дети?! Ну, говорить... а шеф не звонит. Притворяется, что мы тут ведущие. А он вроде ведет... хитер страшно. Старший уже вторую ночь не спит. Я — третью. Если так и дальше пойдет, мы эту работу выполним. Он будет доволен. Я еще раз перепрыгал коробку. В контакте — все было бы сложнее. Пришел бы его. Да, а все — в отпаде. Один в улете... Винт, блин.

Хотел с Кусочкиным провести воспитательную работу, но тот — как сквозь землю... безответственность полная. С кем работать? Врагу не пожелаешь... пойти, что ли, кубарь себе взять?

Vale

Небольшой человек зашел в маленький кабинет.

— У вас есть для меня время?

Маленького роста женщина в теплой кофте внакидку опустила на стул:

— Садитесь.

— Раздеться можно? — несмело взглянул ей в глаза. Снял куртку, прошагал к ее письменному столу, в угол, к вешалке. — Мороз...

Она кивнула. Небольшой человек повел острыми ушами и сел напротив.

— Господи, ты ли это? А я уже решил, что ты не при-дешь.
— Уа-уа? — не понял Свисток.

Мужчина, наконец, определил, что говорили с ним из открывшегося где-то вверх окна, и, протянув в направлении Свистка руки, взмолился:

— Хэлп ми. Плиз, хэлп ми!

— Омайгад! — выдохнул Свисток, хватаясь за сердце, насквозь пронзенное чувством сострадания к бедолаге.

— Ам-каминг! Ам-каминг!

Как подхваченный ветром лист, он вылетел на кухню и, схватив нужный ключ, бросился вниз спасать несчастного. И на этом мы всю компанию и оставим с надеждой, что Свистку, уже к Новому году испустившему последний вздох, зачтется этот душевный порыв. Что до освобожденного наконец Вячеслава Михайловича, то, чертыхаясь, он захромает в ближайший банк, чтобы снять деньги, а оттуда — в ресторан, где его ждет переволновавшаяся Ната. Но прежде, чем подойти к ней, он на минуту задержится в дверях и, посмотрев на нее со стороны, на невероятно элегантную художавшую женщину с короткой стрижкой и чудесными карими глазами, подумает, как ему все-таки повезло в этой жизни. А потом они поедут домой и счастливо заснут друг у друга в объятиях на красивой итальянской кровати.

Ну вот, пожалуй, и все. А что до того, что кому-то пригрезилось, так это только пригрезилось и будет забыто, как забывается все плохое, увиденное во сне.

Нью-Йорк



Дальше было вот что...

Пирамида желаний

Кусочкин растрепал всем, в каком секторе находится черный ящик. Пришлось перепрыгивать. Охрана не серьезна, идет на подкуп. Вчера донесли, что Ластва опять смеялась на рабочем месте, а это чревато выговором старшего по группе, да и от шефа пока не было никаких вестей, а это могло означать все, что угодно. Ласту дезавуировали и вывели из сектора. На дорогу дали, как всегда, пакет от тетрапака, булочку, колготки (у нее 20 DEN). Конченная девка. Потом — разбор полетов: то, да се. Убрали еще двоих. Мужики не обижаются. Правда, никто их не спрашивал, вывели в овраг, да и все. Шеф так и не позвонил, а мы — со старшим. Охрана, я уже говорил, ненадежна. Вчера проводил с ними тренинг по Абрахаму Маслоу — ни черта ребята не понимают. Пришлось разъяснять всю пирамиду. Когда добрался до самоактуализации, увидел, что говорить практически не с кем. Рокфор завалился уже на первом вопросе о потребностях в равноправных контактах с партнерами. Нажрался и спал. А Гошин даже пристрелить попросил. Что такое позиция неформального лидера? Что такое оппозиция? А черный ящик что такое, сучьи дети?! Ну, говорить... а шеф не звонит. Притворяется, что мы тут ведущие. А он вроде ведет... хитер страшно. Старший уже вторую ночь не спит. Я — третью. Если так и дальше пойдет, мы эту работу выполним. Он будет доволен. Я еще раз перепрыгал коробку. В контакте — все было бы сложнее. Пришел бы его. Да, а все — в отпаде. Один в улете... Винт, блин.

Хотел с Кусочкиным провести воспитательную работу, но тот — как сквозь землю... безответственность полная. С кем работать? Врагу не пожелаешь... пойти, что ли, кубарь себе взять?

Vale

Небольшой человек зашел в маленький кабинет.

— У вас есть для меня время?

Маленького роста женщина в теплой кофте внакидку опустилась на стул:

— Садитесь.

— Раздеться можно? — несмело взглянул ей в глаза. Снял куртку, прошагал к ее письменному столу, в угол, к вешалке. — Мороз...

Она кивнула. Небольшой человек повел острыми ушами и сел напротив.

— Не могу молиться! Ангелы — на глазах в... знаете, кого обращаются? Маленькая женщина приподняла плечи и почему-то их не опустила:

— Да?

Он продолжил:

— Я сейчас на вас смотрю, а рядом с вами — я. И страшный. Вот так. Женщина понимающе кивнула. Человек осмотрел кабинет:

— Попить можно?

— Там не кипяченая! — поспешила женщина.

— Ну и что? — снисходительно взглянул на нее человек и стал пить из пластиковой бутылки водопроводную воду. Остаток вылил в горшок с традесканцией. Женщина взглянула на путь отхода.

— А одна дверь-то! — улыбнулся человек. — Если бы они меня не собрались уморить этими лекарствами, я бы сам дошел. Сам!

Его бледное лицо, узкий безгубый рот, маленькие белые глаза, чахлая растительность подбородка... Женщине захотелось взглянуть в зеркало, вновь познакомиться с собой, вспомнить... Его лицо притягивало взгляд.

— А вы не чувствуете... — сказала она первое, что пришло в голову, — не чувствуете головных болей?

Психдиспансер был рядом. Здесь была бухгалтерия, и учетчица по материалам, Тоня, вышла за заваркой для чая. Зинаида Петровна оставалась одна. Больные и раньше забредали сюда, но Тоня, девушка крупная, быстро вытесняла их из комнаты и захлопывала дверь. Впервые Зинаида Петровна оказалась одна...

— Я познакомился со Светой, а у нее муж. Он выпивает. Ну, я тоже иногда, — продолжал больной, — но я же не подливаю отравы, так ведь?

— Да-да... — поддержала его Зинаида Петровна, — зачем же подливать?..

— Головных болей... — хитро сощурился человек. — Бывает! Но это оттого, что голову распирают образы. Я иду, а они — из меня: пшур-р-р... Дальше было вот что...

Зинаида Петровна слушала рассказ, не решаясь встать. Прямо возле локтя больного, на полке книжного шкафа, привольно раскинулся кухонный ножик, которым бухгалтерия в обеденный перерыв резала хлеб и колбасу.

— Ну, что скажете? — остановился больной.

Зинаида Петровна подумала.

— Как вас зовут? — спросила она наконец.

— Ричард.

— Ричард, у вас родные есть, дом?

— Родные! Пятнадцать человек! Сегодня...

— Что сегодня? — заволновалась Зинаида Петровна.

— Да, ничего... — больной задумался. Потом поднял тяжелый взор на собеседницу. — Так вы говорите, не обращать внимания?

— Нет, — твердо заявила Зинаида. — Они плохо делают, а вы — не отвечайте. Вы же хороший человек? Наоборот! Цветов купите, придите к родственникам. Посидите у них! Скажите им: Ричард о вас помнит... И подарите... Маме, или... кому? Мама есть?

У Ричарда появились слезы:

— Мама... Где она? Уехала... И не пишет.

— А вы напишите ей сами! — горячо воскликнула Зинаида Петровна. — Напишите: как ты, мамочка? Как здоровье?

— Она... — Ричард замолчал. — Спасибо. Воды попил, спасибо. Пойду. Ричард оделся, повернулся в двери:

— А с образами что делать?

— Нарисуйте их! Знаете, как это красиво! И лекарства — пейте, пейте. Врачи плохого не выпишут. Надо попить! — уже лепетала Зинаида, глядя на Ричарда, ухोдившего и сталкивавшегося в дверях с Тоней.

— До свидания.

Через три недели он заглянул. Эту дверь они вечно забывали закрывать на ключ. Уши не шевельнулись ни разу. Взгляд был веселым.

— Спасибо, доктор, вы так помогли. Сам не знаю, что бы со мной было, если бы не вы... Вот, — сунул он в левую руку Зинаиды Петровны смятый листок. — Письмо... Ответила мама. А года три уже... Я даже не думал, что она в Василевке. Ну, вы — докторица... Я еще таких не видел, десять лет на учете, а таких, чтобы прямо в точку!.. Я живу теперь, как заново. Родня не узнает!

Ричард раскланялся и вышел. Зинаида Петровна разжала правую руку, державшую под столом ножик, и потерла свой шейный позвонок.

Финита

Две невероятно похожие друг на друга дамы, худощавые, длинноногие, с выбивающимися из-под беретиков седовато-черными волосами, одетые в роскошные былой роскошью, ныне просто длинные, широкие плащи с воротниками — у одной изнутри, у другой — стриженного "серого кролика", — обе совершенно "наши", едут по скоростной трассе мимо железнодорожного вокзала в желтых "Жигулях". Обеих по смешному совпадению зовут Еленами Борисовнами. Их везет Виктор, муж той, что

одета в "нутрию", пенсионер, бывший моряк-электромеханик, сумевший воплотить свою мечту о машине пятнадцать лет тому назад, и с тех пор не вылезавший из-под нее все свободное время. Эта летучая тройка собирается на ответственное мероприятие, которое случается каждые три-четыре месяца — утренник в детском саду, где воспитывается их четырехлетняя внучка. Им давно кажется, что все разорено вокруг, рядом и далеко, в душах и вовне, в государстве и родных парадных: мир перевернулся без их участия, и изменились госуправление, экономическая система, правовые нормы и общественные вкусы... У "серого кролика" куда-то сбежал муж, у "нутрии" потеряна хорошая работа, и теперь есть плохая, отнимающая гораздо больше времени и сил. Их дети разошлись, не прожив и трех лет вместе, и, повторно устраивая свою судьбу, редко заглядывают к родителям. Постепенно исчезают, забывают дорогу в их беднеющие дома друзья и знакомые, а по квартирам ходят только старые коты, собаки, распространяя зловоние... Елена-первая своих обожает, Елена-вторая смотрит на них с отчаянием, но дела это не меняет. Обе продолжают ухаживать за всеми, как ухаживали всегда за своими чадами и домочадцами, друзьями детей и всеми существами, которые появлялись в их домах по разным обстоятельствам и причинам. Растя детей, живя в чужих углах, работая в своих учреждениях, носясь по пустым магазинам в поисках "еды", ломая головы над тем, как прожить, дожить и выжить, они много лет бились в каких-то невидимых битвах, преодолевая сопротивление недодушевленного, но непобедимого противника, поэтому так странны их одежды, жестки черты лиц и принужденно улыбки глаза. Сейчас они едут, оставляя вокзальную решетку справа и памятник Ленину слева, читая про себя призывы "таких-то — в мэры и президенты" и рекламные слоганы о машинных маслах и косметике, и безмолвно слушают то, что несется из коротковолнового приемника: — вопли Водопласова и Тату. У них есть цель, и они торопятся... Сейчас они окажутся в коридоре детского сада, пропахшего картофельным пюре, хлоркой, мылом, комнатными растениями и свежесмытыми лестницами, маленькая Юлечка, худенькая, бледная черноглазая девочка ждет праздника. Она напряженно-серьезна и почти не отвечает на радостные клики родни. Она высматривает кого-то другого. Маму. И действительно, из-за их голов выглядывает отпросившаяся с работы мама, — и наряд лисички (или морковки?) у нее в руках. Напряжение разряжается радостным писком. Переодевание. Торопливые поцелуи, и ребенка уводят в строй, вереница детей отчужденно тянется в "большую группу" — просторное помещение, украшенное увяд-

шей листвой и цветными шарами. Музыкальный руководитель играет марш, дети маршируют к своим местам и садятся. Торжественная, раскрасневшаяся воспитательница со своей серьезной помощницей, вчерашней выпускницей педагогического училища, делают знаки, подают сигналы, подталкивают зазевавшихся. Праздник должен состояться. Потные, в куртках и плащах родители сели и стоят в дверях. Под музыку дети выходят для хоровода и общего пения. Сценарий осенней сказки об овощах остается непонятным большинству собравшихся, да это и не нужно. Каждый овощ будет вытолкнут в центр круга в свое время и проговорит свои слова, оперенные простенькой рифмой. Правда, никто уже не тащит из земли репку, дедка не зовет на помощь бабу, внучку и жучку, никто не гоняется за Чиполлино, и нет синьора Помидора или глупых лимончиков — сложные сказки прошлого исключены из программ. Но дети очень взволнованы, мамы непрерывно аплодируют, и музыка предлагает гопак и веселые польки. Вишенка, подружка Юлечки Оксана, непрерывно поправляет напозающую на глаза листву, у близнецов Антона и Миши, танцующих с повернутыми в сторону мамы страдальческими лицами, перепутались и сплелись кудрявые усы горошка, и они не могут отойти друг от дружки до тех пор, пока Инна Григорьевна не разделяет их и не разводит по местам. Самый маленький, кругленький Ваня, пришедший в смокинге, "как настоящий бизнесмен", по желанию родителей в разыгрывании ролей участия не принимает, но ловко танцует, четко и громко читает стихи, крутится как юла и, вызывая общий смех, плюхается на колени сидящих детей, посматривая в сторону отца. Благоговейному вниманию нашей троицы ничто не помешает, оно приковано к любому шагу, жесту, слову внучки. Как далеко она сидит! Как часто ее закрывает то платье воспитательницы, то общая куча-мала, возникшая от столкновения неуклюжих танцоров. Но и Виктор, и обе Елены убеждены, что самая нарядная, красивая и талантливая — конечно же она, "наш воробушек"... Они радостно улыбаются, кивают в такт строчкам стихотворения, машут рукой, и Юлечка наконец улыбается им и тоже машет. Радости нет предела. Утренник подходит к концу, дети, получившие каждый свое яблоко, бегут к родителям.

Юлечка виснет на дедушке, крепко обнимает его за шею и приговаривает: — Я хочу с вами! Дедушка, миленький, заberi меня, поедem!

Степан, новый муж Юлечкиной мамы, человек обидчивый и принципиальный, тоже здесь. Он снимал праздничное действо на видео. Через минуту он будет привычно и устало отклонять предложения бабушек забрать

Юлечку хоть на вечер, хоть на пару часиков на прогулку. Он твердо знает, что его соображения, высказанные уже много раз по поводу излишнего баловства, необходимости соблюдения режима и приучения ребенка к "своей собственной семье" должны быть уяснены всеми. Под плач Юлечки, рвущейся к нашей троице, разговор заканчивается. Ребенка уводит озабоченная мама, наскоро, через плечо, сообщая о домашних новостях.

В грохочущих всеми своими запчастями "Жигулях", едущих тем же маршрутом, — томительная духота. Виктор бросает машину вправо и ругает неумелого удалого водителя внедорожника, промчавшегося мимо них. Всегда что-нибудь не так на этой дороге! После резкого толчка его спутницы возвращаются в тряское равновесие, и далее — все молчат, следя из окон машины за встречным движением и убегаящими городскими пейзажами.



Два рассказа

Отрывок

— Тебе просто нужно понять, что эти люди тебе чужие. Сегодня они есть, завтра их нет. Например, как птицы — сейчас они кружат над тобой, а через пару минут улетят и будут еще где-то. А над тобой останется чистое небо, и ты спокойно будешь смотреть на облака, похожие на те, которые были здесь какое-то время назад... На самом деле твоя задача смотреть не за птицами, а за небом. Заметить какую-то деталь, запомнить, какое оно, потому как птицам на самом деле все равно.

— Птицам, наверное, вообще все равно.

— Мыслишь правильно, но люди-то не... О-па! Что с давлением?

— Падает.

— Адреналин... Видел, как падают птицы?!

— Нет.

— Ничего страшного... Мы еще поборемся. А еще дело в том, что когда в небе никого нет, оно надоедает. Хотя тут, похоже, нет шансов... Что стимулятор? Почему замерли? Стимулятор готов!.. Убрали руки! Руки убрали! Чисто! Как чистое небо... Пульс?!

— Пульса нет.

— Давай еще! Чисто!.. Пульс? Не слышу!

— Есть... 20.

— Знаешь, мне иногда кажется, точнее, снится, что я лежу на столе и в то же время стою рядом — реанимирую сам себя. И если я не спасу сам себя, то меня уволят с работы. Бред какой-то. Давление?

— 60 на 20.

— Вот так, студент. Как думаешь, выживет?

— Не знаю.

— Ну как ты это себе ощущаешь? Какое-то ощущение у тебя есть?

— Я думаю, все-таки выживет.

— Почему?

— Какая-то уверенность... она исходит от вас.

— От меня? — и тут Александру Александровичу Буглинскому стало не по себе, словно он забыл выключить чайник дома. "Зачем это все?! — пронеслось в голове. — Хотя, это, может быть, просто лезть".

Юлечку хоть на вечер, хоть на пару часиков на прогулку. Он твердо знает, что его соображения, высказанные уже много раз по поводу излишнего баловства, необходимости соблюдения режима и приучения ребенка к "своей собственной семье" должны быть уяснены всеми. Под плач Юлечки, рвущейся к нашей троице, разговор заканчивается. Ребенка уводит озабоченная мама, наскоро, через плечо, сообщая о домашних новостях.

В грохочущих всеми своими запчастями "Жигулях", едущих тем же маршрутом, — томительная духота. Виктор бросает машину вправо и ругает неумелого удалого водителя внедорожника, промчавшегося мимо них. Всегда что-нибудь не так на этой дороге! После резкого толчка его спутницы возвращаются в тряское равновесие, и далее — все молчат, следя из окон машины за встречным движением и убегаящими городскими пейзажами.



Два рассказа

Отрывок

— Тебе просто нужно понять, что эти люди тебе чужие. Сегодня они есть, завтра их нет. Например, как птицы — сейчас они кружат над тобой, а через пару минут улетят и будут еще где-то. А над тобой останется чистое небо, и ты спокойно будешь смотреть на облака, похожие на те, которые были здесь какое-то время назад... На самом деле твоя задача смотреть не за птицами, а за небом. Заметить какую-то деталь, запомнить, какое оно, потому как птицам на самом деле все равно.

— Птицам, наверное, вообще все равно.

— Мыслишь правильно, но люди-то не... О-па! Что с давлением?

— Падает.

— Адреналин... Видел, как падают птицы?!

— Нет.

— Ничего страшного... Мы еще поборемся. А еще дело в том, что когда в небе никого нет, оно надоедает. Хотя тут, похоже, нет шансов... Что стимулятор? Почему замерли? Стимулятор готов!.. Убрали руки! Руки убрали! Чисто! Как чистое небо... Пульс?!

— Пульса нет.

— Давай еще! Чисто!.. Пульс? Не слышу!

— Есть... 20.

— Знаешь, мне иногда кажется, точнее, снится, что я лежу на столе и в то же время стою рядом — реанимирую сам себя. И если я не спасу сам себя, то меня уволят с работы. Бред какой-то. Давление?

— 60 на 20.

— Вот так, студент. Как думаешь, выживет?

— Не знаю.

— Ну как ты это себе ощущаешь? Какое-то ощущение у тебя есть?

— Я думаю, все-таки выживет.

— Почему?

— Какая-то уверенность... она исходит от вас.

— От меня? — и тут Александру Александровичу Буглинскому стало не по себе, словно он забыл выключить чайник дома. "Зачем это все?! — пронеслось в голове. — Хотя, это, может быть, просто лезть".

— Знаешь, студент, будешь так думать — ничему не научишься! Ничему. Даже не будешь знать, что ты в пустоте. Пульс?

— 40.

— Давление?

— 65 на 30.

— Почему?

— Что почему?

— Почему в пустоте?

— Потому что вокруг ничего, кроме тебя, не будет... Что ты задержался?

— Представил, как быть с этим один на один.

— Это и значит быть в пустоте... Сестричка! Кардиомин... Пульс?

— 45.

— Давление?

— 65 на 30.

— Пульс?

— 50.

— Давление?

— 65 на 35.

Буглинскому показалось, что он засыпает.

Александр Александрович проснулся на следующее утро в пустой комнате. Если говорить точно, то комната не была полностью пустой. Но вид скудной мебели — стула и кровати — не позволял говорить в этой комнате о точности.

Со сна комната показалась Буглинскому чужой. Но после взгляда на белый, похожий на брошенный в ординаторской халат, потолок чувство это прошло. Буглинский взглянул на остановившиеся часы и понял, что это было чужое чувство.

— Доктор, он умирает!

— Вижу, — точнее было сказать, что Буглинский чувствовал, что больной сейчас умрет. Но, по-видимому, ничего не мог сделать. Он только вглядывался в лицо больного и ловил себя на мысли, что больной похож на студента, который приходил вчера, а может, — еще на кого-то очень знакомого, очень близкого. Но момент был не тот, чтобы вспоминать:

— Чистое небо — это когда не падают птицы.

— Что вы говорите?

— По-моему, все...

После того как больной умер, и тело увезли в морг, Буглинский долго сидел в одиночестве и тупо смотрел в карточку. Ему казалось, что если он

начнет писать, то вбежит медсестра и скажет, что привезли кого-то еще. И тогда нужно будет встать, выйти в пустой коридор и бежать через все крыло, словно оставляя что-то у себя за спиной. "Как иногда страшно оглядываться, особенно, если знаешь, что позади никого и ничего нет".

Но в этот раз больных больше не привозили. И Буглинский пролежал остаток ночи на кушетке, не в силах заснуть, потому что какая-то птица страшно кричала во мгле за окном, перелетая с места на место.

Рассказ, которого нет

Б. К.

Будем считать, что меня нет. Нет ни в парке с холодными осенними листьями, ни на берегу моря, где волна катится с такой скоростью, словно она думает, что вовремя не успеет разбиться о камни.

Будем считать, что меня нет даже в узком, будто сжатом обстоятельствами, переулке, где так хорошо видно твоё окно.

Будем считать, что меня нет в маленькой пивной, где все за все уже заплатили. Осталось рассчитаться за пиво и уйти — только знать бы куда.

Будем считать, что у меня в комнате не стоит твоё фотография. Будем считать, что я там вообще уже не живу.

Будем считать, что меня нет в больнице. И длинные белые коридоры тихо уносят измученные капельницами души умерших, и они уже не оглядываются, чтобы что-то крикнуть мне вслед. И от этого становится еще тоскливее в той больнице, где я работал.

Будем считать, что у меня не стучит сердце так быстро, словно оно смертельно боится не успеть закончить свой стук до конца моей жизни. Будем считать, что сердца у меня вообще нет. А еще у меня нет руки, которой я касался твоих волос. Нет имени, которое ты позабыла.

Будем считать, что в моей голове тишина, как в покинутом мною доме. И никто уже не потревожит ее.

Будем считать, что я тебя никогда не любил. А ты любила меня всегда.

А еще будем считать, что я не падаю сейчас с крыши 16-ти этажного дома, думая, что все когда-нибудь кончается, кроме этого падения. А еще думая о том, что пока я лечу, меня никак нельзя вычеркнуть из всего, что есть и что было.

Поэтому будем считать, что меня нет, не было и не будет.

А еще будем считать, что никто не писал этот рассказ никогда.

Профессор-убийца

В кабинете директора дипломатического лицея зазвонил телефон. Звонил ректор сельхозинститута, по новым временам звучно переименованного в Академию животноводства и зерноводчества. Наш директор тоже был не лыком шит: хозяин новенького с размахом построенного лицея, хоть и разменял восьмой десяток, все еще владел ситуацией — на обкомовских харчах старость и атеросклероз делают скидку на пару десятков лет.

Хорошо поставленным голосом и, все-таки, несколько неуверенно, ректор выложил свою ошеломляющую новость:

— С вами говорит ректор Академии животноводства и зерноводчества. Мы в курсе дела, что профессор нашей Академии Штрудельман только что убил преподавательницу вашего лицея, и немедленно примем меры. Мой секретарь уже подготовил приказ об увольнении профессора Штрудельмана.

Закаленный в буднях великих строек и выплывший в мутных водах перестройки директор лицея оторопел. Но обдумывать ответ не пришлось — в трубке раздались короткие гудки. И директор побежал... В огромных окнах коридора замелькала фигура запыхавшегося немолодого человека. Опротев по лестнице на второй этаж, и опять — вдоль достойно несущих европейский ремонт стен — в учительскую.

— Где?!

Учителя застыли в вопросе.

— Где труп?

Постановщики "Ревизора" изошли бы завистью при виде этой немой сцены.

Кое-как объяснив ситуацию, которая в эпоху безнаказанного и санкционированного отстрела не казалась таким уж сюрсом, директор разослал гонцов. Призваны были все — для проверки личного состава и выявления личности трупа методом исключения.

В Академии события развивались не менее фантастично. Полчаса назад профессор Штрудельман ворвался на кафедру с криками:

— Помогите мне! Я только что убил женщину — учительницу дипломатического лицея!

Молоденькие аспирантки не поддались панике — профессор Штрудельман не имел ни малейшего шанса ошеломить их таким заявлением — они бы не поверили, даже если бы он представил доказательства.

Пятидесятилетний математик представлял собой вымирающий вид русской профессуры. Правда, к русской профессуре его можно было отнести с двумя оговорками. Во-первых, как вы уже, наверное, догадались по вкусной фамилии, — профессор не был русским. А, во-вторых, среди математиков бытует представление о школах русской и еврейской математики. По мнению все тех же математиков, представители первой — интуитивно генерируют идеи, а второй — находят им логическое объяснение.

Рассеянность и архаизм профессора Штрудельмана были лакомым кусочком для студенческих КВНов и кафедральных капустников. Погруженный в процесс сложных логических построений, профессор не то чтобы не узнавал своих коллег и студентов, когда шел по коридору, нет, он узнавал их и даже готов был поздороваться, но происходило это с неким запаздыванием. Это было забавно наблюдать: он всплывал на поверхность реальности, приостанавливался, даже открывал рот, но, осознав, что время упущено, погружался вновь. Между тем каким-то образом ни одна женщина или студентка в институте не могли упрекнуть профессора в отсутствии галантности — всё так же, не выплывая из задумчивости, он приостанавливался в дверях, чтобы пропустить даму.

По институту ходила байка. Однажды профессора Штрудельмана вызвали на ковер. Обычно снисходительный к студентам и их непричастности к его предмету, профессор отказался ставить зачет студенту Салтыкову. Не то чтобы этот молодой человек был уж отпетым хамом. Просто — некий люфт в воспитании. Да и откуда? Отец юноши сколотил капитал в благословенные времена челночников, и, обеспечив сына машиной, квартирой и прочим антуражем, разумно позаботился и о получении чадом образования. Отсутствие дипломатического лоска проявлялось иногда в, так сказать, робкой наглости парня. Он не хамил, нет, он просто не подозревал, что его неумение завуалировать свои претензии и запросы выглядят как наглость и хамство. А допотопный профессор по каким-то глупым, мелочным причинам отказал молодому человеку в своей обычной снисходительности. Оба "мальчика", вероятно, даже не отдавали себе отчет в том, что их неявное противостояние было типичным конфликтом интеллигентности и жлобства. Эта явная причина осталась за кадром, а все остальное выглядело мелочным и незначительным. Но профессор уперся, как пожаловался папе беззлобный Салтыков, "рогом". Отец незадачливого студента обратился за помощью к декану.

И вот — оба упряма на ковре. Битый час вкручивал декан невоспитанному юноше о его неподобающем поведении. И Салтыков даже понял.

Он извинился перед Штрудельманом и протянул руку в знак примирения. Что же наш профессор?

— Молодой человек, вы должны были бы знать, что людям старше вас руку первым не подают.

— А, впрочем, — после затянувшейся паузы, — вот вам моя рука.

Тут уж не только выюноша, но и сам декан, оторопели. Если бы Штрудельман бросил обидчику перчатку, это едва ли произвело бы больший эффект.

А теперь попробуйте представить, что профессор Штрудельман убил... женщину. Аспирантки закудахтали над несчастным профессором, отпавшая его корвалолом и чаем. И постепенно картина прояснилась.

Профессор пришел в лицей к своему бывшему студенту обсудить какие-то вопросы по компьютерной программе. Беседуя с ним, он вдруг вспомнил, что у него вот-вот должна начаться лекция в Академии. Забыв попрощаться, Штрудельман заметался по коридорам лицея в поисках выхода. И, наконец, увидев спасительную лестницу на первый этаж, устремился по ней. Навстречу поднималась немолодая и грузная учительница. Тормозить было поздно! Сметая неожиданную преграду, профессор превратил в жизнь школьную задачку об инерции движущегося тела. Замедленное сознание прокрутило перед ним картину оползающего по лестнице встречного тела, и он даже приостановился у двери. Но понял, что, как всегда, опоздал с реакцией, и помчался дальше.

Теперь мы с вами знаем доподлинную картину "убийства". Мы, но не Салтыков. Слоняясь по коридору, он стал свидетелем "явки с повинной" и помчался докладывать, но даже не декану, а самому ректору.

А дальше — отмотайте ленту к началу.

Итак, в учительской лицея собрался весь наличествующий педсостав. Молоденький учитель информатики признался, что, действительно, к нему на прошлой перемене приходил его бывший преподаватель математики и как-то странно, не попрощавшись, с криком "Лекция!" умчался, судя по всему, в Академию. Еще раз всех пересчитали. И не досчитались — Екатерины Ивановны — учительницы биологии. Все лестницы, коридоры и туалеты были обысканы на предмет нахождения трупа. И нашли — упрямая биологичка с тридцатилетним стажем отказалась покинуть класс во время урока и продолжала сеять вечное в неразумное. Она пришла, возмущенная тем, что ее отвлекли по столь незначительному поводу: за тридцать лет бывали казусы и похуже, чем пара ушибов, которые она получила из-за этого "невменяемого чьего-то папаши".

Когда потерявший в этой истории пару льготных обкомовских лет жизни бледный директор лицея вошел к себе в кабинет, телефон разрывался. Звонила Красивова — заведующая горобразованием.

— У вас такое ЧП — убили вашего педагога, а вас нет на рабочем месте! Где вы ходите?!

Несколько дней спустя в Академии выработали смягчающую обстоятельства и снимающую с происшедшего анекдотический налет версию: секретарь ректора собственными ушами слышал, как профессор Штрудельман сказал, что убил учительницу дипломатического лицея. Только он сказал, что убил ее словом, а им послышалось "колом".

Вечно с этим странным Штрудельманом какие-то неприятности!



Старик

Повесть

Возраст человека —
это калечество его лет

1.

— Не верю! Не верю! — орал Марк на пробах.

Ах, ты ж, Станиславский, мать твою за ногу! Он не верит! Большой знаток жизни! Марк Пушкинский — кто ж его не знает? Выдающийся кинорежиссер. Заслуженный деятель искусств. Все его уважают, все с ним считаются. Он — метр. А мне он — вроде крестного. Я его с детства всегда называл "дядя Марик". Друг семьи. Падла. Что меня с детства в нем раздражало — так это его золотые зубы. Сейчас, правда, когда он забурел, он их поменял на металлокерамику. Следит за собой. Ему никогда в жизни не дашь его 55 лет. На киностудии, наверное, нет ни одной юбки, на которую он не положил бы свой похотливый глаз. Милейший человек! Он далеко не дурак, справедливости ради надо отметить. С ним бывает интересно. Куча знакомых в самых верхах. Энциклопедия в голове. Но сволочь — редкая.

Когда умер папа, Марк проявил заботу о маме и обо мне тоже. Он даже стал у нас чаще бывать, чем когда папа был жив. Тогда он еще работал в театре. Мне было 15 лет, когда папа утонул. Самое время определяться. Марк посоветовал засунуть меня в театральное, на актерское отделение. В этом он помог. Его первая жена была женщиной "меркантильной и ограниченной", а другими словами, она не могла привыкнуть к тому, что у Марика сменялись бабы, как перчатки. Она, в конце концов, его бросила. Но это было уже после папиной смерти. И с тех пор он к нам зачастил. Мне он рассказывал кучу всяких интересных вещей — о театре, о литературе, и вообще "за жизнь". Но тут все было просто — он положил глаз на маму. Она была далеко не старухой, да и с мозгами там было все в порядке. Я этого тогда, по своей наивности, не видел. Дядя Марик — как свой, родной.

И вот как-то раз Марк пришел к нам под вечер и заглянул сперва ко мне. Я этого вторжения никак не ожидал, и даже не успел загасить папиросу. Не то чтобы я очень боялся, просто жалел маму. Я-то уже год, как начал курить. Увидев мое смущение, Марк повел себя дипломатично:

— Ну, ну, Витек! Не надо так резко. Ты слишком усердно изображаешь, как ты занят уроками! Будущему актеру надо играть тоньше. Вытащи из книги папиросу — она сейчас загорится.

— Дядя Марик! Только пожалуйста, маме — ни слова. Я думал, это она идет.

— Ну что ты, Витек. (Я б его убил за это "Витек". Папа звал меня просто Витя, а мама чаще — Витюша.) Мы же взрослые мужчины. Я не доношу. Но... Если уж так сильно хочется, возьми хорошую сигарету, не трави себя, — он достал пачку "Кэмэл" и предложил мне. — Если и правда, хочется закурить.

Я взял штатовскую козырную сигарету и подумал: "Легко тебе говорить. А бабки где? Можно купить десять пачек "Беломора". Кстати, батя именно его и курил. Ну и что? Марк продолжал:

— Идея, Витек! Если ты не хочешь огорчать маму, есть выход. От тебя сейчас все равно никотином прет на километр. Тебе надо проветриться. В летнем сейчас идет американский фильм про ковбоев. Две серии. Как?

— Классно, конечно, но у меня... это... Нету...

— Не волнуйся, я все понимаю. Сам таким был. Вот, возьми, это тебе, — он засунул мне в карман рубашки сложенную ассигнацию.

— Последний сеанс в восемь. Успеешь?

— Да. Я уже уроки сделал. Вот только как мама?

— ..А, да я ей сам все объясню. Она тебя пустит. Надо же будущему актеру видеть, как играют настоящие кинозвезды! Или я не прав?

Не знаю, что он там маме говорил, но меня в кино пустили без проблем. Я же, вместо того, чтобы преспокойно себе идти в кино, зацепился с друзьями. Они, конечно же, узнали, что я сегодня — богатенький Буратино, и сели на хвост. Раскрутили меня на пиво. Откуда-то взялась гитара, и мы два часа просидели под забором, с полным кайфом, пока эти придурочные ковбои палили друг в друга из кольтов. Потом я спохватился и побежал домой, потому что уже совсем стемнело, а часов у меня не было.

Возле самого дома меня удивило то, что в окнах света не было. Правда, скорей всего, Марик тоже пригласил маму в кино, и они еще не пришли. Тем лучше. От меня, наверное, несет, как из пивной бочки. Лягу тихонько и буду спать, как зайчик. Я подошел к дверям, но они оказались незапертыми. Это уже странно. Изнутри доносились непонятные звуки, какая-то возня, шепот. Может быть, кто-то залез к нам в квартиру? У ме-

ня все похолодело внутри. Я замер и прислушался. Различил мамин голос, тихо-тихо:

— Нет, Марик, пожалуйста, не надо. Витя же скоро придет!

А голос из темноты ответил ей:

— Там две серии. Он придет не раньше десяти. Лида, ну давай же!

— Нет, я так не могу. Пусти.

Я подался всем телом вперед, и дверь скрипнула. Послышался звук, словно кто-то скатился с дивана на пол. Потом включился свет, и я увидел Марика на карачках у дивана, а мама сидела и куталась в шаль, щурясь на лампу.

— А, это ты, Витек, — чересчур бодро произнес Марк, — Что, кино уже успело кончиться?

Я хотел было поинтересоваться, успел ли он, но постеснялся маму.

— А вот, кстати, и она, — сказал Марк, показывая мне запонку, которую он только что, с понтом, нашел на полу.

— Я полез ее искать и задел шнур...

А еще актер! Меня учил не переигрывать! Но если ты задел шнур и вырубил лампу, то почему вы оба щуритесь, как на яркое солнце? Ну, Марк, не ожидал... Не то чтобы это меня сильно поразило. Я уже знал, откуда берутся дети. Но моя мама... Наверное, это был типичный эгоизм с моей стороны.

С тех пор Марк стал бывать у нас реже, улыбки его стали фальшивей. Мама долго тогда пыталась оправдываться, хотя это было лишним, я думаю. Она ведь его не любила, как папу, я это точно знаю. Мы продолжали видиться: у нас, у общих знакомых, но "дядя Марик" перестал быть родным. Мы с ним никогда не выясняли подробностей, но отношение изменилось. А потом он подложил мне свинью на выпускном экзамене по специальности. Он был в комиссии, а мне попался монолог Чацкого. Марк подошел ко мне и шепнул, что Вильницкий, председатель комиссии, балдеет на новаторстве, любит гротеск. Короче, все, что мы репетировали раньше, — не годится, это не понравится. Я клюнул на эту наживку, и мне еле натянули тройбан. Потом уже Людмила Соколова (дочка Веры Степановны, которая вела у нас сцендвижение) рассказала, что Вильницкий чуть не взорвался от моей интерпретации Грибоедова:

— Марк Александрович, это и есть ваше хваленое протезе?

А Марик (разговор шел на кафедре, после экзаменов), спокойно ответил:

— Вы имеете в виду эту юную бездарь? Да, я знал его отца. Мальчик

остался сиротой, жалко его. Но это не значит, что кто-то собирается сделать из него Качалова. Надо трезво смотреть на вещи. Я это давно понял.

Мелочь, а приятно. Вот какой Марк Александрович Пушкинский душевный человек.

2.

Но это так, кстати о птичках.

Много потом было всего. Я кое-как устроился в ТЮЗ и изображал там всяких козлов. Иногда мне даже нравилось. Особенно, когда выбегаешь на авансцену и орешь в зал, сидя на метле: "Деточки! А куда Аленушка с Иванушкой побежали?". И весь сопливый зал тыкает пальцами в сторону, противоположную истинному положению вещей. Это — единственная ложь, которая доставляет мне радость.

Так вот, среди бела дня взорвалась бомба: Пушкинский был на фестивале в Милане, познакомился с самим Энрико Бранцотти, и они собираются здесь, у нас, снимать фильм совместного производства! Еще бы не бомба! Ведь у Бранцотти "Оскар", как у собаки — блох. Надо было суметь уломать его приехать сюда, делать кино. Сценарий, они, вроде бы, написали вместе: своеобразная окрошка по мотивам русской классики. Тут и Толстой, и Достоевский, и Антоша Чехонте. Всего понемножку. Рабочее название фильма — "На склоне", про героя, который в молодости жил хорошо, но неправильно, а к старости стал жить правильно, но плохо. На главную женскую роль шла Луиза Бранцотти (а кто спорит?). На мужскую же (возрастную роль) объявили конкурс среди нашего брата. То-то было!

Я, конечно, понимаю этого Бранцотти: не то чтобы он так уж уважал маэстро Пушкинского. Все, что он говорил на публику — это из чистой вежливости. Не надо забывать, что Марк сделал себе "заслуженного" на очередной ура-патриотической проституции. Это всем известно, но кто ж этим не грешил? Другое дело, что кроме этого он еще кое-что умел, это факт. Но дело даже не в том: Бранцотти отлично понимал, что делать кино у нас — это чистая шара по сравнению с Италией, не говоря уже о Голливуде. Бесплатное удовольствие. Ну, выложит он полтинник баксов (тысяч), так ему не только сыграют, снимут, смонтируют и озвучат, так еще и поцелуют (именно туда, куда вы подумали). Фильм, насколько я понял, без особых трюков, так себе, психологический триллер, как сейчас говорят. Никаких тебе авианосцев, Шварценеггеров, катастроф, массовок. Все достаточно камерно. Зато родимые просторы, березки, степи — о нату-

рель, бесплатно. Как замечательно будет смотреться его Луиза в стог русского сена! Пушкинский было заикнулся насчет того, чтобы одну из сцен снимать в Париже, благо, сценарий это предусматривает, но умный итальянец заметил, что парижский эпизод снимается при спущенных шторах, так что Эйфелевой башни все равно не видно, а раз она не фигурирует в кадре, то все это можно воссоздать и тут, на месте. Пушкинскому оставалось только скатать губу. Так что, Маричек, сиськи на Мулен-Руж покрутятся без твоего участия, а вместо омаров от Максима будешь хавать кильку в томате, заслуженный ты наш.

Но это все — экономическая подоплека. Если же говорить серьезно, то Бранцотти — мужик с головой, его на мякине не проведешь. Так, как он работает с актерами, это поискать. Я видел его фильмы: "Мертвый павлин" и "Самолет летит" — это нечто! Там и сюр, и абсурдизм. Актерский ансамбль великолепен. Каждый в отдельности и все вместе. Поэтому наша актерская гильдия загудела, как улей, потому что сняться у Бранцотти — значит автоматически попасть в международную обойму, и в Голливудский компьютер, кстати, тоже. Вот они все и кинулись на пробы.

Многих сразу же отшил Марк: очевидные дебилы. Несколько завалил Энрико — он неплохо знает русский, а из тех, кто прошел эту Сциллу и Харибду, еще парочку отозвали по настоянию Луизы. Было ясно, что она не может лечь с ними в один стог, даже в кадре. Таким образом, нас осталось всего пять претендентов на роль, и я в том числе. Двое из драматического, двое — просто безработных актеров, но с хорошим послужным списком в кино, и один я — тюзовское отребье. Когда мы собирались вместе, я понимал, что мои шансы невелики, а они смотрели на меня, как смотрят любящие родственники на ракового больного. Когда мы пробовались в эпизоде с героем "в молодости" — все шло нормально, я даже видел, как Луиза уже предвкушала мое соседство по стогу. Бранцотти тоже был доволен, но Марка, видимо, жаба задавила. Поэтому, когда пошли пробы с гримом (состарившийся герой), — Марк при всех заорал на меня:

— Не верю! Не верю! Ты понимаешь, Витя, что твоему герою семьдесят лет? Здесь твое молодое позерство не подходит! Это надо сыграть изнутри, так, чтобы мать родная не узнала. Нет, это полный примитив, никуда не годится.

Бранцотти вежливо перебил его и что-то сказал. Мне, в отличие от Марка, было хорошо видно, как каблук Луизы атаковал его ботинок. Марк несколько остыл и сказал:

— Спасибо, на сегодня все свободны. Мы посоветовались с господи-

ном Бранцотти и решили окончательные пробы перенести на месяц. Ему пока нужно съездить в Италию, уточнить насчет финансирования. Так что у вас будет время лучше подготовиться. А тебе, Витек, я честно скажу: ты мне как родной. Без обид, ты же меня знаешь: я бы тебе с удовольствием дал эту роль, но не за красивые же глазки! Ты убеди меня, убеди всех, чтобы все поверили, — и она твоя!

Когда все разошлись, я еще раз прикинул свои шансы: мне только немного перевалило за тридцать. Как раз — ни туда, ни сюда: для старика не слишком зеленый, да и за юношу еще сойдет. Я хотел еще раз переговорить с Марком — неужели он не видит, что у меня действительно неплохо получается? Или это его обычный сволочизм? Тогда мне уж терять нечего, по крайней мере, выскажу все ему в глаза. Я дождался, пока народ немного рассосется и заглянул в дверь группы. "На склоне" — гордо гласила табличка на двери, — "Реж. — Бранцотти-Пушинский". Напротив входа стоял шкаф с инвентарным номером на задней панели из ДВП, о которую уже загасили не один окурок. Марк специально поставил шкаф у входа, на манер ширмы. Я еще не выглянул из укрытия, как различил грудное контральто Луизы:

— А этот последний актер (она говорила: "актер") — по-моему, *dulcissimo*.

— Кого имеет в виду синьора? — прикидывался дурачком Марк.

Бранцотти переспросил:

— *Vero? Ti piace, sole mio? Allora, per provo...*

Но тут опять влез въедливый голос Марка:

— Это все решится "син проблем", как видите, актеры у нас "ин кондисьоне". Я надеюсь, Энрико (он понизил голос), что вы приедете до двадцатого числа? Так вот, я уже сейчас вас с Луизой официально приглашаю на свой юбилей... Нет, никакой шумихи, никаких репортеров... Все будет на моей... вилле у моря. Совсем по-домашнему. Я очень обижусь, если вас не будет.

— Граци, Марчелло, — пробасил итальянец, — мы постараемся, обязательно. Граци.

Вот оно что! "Никаких репортеров"! Старый плут. Естественно, он мог бы вполне расколоться на кабак для своих гостей, но это же совсем другая песня! А представьте: Бранцотти и Марик в "домашней обстановке"? Я уже заранее видел их фото в обнимку где-нибудь на обложке киноальманаха, на марковской даче ("вилле", — сноб проклятый!), в гамаке. Марк, естественно, потом будет всем заливать:

— А что, говорю, брат Энрико? А он мне отвечает: "Да, так вот, брат...".

Я не стал светиться, тихонько закрыл за собой дверь и решил про себя: "Я на этот юбилей тоже как-нибудь попаду". У меня есть месяц с небольшим. Погоди, Марк! Будет тебе паблисити, а у меня будет — роль, или пусть меня покрасят!

3.

Когда я выходил со студии, остановился у вахты, чтобы позвонить. На вахте сидел дядя Миша, старый вохровец, такой же седой, как и десять лет назад. Фамилия у него была необычная: Дозвон. Не Довзон какой-нибудь, а именно Дозвон, словно его предки все время кому-то дозванивались. Михаил Устинович Дозвон. Сам он говорил, что у него дед из французов. Очень может быть, что какой-нибудь д'Озвон осел в России после 12-го года, суть не в этом. Прозвище у него было уникальное, хоть и за глаза. Уж очень не любил Устиныч, когда в списках его инициалы ставили перед фамилией, а не после. Это его просто бесило. А так — милый старик. Я попросил телефон, он любезно разрешил, "только недолго", справился, что там опять Марк Александрович затеял снимать.

Я звонил Сане, своему школьному другу:

— Да, это я, — услышал я в трубке родимый голос. — Привет, грязный подонок. Водочки попьем? У тебя как с финансами, голяк?

— Нет, алкоголичек, кое-что еще наскребется. Я к тебе по делу.

— Давай, рассказывай, — и вдруг: — Линда! Сука! Пошла вон! Вон пошла! На место, я сказал!

(Линда — это очаровательный русский спаниель.) Затем я услышал еще более конкретный адрес, куда посылалась Линда, и наступила пауза.

— Сань, алло! Я тебя только хотел спросить: у тебя сейчас дача свободна? Можно пожить, или как?

— А ты, что, один собираешься там жить? Тогда, скорей, или как.

— Сань, мне роль дают, очень крутую. Мне надо некоторое время побыть одному, ну, это... в образ войти, что ли. Дома не могу, все достало.

— Вот что с человеком делает алкоголизм, — здраво заключил Саня. — Ну, значит, я жду. Зацепи по дороге гранату, а похавать у меня есть. Пока!

Я повесил трубку, поблагодарил Устиныча и вышел на улицу. У меня созрел план.

4.

План получался действительно грандиозный. Люблю я мистификации всякие. Попадался мне как-то в институте рассказец О'Генри "Перестарался" (или как-то так, "He overdid it" — по-английски. Перевод мне не попадался). Поди, знай, когда тебе что пригодится! Там, короче, актеришка хотел получить роль деревенского простачка в мелодраме с участием некоей примадонны. Фамилия у нее была аристократическая, не помню уж, какая, все равно — псевдоним. А сама она была из глухой деревни, и настоящая фамилия была, конечно, плебейской — то ли Джонс, то ли Фокс, если не Смит. Чтобы убедить ее в достоверности перевоплощения, парень едет на рекогносцировку в ее деревню (Cranberry Corners) — что-то вроде наших Чертовых Куличек — и узнает всю ее подноготную, собирая деревенские сплетни. В итоге он настолько убеждает великую актрису, что она, не раскусив обмана, бросает все к черту — театр, премьеру, постановку — и срочно уезжает в деревню. Несостоявшийся партнер примадонны понимает, что он перестарался.

Вот так и я. Думаю, О'Генри простит мне этот маленький плагиат. Нет, более того! Я бы назвал это творческим развитием темы! Дело в том, что у Марка где-то в Кремидовке живет родной дядя, о котором он не раз упоминал. Дядя Коля был учителем литературы, воевал, после войны был репрессирован по доносу, а потом, после Сибири, ему что-то скостили, выслали жить на 101-й километр. Именно он в свое время, когда Марк еще был мальчишкой, и они жили вместе, привил отроку интерес к литературе. Марк всегда тепло и с тоской отзывался о нем. Меня только удивляло, как это при такой ностальгии он ни разу не навестил дядю, с тех самых пор. Это была икона, но за стеклом музейной витрины, пардон за тавтологию. Вот я и подумал, а что, если...

5.

Маме я сказал, что мы с трупой едем на гастроль, возможно, что долго. В театре я взял отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. Там поворчали, но подписали все-таки, потому что на мои-то роли замена была. Я был тогда даже не Иван-дурак, а всего лишь Кощей на один акт, да еще Баба-Яга, и вот этот, как его, "Сниб, снаб, снурре" — из Снежной Королевы. Это все весело, забавно, особенно, если не тридцать раз в сезон, а по сложности перевоплощения это сравнимо лишь с камнем преткновения актерского мастерства — вечной ролью "Кушать подано".

С Сашей мы договорились. Он дал мне ключ от дачи, но попросил при

этом не ломать его кровать. Мы основательно "попили водочки" и даже начали спаивать Линду. Потом Саша устал и отключился, — я еще подумал: "Какой слабак...". Утром мы позавтракали "братской могилой" (все те же кильки в томате), а Линда так и не выползла из-под шкафа. Спину ломило после ночи на стуле. К часу дня я все-таки выполз наружу и поплелся на вокзал. Взял билеты до этой самой Кремидовки, туда и обратно, и отправился навстречу приключениям.

Прибыв на место, я зашагал от станции к школе, и мне вспомнилась загадка, известная в свое время: Что общего у атомной бомбы с коммунизмом? — И то, и другое, стирает грань между городом и деревней. Тут же были стерты грани между дорогой и кюветом, между русским и украинским, между трезвостью и нормой жизни. И еще приятная деталь: идешь по улице и не ощущаешь шоры на глазах, в виде домов. Чтобы увидеть небо, недостаточно просто поднять глаза, а надо еще повертеть головой, от горизонта к горизонту. Земли визуальнo становится меньше, и хочется простить ей все ее маленькие изъяны. Невероятное количество кузнечиков — из-под ног. Запах навоза загадочнее любых "Парфюм де Франс", и начинаешь понимать, что женщина — не единственное достижение Творца, хоть они и пытаются уверить нас в обратном. Гуси мычат, собаки квакают, блеют вороны. В общем, благодать.

6.

Вот и школа. Двухэтажная, квадратная, розовая, как мечта детства, — и пустая. Техничка бальзаковского возраста моет коридор. Я поздоровался и сделал попытку узнать, как найти дядю Колю. Я, мол, из города, от родственников, с приветом.

— Який Николай Иванович? А-а-а... Так вин вже давно на пэнсиі. Так, так, вам скажуть. Я ж сама в нього вчилася. Отак пидете, биля церкви, та й у самый кінєць. В нього така хата голуба. Побачитє.

Отлично, значит он, по крайней мере, жив. Я узнал его сразу, как только увидел. Это был худощавый старик лет восьмидесяти, во френче цвета чайной розы. В молодости, он, вероятно, был выше меня, если сейчас я был только на пару сантиметров выше его. Жиденькая бороденка, редкие седые волосы и очки в пластмассовой оправе, с большими диоптриями. Божий одуванчик! А là академик Зелинский (тот самый, который изобрел противогаз).

— Здравствуйте, Николай Иванович! Я не ошибся?

— Доброго здоровья, молодой человек. Да, я — Николай Иванович. Может, зайдете?

— Спасибо, — я закрыл за собой калитку и приблизился к нему. — Я тут проездом, вот Марк Александрович и просил меня заглянуть к вам, передать привет.

— Так вы от Марика? — засуетился старик, — что ж мы стоим? Пожалуйте в дом! Проходите, будьте как дома, — он взял меня за руки так, будто боялся, что я сейчас исчезну.

Он завел меня в прохладную комнату, усадил на стул и стал созерцать, так, что я первый нарушил паузу:

— Марк Александрович... В общем, дядя Марик просил узнать, как вы тут... Он сейчас очень занят, особенно последнее время... Иногда, знаете, даже и письма некогда толком написать... но это ничего не значит...

— Да-а. Спасибо еще, что хоть открытку прислал в прошлом году, с Днем Победы. А так — думает, наверное: что толку писать — старик все равно из ума выжил...

— Ну что вы. Я уверен, он так не думает. А писать письма — это действительно не всегда получается. Подробно — не выходит, а по две строчки, для проформы — тоже не лучший вариант. Он так и говорил.

— Значит, лучше совсем ничего... — он загрустил, помолчал некоторое время. Я не встречал, пока он сам не улыбнулся и не сказал: — Вы уж извините, а то я на вас набросился. Это сгоряча. Я все понимаю, жизнь сложная. Когда сидишь без дела, скучаешь, а когда занят? Думаешь, где бы только минуту выкроить! Где уж тут скучать? Знаю, знаю и не обижаюсь. Но все-таки, за столько лет мог бы хоть раз заехать ко мне, ведь, небось, по всей стране катается! Что ж, мне о нем только в газетах читать? Ладно, ладно, не буду.

Мы поговорили о том, о сем, старик немного отошел. Я рассказал ему, кто Марк для меня — друг и учитель. Поговорили о моей работе в кино, о Марке. Потом я порасспросил его. Он отвечал охотно, и мои уши были полностью в его распоряжении. Где он воевал, за что его репрессировали:

— Вот так, в один прекрасный день... Я так и не понял, за что... Бог его знает, нашелся же какой-то мерзавец...

Он говорил "Што" и "Бох", то есть вполне по-русски, в отличие от Марка ("Ч-Ч-Ч-Что" и "Бог-г-г-г-г"). Я выпустил множество фактов из его рассказа, поскольку все внимание невольно сосредоточивалось на том, как он произносит слова, звуки. Я анализировал интонации, темп, особенности речи, связь с жестами, мимикой, манеру делать паузы, подчеркивать отдельные слова. Изучал его поверхностно и формально. Но даже знакомство с речевым аппаратом было для меня делом не последним. Еще

он очень забавно произносил "мЭтр", "сантимЭтр", "катЭр", т. е. с твердой "Е", а также "кОнцерт", "кОнсерватория" — с латинским, не "акающим", безударным "О", как в наше время произносят разве что "кОнтратака". Так, будто эти слова еще не вошли в обиход, и с ними обращаются, как с почетными гостями нашей речи, а не запанибрата. Да, Николай Иванович, если это есть, то уж есть в крови. Я уловил вопросительную интонацию и затем паузу: старик ждал ответа. Мне стало неловко перед ним, хотя я не мог сказать, что слушал его не внимательно. Я просто совсем НЕ ТО слушал.

Извинился и переспросил. Даже попытался ответить, но не уверен, уловил ли я контекст. Старик, очевидно, решил, что мне его болтовня наскучила и предложил попить чаю в саду, под яблоней. Я не противился.

7.

По клеенке, где местами еще проступал узор, ползали жуки.

Николай Иванович достал варенье к чаю и даже поставил на стол графинчик вишневики.

— Сам-то я не пью, здоровье уже не то, а вот для гостей держу, — пояснил он.

Я не отказывался, учитывая вчерашнее. У меня даже мелькнуло подозрение: а не потому ли старик предложил мне "промочить горлышко", что у меня вид — как с большого бодуна? Что ж, очень мило с его стороны. Он улыбнулся:

— Из всех фильмов Марика я видел только один, давно еще. По-моему, "Огненный шквал", или как-то так.

— Да, был такой фильм. За него дяде Марику дали "заслуженного".

— Не знаю, не знаю. Может, фильм и неплохой, да только видно, что его делал тот, кто сам войны не видел. А вот, например, Лев Николаевич...

— Ну, знаете... Тут я судить не могу. Меня тогда и на свете не было.

— Да, молодой человек. Но есть такие вещи, которые можно почувствовать. Я понимаю, что Марик — для вас большой авторитет. Бога ради.

— Он старался максимально точно воссоздать эпоху, — вставил я.

— Вне всякого сомнения. И это стремление выше всяческих похвал. Но мне лично этот фильм...

Бедняга! Он считал меня марковским апологетом и щадил мои чувства!

— Вкратце об этом "эпохальном" произведении: Действие разворачивается в 43-ем, где-то у моря. Немцы заняли крупный порт, и командование не знает, как их оттуда выкурить. Нерешительные, боящиеся ответст-

венности генералы бесконечно совещаются, а в это время от немецких снарядов гибнут люди. Но вот в штабной блиндаж входит, нет — врывается молодой бравый полковник и сразу рубит Гордиев узел: "Вот здесь надо атаковать!" — говорит он замшелым генералам, учит их жить. А те — только и рады переложить на кого-то ответственность. Они, правда, еще пыхтят: "Этого в истории еще никто не делал. Это просто невозможно!". Но молодой орел говорит им: "Я сам поведу этот десант!". Вот он идет в бой, рвутся бомбы, его смывает волной за борт. Но такого человека так просто не сломить. Он рвется вперед и побеждает. Пафос. Помпа. Все бы хорошо, да только у главного героя — чересчур густые брови. Вот и патриотизм у него вышел какой-то казенный, — продолжил он. — Все правильно: вы думаете, я не орал: "За Сталина!"? Еще как орал! Как все. Но при этом еще и Родину любили, я имею в виду не показуху, конечно. А у него как-то все театрально, в плохом смысле... Не знаю.

Поражала энергия, с которой все это говорилось. Достаточно здраво и точно. Такое впечатление, что он смирился с навязанной ему годами и социумом ролью этакого безобидного маразматика, но временами проскальзывает совершенно нормальный человек.

Словно в подтверждение моих мыслей он уже чисто по-стариковски, игриво сказал, обращаясь ко мне, как первокласснику:

— Молодой человек, а что это вы варенье игнорируете? Это, между прочим, абрикосы исключительные. Весь фокус состоит в том, что перед тем, как закипит сироп, надо добавить капельку лимо...

Калитка открылась и к нам впорхнула некая юная дива. Она подошла к старику, чмокнула его в щеку, потом покосилась на меня. Ее лицо было молочно-белым, как мраморная доска (не оскверненная письменами), и было странно, как это в разгар деревенского лета можно остаться такой бледной.

— Галочка, детка, познакомься. Это Виктор.

Я оторвался от созерцания прочих форм и тоже что-то сказал. Чаепитие продолжили вместе.

— А что, правда, вы артист?

— Ну, это громко сказано, — я очень скромно отвел очи долу. — У вас тут прекрасные места, знаете.

— А в старом монастыре не были?

— Нет еще. Я вот только приехал.

А Николай Иванович продолжил:

— Если хотите, Галя вам все покажет. Места тут очень красивые.

А я пока на часок прилягу, что-то я устал. Вы погуляйте и возвращайтесь. На электричку вы уже все равно не успеваете, ближайшая будет только утром.

Старик пошел в дом, а дива повела меня по местным красотам. По дороге мы раскланились с десятком-другим кумушек, и Галя всякий раз уточняла: "Это из города, к Николай Ивановичу приехали, артист театра." По дороге я узнал, что Галя ему никем не приходится, но его тут все любят и уважают. Хоть родственников нет, а — кто-то дрова поколет, кто-то стирает, помогают ему люди.

— А вы ему кто?

— Да, в общем, никто. Так, попросили меня ему привет передать.

— А-а... (очень зрелищный вздох). А то у него в городе есть племянничек. Единственный. Так он только открытки шлет. За столько лет ни разу не был.

Мы сходили к развалинам монастыря, обошли их вокруг, а она все щепетала: интересно ли работать в театре, женат ли я, часто ли бывают гости за границей, от чего я такой грустный все время. Потом она предложила слазить в погреба: "Представляете, там недавно археологи были! Оттуда есть ход в катакомбу! Пойдем?". Она говорила с жаром, глазки блестя, бегают туда-сюда, как маятник часов. Молодая совсем.

В катакомбы я не полез. Сослался на усталость с дороги. Не знаю, зачем я это сказал. Хотя, вру, знаю, конечно. И не то чтоб неинтересно, да и не устал я ничуть.

8.

Вечером старик был в ударе. Он так наехал мне на уши, что я еле успевал запоминать. Истосковавшись по общению, он рассказывал сам, и мне не надо было ничего выспрашивать. Показывал мне семейный альбом. "Вот это мой отец", — достал он фотографию на толстом картоне, со множеством гербов на обороте. Бравый усач смотрел на меня, и я сразу понял, почему у фото отрезана верхняя часть, на уровне лба. Старик, тем не менее, объяснил:

— Золотопогонник, белая кость. А вдруг увидел бы, кому не надо? В 37-ом пришлось отрезать. Фуражечка-то царская...

Было еще много интересных фоток: Марик в нежном возрасте, Марик школьник, Марик на выпускном вечере.

— Я его тогда называл "Марочка-помарочка". Прямо беда у него была с почерком, — заметил старик.

Интересная деталь. Надо запомнить. С удивлением узнал на одном из снимков свою маму. Они стояли вместе с Мариком и несколькими ребятами. Мама была отмечена крестиком. Я спросил, что это значит.

— Это Марик мне прислал, еще когда учился на первом курсе. Тут — его друзья. А эта девушка — Лида. Он тогда написал, что это его будущая жена. Славная дивчина. Она как-то была у меня. Это ей Марик передал книги для меня, те, что я просил. Чего он, дурень, на ней не женился?

Я промолчал и не признался, кто я ей такой. Молодец мама. А я и не знал.

— А это моя жена покойная, Лариса Георгиевна. Она в семидесятом умерла. Как она с Марком носилась... Как мать родная. А он даже на похороны не приехал, — старик вздохнул и вдруг сердито, в не свойственной ему манере, обронил: — Говнюк!

Теперь мне стало ясно, почему у него на двери в комнате висит старый женский халат. Еще днем, когда старик проходил мимо, я заметил, как он остановился и рассеянно погладил его рукой. Нет, это не фетишизм. Это называется иначе. Мне его жалко стало. Приятный старик.

На следующее утро я уже трясся в электричке.

9.

Приехав из деревни, я уединился на Сашиной даче и решил для начала завести дневник. Пусть мой эксперимент будет запротоколирован. Чтобы потом ни одна морда не сказала мне (в случае успеха), что у меня все получилось случайно. У меня месяц впереди. За этот срок я обязан превратиться в старика, душой и телом, "чтоб мать родная не узнала", как это он ляпнул тогда, на пробах. И дело тут не в Марке. Не стоило бы тратить столько времени и сил, чтобы доказать ему, что он — сноб со "звездной болезнью" и позер. Есть еще Бранцотти, которого я уважаю, хотя бы из-за его фильмов. Но самое главное — узнать самому, на что я способен, чего я стою в этой жизни. (Кстати, я ненавижу это расхожее выражение. Что значит "в этой жизни"? А как насчет "той"? Можно подумать, у меня их миллион. Если допустить переселение душ и т. д. — все равно, самость ограничена опытом одной жизни, хоть ты тресни. Даже если я и был когда-то Чарли Чаплиным, сейчас мне от этого ничуть не легче.)

Этот мой дневник должен стать формулой, "эликсиром старости". Все, что я до сих пор видел и чувствовал, должно сработать: в конце месяца из этой комнаты выйдет настоящий старик. Он будет выглядеть дряхло, он будет рассуждать по-стариковски. Он будет весь пропитан запахом ста-

рости. Конечно, для искусства это не нужно. Этаким протокольный голый натурализм. И не искусство это вовсе. Но ведь "актер не должен думать, он должен играть" — любимая присказка Марка. Или: "У актера нет своей воли. Это инструмент другой воли, как ангел у Господа", — подразумевалось, что режиссер, а именно он, Марчелло — Господь Бог. Но кто сможет выполнять только чужую волю, так, чтобы это смотрелось с блеском? Марк любил сравнивать с архитектором и каменщиком. Но это чистая демагогия, потому что произведение актера — это его образ действия. Здесь архитектор говорит не "построй храм", а "изобрази из себя храм". Разные вещи. Актер — он и строитель, он и материал. Надо знать и себя, и то, что ты намерен выстроить. Так неужели Марк знает меня лучше, чем я сам? Или он побывал в шкуре короля Лира? Ерунда. Его задача — свести к общему знаменателю работу всех, от дяди Вани до "Кушать подано". Но будь он трижды гением, он не вложит каждому дубликат своих мозгов. От этого я, слава Богу, свободен. "Автономия актера".

Ну, хорошо: есть "метод физических действий". Отелло в ярости — и душит себе Дездемону. На здоровье. Джульетта хочет замуж, аж пищит, — плачется кормилице. Кто-то у Стриндберга мнет в руках платочек, кто-то у Шекспира носится с черепком. От самых примитивных до сложнейших чувств — все выражается действиями. Вроде бы ясно. Но Марк имел наглость заявить, что ему наплевать, о чем думает актер: о бабах, о зарплате или о том, как сыграли "Спартак" и "Динамо". Лишь бы он поверил, что перед ним — Гамлет. Опять демагогия. Тот же принц датский произносит: "...любил Офелию, как сорок тысяч братьев... / Что делал ты? Рвал платье, дрался, голодал / Пил уксус, крокодилов ел? / Все это — действия, а их легко сыграть".

Так что, далеко не все равно, о чем думать. Если ты Ромео — думай себе о бабе, пожалуйста, но о своей, любимой. Если ты думаешь о зарплате — ты в роли Скупого рыцаря, а если ты сжимаешь кулаки в ожидании гола, чем ты — не "Игрок"? Думать надо в любом случае о чем-то своим. Если перестать думать (а совсем перестать нельзя), в голову полезет всякий мусор, и это неизбежно приведет к фальши.

Да, я — король Лир. Все, что он делает и говорит, — расписано, тут и думать нечего. Моя задача — узнать, почему он говорит и действует именно так. Вот когда я думаю, что бы я сделал на его месте. А если это не похоже на мой образ действия, я забью себе голову его предрассудками. Но при этом никто мне не распишет, как мне смотреть, вздрагивать и дышать. Это как любовь: можно очень достоверно сделать африканскую

страсть. И бабы на это ведутся. Некоторые — сознательно принимая правила игры (они — не в счет). Ну, ладно, еще одна в коллекции. Радости — никакой. Но стоит сказать себе: "Я ее люблю" — тут тебе и гроб с музыкой. Уже, значит, влип. И она, зараза, это тоже моментально чувствует, даже если ты ничего специально не изображаешь.

Кстати, первый признак того, что ты влип — это когда ты пытаешься это скрыть. Азбука, так ведь?

**АКТЕРСТВО НЕ НУЖДАЕТСЯ В ОБМАНЕ,
ЭТО ОБМАН НУЖДАЕТСЯ В АКТЕРСТВЕ.**

И неважно, что ты делаешь, хоть бы ты абсурдные вещи делал достоверно. Потому что если ты даже правду преподносишь с заведомо фальшивой нотой, всегда найдется умник, который скажет: "Не, Абрам, не крути. Ты таки да едешь в Одессу". Где ж тогда разница между игрой и не игрой? Как говорят в американских фильмах: "Свяжитесь с моим психоаналитиком". Этак, пожалуй, можно и доиграться. Ну, уж нет. Мы средство найдем.

Я достаю с полки листанный-перелистанный засаленный "Playboy" и нахожу самую крутую, на мой вкус, телку. В очень пикантной позе. Ага! Тут даже написано: Джулия. Юлечка, значит. Очень приятно. Вырезаю ее ножницами из журнала и вклеиваю в самый конец чистой пока еще тетради. Это мой якорь. Пока, Юлечка! Она будет ждать меня в конце приключения. Мы встретимся с ней на последней странице.

10.

Я сажусь у зеркала и начинаю корчить рожи. Жуткие. Смешные. Нет, не то, слишком зеленый еще. Рядом лежит фото Николай Ивановича, которое я подло выкрал из семейного альбома. Я его обязательно верну, чтоб я сдох. На фото — ему до семидесяти, они сидят на скамеечке с каким-то мужчиной. Более поздних фотографий мне не попало. Да и надо ли? Марик не видел его куда дальше. Мне нужен типаж, хотя бы отдаленное сходство. Но у него нос мясистый и редкие брови. Нижняя челюсть тонкая, хрупкая. Рот ниточкой, губ не видно. Уши большие и волосатые. Ничего этого у меня нет. Все наоборот. Посмотрим, что можно сделать. Речь пока идет не об актерской игре, а всего лишь о совершенной, мастерской симуляции. Я создаю себе мини-театр, где я — гример, костюмер, бутафор, постановщик движения и речи, исполнитель. Это первая и наиболее легкая часть, так как все это касается внешних проявлений.

Когда-то я читал роман Кобо Абэ "Чужое лицо" и, надо сказать, мне

это мало помогло. Во-первых, у меня нет маски, не располагаю я такими мощностями. Во-вторых, никакая маска не даст мимики в полном объеме. Одна только мысль запала оттуда: маска подчиняет себе человека и переделывает его на свой лад. Не уверен, может быть, отчасти. Хотя — Бог его знает.

Да, интересный у меня выходит отпуск за свой счет!

Пришлось, правда, продать новенький японскенький двухкассетник (и фиг с ним). На карту поставлена карьера. На жратву должно хватить, даже останется. Кое-какими материалами я запасаю. Смотри, что у нас есть: клей, накладная борода, усы, грим театральный (его сразу — в унитаз) — зачем я его только брал? Перекись в таблетках, анилиновые краски, коллодий, химикатов куча, очки "+4" (я в них ни черта не вижу). Тут у меня сверток с одеждой. Тросточка. Ну, что, Витюша, решайся! Труден первый шаг. А! Была не была!

Растворяю таблетки и вымазываю себе башку и брови этой шипящей гадостью. Через некоторое время голова начинает чесаться. Смываю все и сушу волосы. Во, блин! В зеркало страшно смотреть: седой! Белый, даже чересчур. Бороду и накладные усы тоже покрасил, но пока мне что-то не нравится. Слишком похоже на Деда Мороза. Что-то не то. Пока я возился, время пролетело незаметно. Чего это я так устал? Ну, конечно: полтретьего ночи. Пора баю-бай.

11.

Мне снится незнакомая комната. Напоминает немного нашу старую квартиру, где мы жили еще с мамой и папой. Но без окон. Тусклый свет. На большом кожаном диване лежит молодая женщина, завернутая в простыню. Она повернута ко мне спиной, и я вижу только затылок, ее роскошные волосы и голую пятку. Она не спит, а притворяется, я это чувствую. Теперь я знаю, что это моя Юля. Она кокетливо шевелит пальцами ног и изгибается, так, что пружины дивана щелкают с многократным эхом. Я раздеваюсь и сажусь рядом с ней, но вдруг вспоминаю, что я все еще в гриме. Я отклеиваю бороду, но тут из соседней комнаты выходит Николай Иванович с палочкой и сердито смотрит на меня через очки: "Ай-яй-яй, молодой человек!" — он качает головой, и я замечаю, что он бос. Юлечка ловит меня за руку, держит нежно и страстно, я сижу рядом голый и думаю, что бы ему такое сказать, чтобы он поскорей ушел, что это никак не его, а мое личное дело. Но я молчу. Тут она поворачивается ко мне, горячо дышит в лицо, и я замечаю, что это вовсе не Юля, а Галя. Ни-

колай Иванович хочет еще что-то сказать, но у него трясутся руки и он роняет тросточку.

12.

Утром сходил на станцию. Там есть парикмахерская. Я попросил меня постричь: чуб оставить, а сзади — под машинку. Старый еврей долго смотрел на меня, и я перехватил его взгляд:

— Вы так думаете? — спрашиваю.

— М...да! Рановато, конечно.

— Про Чернобыль слышали?

— М-м-м...

Не знаю, что такое "М-м-м", но, скорее всего, это означает наследственный сифилис или алкоголизм. Пока он меня стриг, я все время его то-ропил, мол, успеть бы на электричку. Получилось отлично: косо, криво, сзади ступеньки. То, что надо стрижечка. От станции до Сашиной дачи топать с километр. Народу сейчас негусто, все жарятся на пляже. Я выбрал тропинку побезлюдней и задал себе упражнение: пусть эта дорога — моя жизнь. Вот я сейчас только родился. Так, пошел! Вот у того столба — я пошел в школу. Хлоп, хлоп, хлоп! — школу я отпрыгал на одной ноге. Интересно, что подумал бы притаившийся в кустах психиатр? Так. За тем вот поворотом — это я сегодняшний. Я сбавил шаг. Под кустом рябины мне исполнилось сорок пять, и дал о себе знать радикулит. Мимо колодца я проходил уже шестидесятилетним и уставшим. Последний отрезок я плелся, ссутуленный, шаркая с одышкой, останавливаясь, как при стенокардии. Вот уже калитка. Конец пути. Стой, дурень, там дальше — твоя смерть! Но бес любопытства подтолкнул. Я зашел туда и "умер".

Потом много раз я повторял этот этюд, но всегда почему-то перешагивал этот последний рубеж, хотя внутренний голос скулил-вопил и сопротивлялся. Обратил внимание на свои руки: гнусная манера грызть ногти! С этим надо бороться. Не видел еще ни одного старика, грызущего ногти. Заодно и мне польза будет.

13.

Старики упрямые. Старики ворчливы. Стариковский консерватизм. Почему? Есть целая наука — геронтология. Однако я далеко не ученый. Что-то где-то слышал. Никогда меня это всерьез не интересовало. Это каждый успеет. Все там будем. "Старый мудрец" — как символ коллективного бессознательного у Юнга. (Мудрость как следствие старости.)

С другой стороны — "старпер", "старый осел молодого везет", "старую собаку не выучишь новым фокусам". Но: "старый конь борозды не портит", "старый друг..." — это вообще не из той оперы. Главное — "старость — не радость". Вот и разберись тут! Предположим, я старик. Главное, повторять себе: "Я стар. Я очень стар. Я — суперстар". Вот я прожил целую жизнь. И если я что-то искал, о чем-то думал столько времени, меня уже не занимает качественный состав моего опыта. Может быть, я всю жизнь, как последний тупица, повторял одни и те же ошибки. Но у многих ли хватит мужества признать, что жизнь прожита впустую, перед лицом самой смерти? Когда уже поздно что-либо менять?

Распространенное заблуждение, что старики спокойней, мудрее, добрее и т. д. Водка ведь тоже далеко не всех веселит, хотя и говорится: "на-веселе". Усугубляется то, что уже есть. Конечно, каждый старик умнее (самого себя в молодости). Я тоже буду знать больше, потом. Склероз, ма-разм сведут на нет весь интеллектуальный прогресс. Есть желчные старики, которые ненавидят молодость именно за то, что она их привлекает, но уже, увы, — недоступна. Развенчиваем еще один миф "о доброте и спокойствии". Кстати, за спокойствие мы часто принимаем клиническую картину апатии. Есть старики, которые ненавидят детей: "Если жизнь настолько пуста и безнадежна, то к чему терпеть эти дурацкие вопли и прыжки? Во имя чего? Пополнять ряды, плодить неудачников?". Это уже не от возраста зависит. Детей одинаковых тоже нет. Старик чувствует, что к нему начинают относиться снисходительно, "с поправкой на возраст", и начинает входить в роль. Тогда:

1) он ворчит: "Я еще не старик! Мы еще повоюем!", а потом

2) он расплывается в приторной улыбке: "Вот какой я милый и славный, бесполезный, но зато очень добрый и безобидный овощ".

Это все — неблагополучные старики, те, которым страшно оглянуться назад. А как же спокойные, степенные? Эти — назидательный пример юношеству. У них мания величия. Они в своих устных и письменных мемуарах пытаются составить себе эпитафию, свой собственный некролог, опасаясь, чтобы кто-нибудь не сделал этого за них. Значит, и у этих не все так благополучно, только видимость одна. Эти претендуют на знание истины в последней инстанции. Как же так: жизнь прожить и так ни к чему не прийти? Они истину и подгоняют под свой куценький опыт. Полученный суррогат они выдают с непререкаемой интонацией: "С годами вы поймете...".

Выходит, нет на свете благополучных стариков? Смотрю на свою

вполне благополучную физиономию в зеркале, и она начинает меня раздражать. Дурилка картонная, а не старик! Кого ты купишь на свои седины? У тебя еще сорок, как минимум, лет в запасе. и не устал ты от жизни, аж никак. Смотрю на свои руки: ногти стали чуть отрастать, но все равно, руки молодые, гладкие. А у стариков они узловатые, мосластые, жилистые и малоподвижные. Неужели все это — пустая затея?

Смотрю на свои кисти, а они смотрят на меня. Ищу им нужное выражение. Складываю пальцы вместе, а большой — в сторону, как гитарист, готовящийся взять аккорд. Теперь, в таком положении, немного сгибаю фаланги. Ничего, уже лучше: "Руки-крюки". Вымазываю себе тыльные части слабым раствором клея и даю высохнуть. Замечательно: кожу стягивало, мелкая сеточка морщин, только блестит подозрительно — надо больше разбавлять водой. Потом вдруг вспоминаю, как нас еще студентами водили сдавать кровь, как на донорском пункте стягивали руку жгутом. Пробуем. Превосходно: все вены повылазили наружу, рука стала безобразной, *quod erat demonstrandum*. Добавим к этому легкий тремор: если направление от локтя к запястью взять за ось и качать вокруг нее с небольшой амплитудой, получается отменное старческое дрожание рук. Надо запомнить.

14.

Уже больше недели я торчу на этой даче, а толку все еще мало. Походка у меня несколько изменилась, но это еще надо сознательно контролировать, автоматизма еще нет. "Обнашиваю" дедушкин френч и очки. У костюма такой вид, будто я в нем сплю. А выглядит он так, потому что это так и есть. Врастаю в личину. Один раз, правда, не удержался: джинсы, футболка, никакого грима — пошел на курортную дискотеку. Не то чтобы потанцевать. Танцевать как раз и не хотелось, а просто так — потолкаться среди людей. Мои обесцвеченные волосы никого не волновали. Девки скачут, трясут всем на свете, ногами дрыгают — дуры счастливые. А эти темпераментные юноши! Какие все крутые! Барбосы зеленые. Единственное, что я себе позволил, — пропустил грамм двести с каким-то низким хмырем. Он всю пялился на девчонок. А мне что-то и не веселилось. Может, и правда, начинаю стареть?

Почему под самую завязку — разочарование? Сперва меня любит мама, мои родные, знакомые. За то, что я такой умный и хороший. Потом меня любят друзья и бабы — кто за что. Любит жена, сначала просто как баба, а потом уже по привычке. Дети любят — я с ними вожусь, я им нужен,

от меня еще что-то зависит. А когда наступает момент, что уже не зависит, — гуляй, Вася. Почва выбита из-под ног. И у меня есть два пути:

1) менторский — "Я всю жизнь отдал людям. Берите с меня пример. Честь мне и хвала (а желательно, и вечная память)". Или:

2) экстрапунитивный — "Я всю жизнь старался, думал, что это кому-то нужно, но люди гораздо хуже и не оценили всего этого".

Все старики балдеют на своей эпохе. Вы видели хоть одного, кто жаловался бы на "плохую молодость"? Да, времена были тяжелые, непростые, но какие-то светлые (война, голод, разруха, репрессии, эпидемии). Интересно, что Николай Иванович не укладывался в эту схему. Похоже, он знал свое место, вовремя понял и смирился. И при этом получал какие-то радости жизни. Конечно, его розарий, его краеведческий музей — хобби, игры для забивания мозгов на пенсии. Но далеко не всегда он выглядел жалким и беспомощным. Иногда, когда он стрелял глазами из-под своих очень "плюсовых" очков, мне казалось, что это — он настоящий, а хихикающий божий одуванчик — это так, дань общественным ожиданиям. Кстати, что такое пенсия? Ведь это — оплачиваемое государством ожидание своей смерти. И гуманное государство, определяя ее размеры, стремится к тому, чтобы мучительное ожидание не слишком затягивалось. Почему я Николай Ивановича воспринимал не только как старика? Да, наверное, потому, что он не только старик.

Иногда же кажется, что старики повышенно участливы. Это и так, и не так. Просто, когда своя жизнь не дает достаточно материала для переживаний, они чисто вампирически делают объектом переживаний жизнь чужую. Но это не исключительно стариковская черта. Мой старик, разводил ли он розы, собирал ли материалы для никому не нужного музея — когда он играл в свои игры, он был востребован и не страдал от недостатка признания и сочувствия. Что-то могло еще заинтересовать его просто само по себе. Так что, Витя, твои планы "вывести формулу старости" — ерунда, мечта метафизика.

Кожа морщится одинаково, но что делать с мозгами? Ну, сделаю я совершенный грим, походку, дикцию. Но это будет, в лучшем случае, "Я в старости". И то, не уверен: мне не хватает главного мотива, главного конфликта: "Жизнь ушла".

Итак, я потерял массу времени на то, чтобы рационально оседлать свою роль, когда мне надо было всего лишь ужаснуться от того, что неизбежный конец — рядом. Очень ли я обману себя и других? Ну, так не пару лет, а пару десятков — какая разница? Я ведь и так ничего не успел —

только пил, жрал, развлекался. Ведь так и есть. И все мои трепыхания ни к чему не приведут. Разве это не ужас?

Настроение испортилось окончательно. Хорошо, Витя, продолжай в том же духе.

15.

Опять видел дурацкий сон. Я где-то в больнице, в операционной, на столе. Люди в белых халатах. Рука перевязана жгутом. Сестра делает мне инъекцию внутривенно. Доктор спрашивает ее: "Вы сделали два кубика анальгина?". "Анальгина? — в ужасе переспрашивает она. — Разве вы сказали анальгина?" Они суетятся и переживают, кто за это будет отвечать, потому что "он же сейчас..." "Он" — это я, значит. И я сейчас... Прямо сейчас! Как же мне собраться? Мне холодно и страшно. Сейчас я прыгну куда-то. Там темно. Что я там буду делать? Я же ничего не знаю. Я так привык здесь! Зачем они это сделали? Я их всех обману. Сейчас станет темно, но это я просто усну. Я даже...

Встал я подавленным. Ничего себе, сон! А я — ничего, молодцом. Даже испугаться не успел. А ведь не знал, что мне все это только снится. Как я их всех взул — "я сейчас просто усну!". Это не они мне, а я сам себе обезболил процесс. Безо всякого наркоза. Медсестра, сучка рассеянная. Врачи, называется. Стоп! На кого я злюсь? Это же мне приснилось!

Вспомнилась одна хрестоматийная байка: в редакцию одного издательства пришел мужик. В лаптях, с рукописью. Дело было при царе-батюшке. Редактор прочитал, заинтересовался и принял у себя мужика. Оказалось, это был Лев Толстой. Но ему надо было, чтобы рассказ приняли не от графа Льва Николаевича, а от простого русского крестьянина. Здорово это напоминает и мою затею!

Пушинский и Бранцотти беседуют со мной, то да се. Надо обязательно попросить у итальянца автограф — для доказательства. А потом я "молодой-зеленый" прихожу на студию и говорю: "Ну что, берете меня на роль?". Они, естественно: "Нет, вы еще слишком молоды..." А я тогда с торжествующим видом вытаскиваю автограф и спрашиваю... Целый день вожусь у зеркала со своим лицом. Хорошая вещь — коллодий. Морщин — хоть отбавляй. Неужели я когда-то таким стану? Немножко тертого графита на веках не помешает. Бороду и усы — распустил, к черту, по волоску, иначе вида — никакого. Kleil потом часа два кряду. Из остатков — удлинил себе брови и кое-что налепил в уши. Недельную щетину — à la George Michael — тоже обесцветил. Вышла характерная пенсионер-

ская "небритость". Поработал с шеей. В нос затолкал ватные тампоны, он сразу преобразился картошкой. Из пластмассовой линейки на свечке согнул дужку — за нижнюю губу. Она оттягивает вниз щеки. Брыла, как у бульдога. А тарактит во рту, как вставная челюсть. Видос у меня, конечно!.. Пожалуй, пора перейти к полевым испытаниям!

16.

Под вечер я решился на вылазку, в полной экипировке. Больше всего я боялся, что какая-то досадная мелочь может меня выдать. ("Товарищ лейтенант, у вас ус отклеился!") И меня тогда в лучшем случае поднимут на смех, а в худшем —... В театре я много раз бывал дедом: Старик Хоттабыч, Папа Карло, мало ли. Но там я не боялся разоблачения — ведь зрители идут на этот обман добровольно.

Но и не сидеть же мне вечно на этой даче! Заветной мечтой крысы Чучундры из "Рикки-Тикки" было — когда-нибудь отважиться и выползти на середину комнаты. Нет, лучше оскандалиться сейчас, чем потом. Надеваю очки, и все мутнеет в глазах. Отражения своего не вижу — так, смутные очертания. Однако я знаю, что мои глаза сейчас — огромные, на все стекло, и из-за этого у лица сердитое выражение. Проверив все, от шляпы до сандалий, нахожу, что все в порядке. Накладное брюшко хорошо держится под френчем. Какое мучение — ходить по жаре в носках! Но что поделаешь — старики не носят обувь на босу ногу, а мои стопы без признаков подагры меня бы выдали.

Я достал носовой платок и пропитал его корвалолом. Второй платочек я сбрызнул змеиным ядом (это растирание такое) и теперь излучал вокруг себя такой аптекарский аромат, что это не могло не надавить на подсознание. Любое сомнение будет гаситься этим запахом. Ведь мы настолько привыкли доверять своим ушам и глазам, что усомниться можем именно в том, что видим и слышим, а не в том, что чуем носом. Парадокс? Но говорят же: "Я носом чую...", когда речь идет об интуиции. Вот и обычное наше чутье (обоняние, то бишь): мы его не осознаем, не контролируем, а ощущение, полученное таким образом, принимаем за интуицию.

Другое дело — собаки. Как-то раз я приходил к одному захворавшему родственнику в больницу. Это было осенью вечером, тогда еще рано темно. Ища выход, я долго бродил между корпусами, пока не оказался на пустынной темной аллейке. Наконец я увидел искомый пролом в стене и устремился туда. В голову ненавязчиво вползла мысль: "А тоскливо, на-

верное, было бы умереть в больнице, хотя, казалось бы, здесь созданы для этого все условия...". С чего бы это вдруг?

Утром следующего дня я снова отправился туда с целым пакетом домашней жратвы, минералкой и т. д., что носят обычно больным. Как раз тогда у родственника не было ничего угрожающего жизни, чтобы навести меня на такие мрачные мысли. Чтоб не делать крюк, я решил найти вчерашний пролом — так было ближе, чем через центральный вход. Я нашел это место. Когда влез туда, то при свете дня увидел одноэтажный корпус с табличкой: "Патолого-анатомический отдел" и ниже: "Выдача трупов родственникам с 11 до 13". Я вспомнил о своей вчерашней ассоциации на этом самом месте. Но ведь таблички я тогда точно не видел. А вы говорите: "Чутье". Вопросы есть?

17.

Было еще светло, но духота стала спадать. Я прошелся к "пятакчу" так дачники называли место недалеко от станции, где были сосредоточены все здешние ценности культуры: дискотека, шашлычная, магазин. В беседке по вечерам собирались пенсионеры — любители шахмат. Иногда разворачивались доминошные баталии, споры о политике. Словом, форум. Я шел, шаркая и с одышкой. Людей в беседке было совсем немного: двое доигрывали партию, да еще трое следили за игрой и давали ценные советы. Я в шахматах понимаю, как свинья в бананах, встречать не стал. Одышка моя почти прошла. (Все-таки премьера, как-никак!) Все пятеро дедов подняли головы на меня, но, не увидев ничего интересного, отвернулись и продолжали. Неужели они приняли меня за "своего"?

— Добрый вечер, — просипел я им.

Они сосредоточенно кивнули головами, не отрываясь от шахмат. ("Ур-р-р-р-р-а!!!" — загремело в голове.) От волнения я трясущимися руками вытащил из кармана "Приму", размял сигарету и сунул ее в мундштук. Похлопав себя по бокам, я обнаружил, что спички оставил дома (когда укладывал платочек). И тут — о чудо! Один из дедов, что сидел поближе, поднялся, чиркнул спичкой и дал мне огня. Язычок пламени плясал и двоился в моих диоптриях. Но я удачно прикурил и мелко затряс головой в знак благодарности. Честное слово, я просто боялся, что голос меня подведет. Ай да сукин сын!

Чтобы издать хоть какой-нибудь звук, я затаился, выпустил дым и разразился (это мой коронный номер) изысканнейшим туберкулезным кашлем, со свистом, хрипом и мокротами. Поверх очков я заметил, как

они глянули на меня: примерно, как мои конкуренты на кинопробах, но какой это был теперь бальзам на душу! Мне хотелось петь. Задерживаться я не стал. Помявшись с минуту, я зачем-то достал из кармана газету и, гнусая под нос "Нас утро встречает прохладой", пошел к станции.

Если б я был уверен, что среди этих пенсионеров нет сердечников, я б, наверное, прошелся колесом у них на глазах. Ладно! Не нужен мне дешевый триумф. Единственное, что я себе позволил, — сменил мотивчик на "I Love The De-ad" Элиса Купера.

18.

Я уселся на скамеечку, неподалеку от станции. Приятно пахло теплым гравием. Такой специфический железнодорожный запах, с примесью мазута. Солнце давно село, и горизонт пылал алыми и зелеными полосами. Заговорили сверчки — стражи ночи. (На самом деле это — цикады, но мы уже так привыкли говорить, не все ли равно?) Где-то далеко стрекотала удаляющаяся электричка. К этому добавился еще один звук, словно рядом кто-то энергично и часто сморкался. Я покосился поверх очков и обнаружил, что я на скамейке не один: то была женщина лет тридцати пяти, с такой фигурой, что я сразу как-то внутренне помолодел. Она безудержно рыдала, но не в голос, а глухими всхлипами, с икотой, так, что вся энергия передавалась мне вибрацией скамейки. Это все мои очки! По бокам — вижу, перед собой — полный туман. Как я ее проглядел?

— Но почему? Почему? — вопрошала она, обращаясь в пространство, — Почему они все такие скоты?

Я понял, что это приглашение к разговору, и, поскольку функция жилетки мне была давно и хорошо знакома, участливо спросил:

— Кто скоты? Те, кто вас обидел? Что вы, душенька, так убиваетесь?

(Хорошо сказал. Сипло, бесцветно. "Душенька" — тоже в масть.) Она достала сигарету и зажигалку. Я, пользуясь случаем, тоже достал "Приму" и мундштук. Прикуривая у нее, чуть не упал в ее декольте (и не ушибся бы, если что), но ей было решительно ни до чего.

— Кто, кто. Да мужики, — родила она, в конце концов. Меня она не стеснялась, и к мужикам, видимо, уже не причисляла.

— Вы, что, поссорились с мужем?

— Да каким там мужем! Хватит с меня моего первого. Триста лет он мне в гробу снился. Покажите мне дуру, кто сейчас во второй раз выходит? Так, сошлись с одним. И, вроде, неглупый, и с машиной, и разводной. Думала: не надо мне никакой росписи, не в штампе дело, будем так жить...

— И что же, гуляет?

— Нет. В том-то и дело, что нет. Но как деньги заведутся — он пить. Квасит и квасит. Я уж и за компанию с ним пробовала, но это ж можно самой скорее спиться совсем. Я его предупреждала, что от своего уже достаточно натерпелась, больше не хочу.

— А он что?

— А ему — как с гуся вода. Думал, я покричу и успокоюсь. Стоит, лыбится, а от него перегаром прет. Я ему вещички собрала — и на кислород. А он меня еще...

— А что, раньше он не пил? — спрашиваю.

— Пил. И я с ним тоже. Но вначале это как-то весело было, а тут же — черте что. Теперь все. Я его выставила.

— И не вернется?

— Не знаю. Не хочу больше ничего. Вот вы пожилой человек, опытный. Ну скажите мне, что, я — дура какая-то или уродина? Молодая, симпатичная, без закидонов. Или поговорить со мной не о чем? Что ему еще надо было?

Ну, милая, насчет "молодой" — это понятие растяжимое. Славная — да. Насчет "дуры" — есть определенные сомнения. Судить не берусь. От самой тоже не духами несет, но это, видимо, от расстройства чувств.

— Я же всей душой, — опять зарядила она, растравляясь. — У меня сердце доброе. Но почему все садятся на голову? Я же ничего не требую. Просто иногда хочется тепла, какого-то внимания... А он придет "готовый", и от него... толку, как от покойника... Почему, почему?

Ее опять сотрясли спазмы. Она уткнулась мне в плечо и беззвучно икала. Я отечески обнял ее своей мягкой, безвольной и безжизненной рукой:

— Ну, что вы, что вы, не надо. Это еще все образуется. Ну, что ты так, за... (Стоп! Никаких "зайцев" и "котиков"! Я же — старик!) Что ты, голубушка. Зачем же так? Все будет хорошо, вот увидишь. (Ни черта хорошего не будет.)

— Ага, вам легко говорить. Вы свое пожили, а я теперь одна. А я женщина, женщина, в конце концов! Я не бревно! — и она снова зарыдала на моем плече.

Боже! Почему я в гриме? Летний вечер у моря. Пустая дача. Дама нуждается в утешении. Что в подобных случаях делал Отец Сергей? ГДЕ МОЙ ТОПОР?

Под каким предлогом я ушел, не помню. Запомнил только, что ее звали Вера, а в моем кармане оказалась ее зажигалка.

Ночью меня преследовали эротические сны. Вот я снимаю парик (седина во сне трансформировалась в парик) и иду по пустынному пляжу. Встречаю Веру и делаю вид, что вижу ее впервые. Мы знакомимся, болтаем о чем-то, и я приглашаю ее к себе. Мы поднимаемся с пляжа по деревянной лестнице. В комнате она бросается мне на шею и ошарашивает меня заявлением, что она — женщина, в конце концов. Ее мокрый купальник куда-то улечучивается, речь перестает быть членораздельной. Мы валимся куда-то... В самый интересный момент она вдруг спрашивает: "А это что такое?" — и показывает на мой костюм, висящий на стуле. Рядом лежат очки, парик и ее очень приметная зажигалка. Она вскакивает и бьет меня по носу, наотмашь: "Ах ты тварь, подонок, дрянь, животное! Я с тобой, как с человеком, а ты из меня дурачку делаешь?!".

Я проснулся, как просыпается вулкан — весь в жару. Но женские вопли не прекращались: "За дурачку меня держишь! — неслось с соседней дачи. — Вот подожди, папа придет, я ему все расскажу!" Хлопнула дверь и вопли затихли. Слов уже было не разобрать, и для меня навсегда осталось загадкой, что должен был, к своему ужасу, узнать чей-то папа. Господи! Девять часов. Нашли время, когда ругаться! С утра пораньше. Порядочным людям спать не дают!

19.

Сегодняшний день посвящаю "разбору полетов". Выходить не буду. Хватит с меня вчерашних впечатлений. Тоже мне! Гениальный Лоуренс Оливье вошел в роль! Ну, и что я с ней сделал? Профанация. Разыграл парочку старперов для начала, а потом влез в душу горемычной бабенке. Влез, самым подлым образом.

- А кто ее просил со мной откровенничать?
- Как это, кто? Да она бы в жизни не сказала бы такого молодому — одному из этих "скотов".
- А я ее зато утешил.
- Ничего я ее не утешил. Или уже надо было по-другому утешать.
- А кто я ей такой, чтоб с ней носиться?
- А кто ты ей такой, чтоб с ней играть? Или это — колода карт?
- Да, это не колода, не бревно, она так сама сказала.
- Ей не нужны твои советы.
- А я ей ничего не советовал. Ей нужно было поплакаться.
- Так ты просто благородно подставил плечо?
- Подставил, и ей стало легче.

- Или тебе стало легче?
- Мне как раз наоборот.
- Не за то переживаешь.
- А ты у нас больно совестливый?
- Не больно. Отстань.
- Сам отстань.

Самый раз — пить зеленку. Я уже разговариваю "с умным человеком". Я уже говорю со своей тенью! А почему бы не попробовать? Грим все еще на мне.

Попробуем такой этюд: я, Витя, "молодой-зеленый", говорю с Николаем Ивановичем. У зеркала. Я прекрасно знаю свое лицо, и по напряжению мышц, натяжению кожи, "вижу" каждое свое выражение изнутри. Это нормальный профессиональный самоконтроль. Некоторых удивляет, но так любой человек управляет своей мимикой — изнутри. Только не все при этом играют, тогда все происходит естественно. Я же могу изобразить, что захочу. Ничуть не сложнее, чем пианисту играть "вслепую", не глядя на клавиши.

Оставим в покое мой инструмент. Лицо в гриме — это уже совсем другое ощущение. Кожа стянута и мимикой труднее управлять. (Вы не пробовали играть на рояле в перчатках?) Кроме того, мимическая норма образа и моя собственная — различны. Что для него покой, для меня — гримаса. Поправка на это. Попробую вести диалог с Ним. Говорит Он — я смотрю в зеркало, привыкаю, изучаю. Реплики от себя даю с закрытыми глазами — тогда я вижу себя обычным, без грима. А Его — только когда говорит Он. Что ни говори, а результаты — налицо. У меня появилось старческое "жевание" — челюсть ходит туда-сюда. Но очень трудно дается улыбка. Не дежурный смайл, я имею в виду. Как это только люди клоннули на мякину? Деда — из-за плохого зрения, Верочка — от слез. А я сам себе не верю. Пообщался с зеркалом — и теперь еду крышей.

Ну его! Смываю это уродство, потому что уже кожу печет. Хватит на сегодня, а не то можно и правда, прихворнуть. Не исключено, что я даже излишне критично отношусь к сделанному мной. Детям, чтобы спрятаться, достаточно зажмурить глаза. Я сам любил заползать под стол одной головой — под скатертью так темно! А если еще зажмуриться — верняк, не найдет никто. Мама ходит по комнате и "ищет" меня: "А где это наш Витя? Куда это он пропал?". (Чья попка и пара ножек торчат наружу — на этом акцент не ставился.)

Другая крайность в подобных играх — анекдот про наркомана, кото-

рый прятал от милиции наркоту, а спрятав, "репетировал" в лицах: "Спрячу тут — милиция найдет тут. Спрячу под полом — милиция и под полом найдет. Спрячу-ка я на балконе, авось не найдут!". Кончается тем, что он выпадает из собственного окна: "Ну да, а откуда же у меня балкон?".

Может, и я так. Им невдомек, а я терзаюсь. На воре шапка горит. Кое-что по ходу черкаю в дневник. Если б его кто-нибудь прочел, решили бы, что меня надо срочно изолировать. А там все только по делу. Мне-то для "домашнего пользования" развернутые комментарии не нужны. Вспомнил свою первую отроческую депрессию, первый кризис. Мне было лет двенадцать, дело было летом, в детском санатории. Ожидая процедур, сидел в коридоре и читал, от нечего делать, всякие дурацкие стенды — о вреде курения и проч. Меня вдруг поразила статистика: оказывается, сердце человека за всю жизнь отбивает что-то около миллиарда ударов. Ну и что, казалось бы? Так нет же: я тогда с неделю ходил, сидел, и даже лежа считал удары. Вот уже на сто меньше, на тысячу, а завтра будет на сто тысяч меньше. Солнце палило, все играли, ржали и бегали, а мне было холодно и тоскливо. Но в итоге я с собой договорился: "Ладно. Миллиард — это в среднем. До него еще надо дожить, а там — посмотрим".

Решение, которое ничего не решало, но как трудно оно далось, и как потом стало легче. Почему вот горцы — такие долгожители? Овечье молоко, покой, чистый воздух? Фигушки. Они просто не знают про миллиард. Кто-то верует (он же — блажен), кто-то занят, ему некогда сидеть и ждать, пока пробьет его час. А кому-то дается спасительная соломинка: оказывается, жизнь еще может просто НАДОЕСТЬ. Мой старик из тех, кто уйдет спокойно, без метаний. Конечно, страшно вато, когда гасят свет. Но, с другой стороны, — не такая уж и трагедия. Трагедия — это когда ты сам к этому стремишься.

20.

Перечитывал кое-что из дневника. Жуть! Единственное, чего я не успел написать — свежую мысль о том, что "жизнь — штука сложная". Не, Витенька, не расслабляйся, рано. И что толку думать, как ты будешь отдавать концы? Думаешь — значит, уже отдаешь. Бенджамен Франклин, между прочим, говорил, что лучше один день — сегодня, чем два — завтра. Даром, что ли, его портрет на стобаковой?

Оставшиеся дни до моей акции я почти не выходил с дачи. Много читал — в основном, всякую бульварщину, что попадалось на полках. Влазить в какие-нибудь приключения не хотелось. Не тянуло и на пляж. Я

мог очень спокойно сидеть с папироской на деревянном крыльце и радоваться жизни. Многое как-то само собой отпало. Женщины? Никакое влечение не заставит терпеть их глупость и пакостность. Неужели что-то поломалось внутри?

Нет, я-то еще не старик. Я — действую, я — желаю. Разве это апатия? А чего я желаю? Стать стариком. Господи, опять бред! Нет, Хайд еще не вышел из узды! Сегодня юбилей у Марка. День моего триумфа или... нет, даже думать не хочу. Сегодня я уезжаю с Сашиной дачи. А я привык. Тут было по-всякому. Я тут, можно сказать, "жизнь прожил".

Собрал вещи, привел жилье в относительный порядок, перекурил напоследок и вышел оттуда, заперев дверь. Было такое чувство, что я с кем-то расстался. С утра еще возился со своей экипировкой. Все проверил и выполз из логова только к трем. Дневник я оставил на столе, ведь я еще сюда обязательно вернусь, и мы с Саней, даст Бог, отметим некоторые события. Интересно, матушка уже всем трубки пообрывала по поводу моих "гастролей"?

В город ехал, как чужой. Зато я научился смотреть: вот вижу я ветку дерева и не думаю, отчего она такая, какой породы. Никаких хлорофильных реакций, никаких человеческих профилей в очертаниях, ветка как ветка. Я долго молчал и пропитался этим молчанием. Хорошо иногда и не думать. А когда заткнется этот назойливый глупый внутренний человек со своей геометрией, моралью и всякой пустопорожней болтовней, все предметы вокруг сразу начинают громко кричать. Оказывается, можно ими и не управлять, а только смотреть на них. Вот, не властен я над этим деревом, даже если я спилю его и выстругаю из него гроб.

На станции я видел нищего с табличкой: "Слепой". Забавно было бы увидеть дерево с табличкой: "Cogito, ergo sum".

Прибыв на вокзал, я позвонил Саше и, к своему удивлению, застал его дома. Мне не хотелось длинных расспросов, и мы договорились, что я оставляю ключи у соседки. Он удивился, зачем такая конспирация, но я что-то промывчал и повесил трубку. В девять вечера я с замиранием сердца подходил к Марковой даче. Я, уставший, старый больной человек, который с утра съел только булочку с кефиром на вокзале.

Маркова "вилла" сияла и гремела. Еще только подходя к ограде, я слышал очень приличный джаз и заметил мелькание пестрых фигурок. На травке перед домом столы сдвинуты покоем. "Тихая домашняя обстановка" ограничивалась примерно тридцатью гостями. Марик в своем ре-

пертуаре. Я поискал глазами и увидел итальянцев. Он таки затащил их сюда! Слава Богу. Можно действовать.

Вперед, актер!

21.

Все было поставлено на широкую ногу: лужайку освещали кварцевые софиты, по подстриженной травке сновали два-три официанта, специально выписанные из какого-то дорогого кабака. За столом стоял веселый го-мон. Моего появления вначале никто и не заметил. Это хорошо. Они уже под шафе, тепленькие. Марк сидел рядом с Энрико. Все в нем сияло: редкий камень в перстне, редкой красоты галстук, редкая шевелюра. Я подошел к нему со спины и произнес хорошо отрепетированную фразу:

— А! Марочка-помарочка! Совсем забыл старика? А я вот, взял — и приехал! Ну, поздравляю, дорогой!

Марк обернулся и замер, как человек, проснувшийся в больнице, которому хирург только что сообщил, что в результате операции он теперь будет петь сопрано. Эффект был потрясающий! Все гости смолкли и косились то на него, то на меня. Наконец у него прорезалась речь:

— Боже мой! Дядя Коля! Сколько лет! И надо же, в день рождения!

— Да, Марик, я все помню, дорогой. А ты такой... солидный!

Мы обнялись, и Марк, не отпуская меня, повернулся к гостям:

— Это мой родной дядя. Николай Иванович. Он специально приехал.

— Боже, сколько лет!.. Садись, пожалуйста, сюда, — он показал мне место за столом, и гости снова загалдели.

Жена Марика посмотрела на меня, как аллегория любознательности. Он наклонился к ней и шепнул: "Вот, черти принесли! Это мамин брат, который в деревне. Займи его чем-нибудь". (Ничто не укрылось от моего слуха.) Марк был настолько любезен, что выделил мне (от сердца оторвал) свою любовницу, Вику. Чтобы она меня заняла, и чтоб я, не дай Бог, не занял драгоценного внимания Бранцотти, которого он как раз охмурял. Я видел, как племянничек перемигнулся с этой рыжей красоткой, мол, потерпи, дорогая, после сочтемся. Вика тут же взяла меня в оборот, и, хотя не знала, о чем со мной можно говорить, тем не менее, затараторила, как сорока. Ей бы позировать самому Модильяни. Длинноногая, вся в веснушках, как это бывает у всех рыжих, она была со вкусом одета (или раздета). Очень эффектная и сексуальная. Но я быстро смекнул, что роль аутсайдера мне не подходит, и поломал эту ситуацию, огорошив ее одним вопросом, доказывающим, что я далеко еще не маразматик. Она

поняла, что о птичках и о погоде — мне надоело, и повернулась к Марку с немим вопросом.

Тогда я спросил его.

— Зачем мне понадобилось снимать психологический триллер? — начал мяться Марк.

Тут его жена призвала всех на перекур, дабы убрать посуду и накрывать десерт. Мы вышли из-за стола, и все стало на места: люди обычно кучкуются по трое-пятеро, и я оказался с теми, кто меня интересовал. Марк представил меня итальянцу, и я видел, как он волнуется, чтобы я не сморозил какую-то глупость, чтоб ему потом краснеть. Я сделал вид, что удивлен:

— Бранцотти? Так это ваш фильм — "Самолет летит"? Марк, это правда, его фильм? Потрясающе! Сеньор говорит по-русски?

"Племянничек" был явно доволен: как это кстати! Старик, из глухой деревни, а туда же — в восторге. Вот оно, всенародное признание! Он будто уже и не жалел о моем неожиданном появлении.

— Да, дядя Коля. Говорит, и даже очень хорошо, — и, обращаясь к гостю: — Дядя Коля — мой первый учитель. Жизни.

— Очень приятно, — заулыбался итальянец. — Но на мой счет — это преувеличение. Я охотней слушаю по-русски, чем говорю.

Мы закурили, и когда я лез в карман за мундштуком, Марк предусмотрительно предложил мне "Мальборо", пока я не задымил их своим противотанковым табаком. Я не без удовольствия затянулся, хотя демонстративно держал сигарету безо всякого почтения, большим и указательным пальцами, как самокрутку на ветру, в поле.

Потом речь зашла о классиках итальянского кино. Я восторгался, брызжа слюной, Бранцотти слушал без ревности, но Марк делал мне страшные глаза. Тогда я очень осторожно ступил на тонкий лед — речь зашла о новом фильме.

Официант принес на подносе бокалы. Мы чокнулись, но я сказал, что мне, гипертонику, пить нельзя, и подошел к столу, чтобы налить себе минералки. Пока никто не видел, я налил полный стакан коньяка и залпом выпил. Потом налил еще и покрасил его "Колой", чтобы были видны пузырьки. Меня немножко отпустило. Я вернулся к обсуждению фильма — треп о возрастной роли, психологизм, муть всякая. Больше всех надрывалась Вика, которая сделала, наверное, один шаг вперед от "кушать подаю", — и то, благодаря Марку. Сам именинник был в ударе:

— Вы что, думаете, "На склоне" — это обязательно — на склоне лет?

— Ну почему, — вставила Вика, — усадьба Карсавиных находилась как раз на склоне.

(Карсавин — главный герой, моя роль!)

— Нет, не то. Слишком прямолинейно, — скривился Марк, — это состояние упадка. У человека — глубочайшая депрессия, потеря смысла. Он живет всю жизнь, и в конце узнает, что жил напрасно. У него экзистенциальная фрустрация, он устал. Он даже не способен на самоубийство...

Я немного побряхтел и выдал:

— А я вот жил, жил, а мне еще не надоело. Если вас интересует мнение старика. Я бы выступил в роли... м-м-м, консультанта!

Марк будто и не слышал ничего:

— Что характерно для русской интеллигенции? — его взгляд, обращенный ко мне, говорил примерно: "Знай, сверчок, свой шесток".

— А по-моему, не надо доживать до седин, чтобы понять, что жизнь достаточно однообразна...

Ах ты ж, сучка. Однообразна! Экклезиаст в юбке. Я бы сделал тебе парочку однообразных движений, но слушать эту чушь...

— Однообразно что, — переспросил я, — чередование дня и ночи? Очереди? Человеческая пошлость? Что однообразно?

— Все предсказуемо, — проглотила эту наживку Вика, — а это достаточно скучно.

— Вы настолько знаете людей?

— Людей много, а мотивов значительно меньше, и они банальны.

Я рассмеялся старческим смехом:

— Хотите пари? Вы, иными словами, утверждаете, что в жизни нет сюрпризов?

На какой-то момент я хотел было раскрыться, но поборол искушение. Что мне — утирать нос Вике? У меня ставки покрупнее, чем эта кукла. Я вынул из кармана руку, зажатую в кулак:

— Угадайте, что у меня в руке?

Все переглянулись и заулыбались. Вика начала:

— Но... вы восприняли это так буквально...

— Коробка спичек, — предположил кто-то.

— Мундштук, — предположил Марк.

— Валидол, — мстительно улыбнулась рыжая.

— Пуговица.

— Там ничего нет?

Очередь дошла до итальянца, но он промолчал. Тогда я разжал кулак.

Все замерли, и моя челюсть затряслась "в беззвучном смехе". У меня на ладони лежала пачка "Стиморол". Как я понимаю Великого фюрера Адольфа Гитлера, который, едва заслышав слово "интеллигенция", хватался за пистолет! Когда все челюсти снова приняли обычное положение, я продолжил:

— Вроде бы сверхбанально. И не диковина. Другое дело — вы от меня этого не ждали.

— У вас развитое чувство юмора, — сказала Луиза, впервые за вечер удостоив меня взглядом. Она явно имела в виду мои вставные челюсти, а, значит, я и ее убедил.

Вика прыснула со смеху так искренне и по-простецки, что я готов был ее расцеловать.

Вскоре итальянцы укатили на марковом "мерсе". В образовавшемся вакууме я подсел к нему вплотную и сказал:

— Я рад за тебя. У тебя такие интересные друзья... Что у тебя еще слышно? Я же тебя полжизни не видел, а при них — спрашивать было неудобно...

— Ой, дядя Коля. Я такая свинья, — вздохнул Марк, и я понял, что самое время выпить. Он был уже более чем тепленький:

— Я такая сволочь... Даже к тете Ларе не...

— Не надо себя корить, Марик. Это жизнь такая. Ты хоть что-то успел, а я...

— Дядь Коль, да я тебе что угодно...

Вот он, подходящий момент!

— Марик, — начал я неспеша, — у меня тут неприятность случилась. Я хотел недельки две побыть у моря... Когда я еще выберусь? Помнишь, ты мне обещал Дом отдыха ветеранов? Так вот, я все — документы, паспорт, пенсионное, все это дома забыл. Положил на столе, а потом только в поезде вспомнил...

— Не надо даже думать об этом. Один мой звонок...

— Правда? Как хорошо! А у тебя милая жена, Вика. Красивая.

Я прикинулся дурачком. Вся киностудия, кроме, может быть, жены, — все знали, кем ему приходится Вика.

— Это мой помреж. А жену зовут Алина. А почему бы вам не пожить у меня на даче, что ж мы, чужие?

— Нет, Марик. Я не хочу вас стеснять. Не спорь. У стариков — свои причуды. Да и вообще — среди ветеранов мне будет лучше. Все-таки, одно поколение... Хорошо?

— Ну, как хотите. Только зря. Насчет путевки, я, конечно, позвоню.
— Вот и славно, дорогой ты мой. Ох ты! Я и забыл! Проклятый склероз! Я же тебе гуся привез! Сам выкармливал.

Это был последний штрих. Живой гусь с Привоза, купленный на остатки денег, сидел в корзине, у входа на дачу.

— Бог ты мой! Спасибо! Спасибо от души. А с этим вопросом, считай, решено.

Марик был "никакой", называл меня то на "вы", то на "ты", улыбался. Я решил, что пора сделать последний ход:

— А, кстати, как с той Лидой? Ты понял, о ком я? Помнишь? — я подмигнул ему.

— Лида? Мы с ней в чудесных отношениях. Я иногда ее вижу. У нее сын — уже здоровый балбес. Тоже пытается работать на сцене. Я с ним возился в свое время, но толку не вышло.

Я пропустил это мимо ушей.

— Значит, вы... остались друзьями. Я рад. Если она меня вспомнит, мне было бы приятно ее повидать. Умненькая такая...

— Да. С ней интересно. Но — не сложилось. А я ей обязательно передам. Мы заедем, дядь Коля, обещаю.

— Вот и славно. Однако устал я ужасно. Эта дорога так изматывает...

Да. Я действительно устал. Хочу только спать. Своего я добился. Завтра я буду в Доме ветеранов, и туда приедут Марк с моей мамой. Ему некуда будет деваться.

22.

Я спал без снов и проснулся на раскладушке под вишнями. Это была моя мысль — спать в саду. Марка уже не было. Мы с Алиной попили чай, и вскоре пришел Вадик, которого Марк проинструктировал, куда меня отвезти:

— Марк Александрович уже обо всем договорился. Мы можем ехать прямо сейчас. Я на машине.

Вадик был вторым помрежем, исполнительной серой лошадкой.

Я попрощался с Алиной, и мы укатили. Ехали мы довольно долго. Я не знал, где находится Дом ветеранов, но Вадик вез меня, как Иван Сусанин, — петляя по задворкам. Наконец мы заехали на какой-то хоздвор. Я вылез из машины, проклиная "радикулит", а Вадик побежал договариваться с персоналом.

Наконец меня пригласили. Молоденькая медсестра в белом халате

усадила меня на стул и заполняла какую-то бумагу, что-то вроде санаторной карты. Потом она сказала мне, что нужно померить давление. Я не хотел закатывать рукав, но она обернула мне руку вверх и стала качать. Рука занемела, и когда воздух с шипением вышел, глаза ее округлились:

— Ничего себе! Да как же вы с таким давлением? Ведь у вас почти что криз! Ложитесь сюда, я вам укольчик сделаю. Не больно, честное слово.

Вот уж не думал! Я, наверное, действительно очень устал. Надо отдохнуть. Все уже позади, теперь только — набираться сил. Она сделала мне укол (чтоб у нее ручки не болели!) так быстро и незаметно, что я и не почувствовал. Я такой слабый, ужас! Голова стала свинцовой, и я провалился в сон.

23.

Сон!

Какая необъяснимая и волшебная штука! Какие потрясающие чудеса случаются во сне, а мы принимаем это за должное, или наоборот, удивляемся самым обычным вещам! Мне снилось, что я лежу в палате Дома ветеранов, а в изножье у меня стоят мама и Марк. Они смотрят на меня и говорят, так, будто я уже покойник. Марк, кажется, чем-то огорчен:

— Лида, ты узнаешь его?

Наверное, я очень "постарел". А она плачет. Никогда бы не подумал, что она так любила Николай Ивановича.

Мама говорит:

— Хорошо хоть Саша позвонил. И когда он мне прочел этот бред...

Марк начинает успокаивать маму. Я не понимаю, что такое ужасное ей цитировал Саша, и при чем он тут вообще. Марк говорит, что это, возможно, и не очень серьезно, и "его еще удастся поставить на ноги". Мама плачет опять. Марк говорит ей, что сам никогда бы не подумал, что такое может случиться. Что?

Входит Саша и уводит маму. Марк смотрит на меня долго, а потом тоже уходит. Захожу я. Я — лежащий старик, улыбаюсь себе — молодому: "Как мы их взули?". Заходит Николай Иванович, снимает очки, парик, усы, и подмигивает мне:

— А давай, Витя, мы их В С Е Х обманем!..

Искатели детства

Предисловие

Эта история ничем особо не примечательна, но все происходящее в ней было наполнено августовским солнцем, запахом моря и последних бархатных ягод малины, спрятанных для настоящих искателей чего-то похожего на детство.

Все началось с банальной жажды денег. Человек, получивший специальность архитектора, оказался недостаточно напористым, чтобы наводнить город своими фантастическими строениями, и работа продавцом картин в галерее под названием "Ирис" не приносила изрядного дохода. Правда, человек-архитектор еще занимался журналистикой, печатая статьи под псевдонимом своего кота. Итак, беспечная особа, автор этих строк, кардинально решила важные проблемы, запустив в свою квартиру на улице Солнечной (невдуманное название улицы. — **Прим. автора.**) дивных квартирантов, приехавших из далекой Нёмеччины впервые в Одессу. Глава семьи — 35-летний Петр Екатеринович Варваришкин, он же — потомок декабристов Вербицких, он же не кто иной как Дима Вербицкий. Вкратце о нем — одареннейший, романтичнейший, образованнейший человек с огромным сердцем и чистой душой. Общась с ним, понимаешь, что он — один на миллион, таких, увы, совсем немного осталось в мире. Создает фантастически красивую графику на компьютере — стихограммы Омара Хайама, пишет стихи и музыку. Музыка электронная, прикольная. Дима сразу проникся атмосферой разгромленной квартиры неподалече от моря, котом Бамбуком особенно, назвав его "сугубо лечебным котом". Жена Димы — Катя, серьезная и необычная девушка, с длинной русой косой — преподаватель математики, впрочем, как и Дима(?). И, наконец, их дети — красавец Ярополк, старший сын, 19 лет, Агния, 17 лет — более прекрасной и кроткой девицы не встречала никогда!! Внешность — Марина Влади в молодости, темная родинка на виске, грива белых от природы волос и идеальное сложение. Средний сын Элеазар — благообразный юноша 15 лет, улучшенный вариант внешности Мика Джаггера, коллекционер музыкальных дисков и само спокойствие. И, наконец, младшая дочь Дарья — ей 10 лет, пшеничные длинные волосы, ямочки на щеках, в общем, дети — один в один, все потрясающие!!!

Семья арендовала квартиру на месяц.

Какое-то время я жила у маминой подруги, потом пыталась прижиться в коммуналке, в папиной квартире, но по ночам меня будили огромные крысы, какие-то насекомые и страшные сны. Да и соседи не отличались радушием. Потом был шанс жить у молодого человека, с которым я встречалась, имя его Ветла, но появление на авансцене его мамы было далеко не в мою пользу. Мама Ветлы — заведующая медпунктом, и по инерции она всем делает уколы.

Пару ночей я провела в мастерской художницы, с которой работала, потом на даче у своего крестного брата, наводненной массой крестных братьев и сестриц, и, наконец, одну из ночей мне пришлось ночевать дома, на надувном матрасе, и это, надо сказать, была самая уютная ночь. Но следующим утром инстинкт самосохранения погнал меня на 16 станцию Фонтана, где с рюкзаком и в полном растворении я бродила среди дач, растерянно собирая сухие листья.

Ближе к вечеру подхожу к одному домику, продираюсь сквозь заросли ежевики и вижу — горит медовый очень домашний свет в оконце. "Простите, здесь кто-нибудь сдает дачу?!" — ору я людям, садящимся ужинать и греющим ложками, включающим дворовой фонарь. "О, это опять к Клавдии Григорьевне!" — ответил звонкий женский голос, вышла хозяйка в белом халате и провела меня в еще большую глубь малиновых тропинок. Навстречу выпархивает сухонькая старушка с пронзительными голубыми глазами. "Здравствуйте, меня зовут Юля, вот хочу снять здесь жилье..." После нескольких встревоженных вопросов Клавдия Григорьевна успокоилась, глянула в мой паспорт и оказала радушный прием. Бегло сообщила, что есть ее внучка, она журналистка, и на мой вопрос — о чем она пишет, Клавдия Григорьевна ответила: "Да пишет там что-то... Что-то, видимо, интересное, раз печатают!"

Позже Клавдия Григорьевна уехала домой, в центр города.

И вот мой первый вечер на даче прошел просто изумительно. Я заварила чай из душистых трав, читала любимую книгу, слушала волнующее пение сверчков и впервые за долгое время была по-настоящему счастлива.

На следующий день отправилась к морю. Пляжи были пустынные, можно было гулять вне времени, под солнцем, собирая камни — куриные боги, сердолики и те, что притворяются ими, — купаться, растворяясь в прозрачной воде, вокруг — ни души!! То было воскресенье, а на следующий день мне нужно было ехать на работу, на дребезжащем автобусике, словно на край Земли. Вечером, прижав уши к голове, словно кот, мчусь на дачу — скорее, там пахнет мятой и малиной, вечерний фонарик освеща-

ет листву, сверчки меня ждут... Прихожу, завариваю чай, наливаю в пиалу, аромат меня греет и успокаивает... Вдруг — скрип калитки, шепуршение — и "Здравствуйте, так вы — Юля? Очень приятно, а я — Настя!!" Дружелюбная кудрявая девушка, фонтанирующая прекрасным настроением, весельем, смехом! Удивительно интеллигентный, обаятельный человек с тысячей интересных историй. Рядом с ней спокойным останется разве что неодушевленный предмет.

Мы, конечно, болтали полночи. Она знает массу одесских художников, живет в Минске, но родом "с Одессы". Она собрала букет чернобривцев, поставила в вазу, и мы пили чай в саду, и казалось, что ничего не может быть лучше этих чернобривцев, запаха винограда, кассеты группы "Кино" в крохотном магнитофоне и наших бескрайних бесед.

Однажды мы выбрались на море. Шли пешком вдоль мыса, по-моему, он называется "Золотой". Кажется, что, обогнув этот мыс, ты попадешь в еще больший рай. Солнце то пряталось, то высверкивало морские прохладные барашки, прозрачные волны, дождевые лужи радужные и улыбающуюся Настю, которая говорила мне, как в детстве: "ты плохая!.." — когда я сказала, что мне пора домой, готовиться к работе, и вообще утомительно прочесывать такие километражи. И ее детская интонация, какое-то одиночество, присущее многим успешным и формально не одиноким людям, конечно, заставило, забыв обо всех хлопотах житейских, чесать еще столько же, да еще полстолька, да еще четвертьстолька, не чувствуя ни капли усталости. Мы болтали, молчали и смеялись, и только под вечер, пропитанные соленым морским ветром, оказались на даче, охраняемой малиной, с медовыми окнами.

Вскоре мои гости уехали, лето смотало удочки, и мое время, точнее, вневременье пребывания на чудесной даче подошло к концу. А Насте пора было уезжать в "серый бессолнечный город Минск". Мы обменялись всеми координатами, обещаниями теле- и прочих видов коммуникации, и на какое-то время исчезли друг для друга.

Но это, конечно, не все... Чудеса не прекратились, будущие встречи зачеркнули все серые дни, а воспоминания сохранились, словно нежный гербарий, на страницах сердца.

Вот вы думаете все?

Нет... Слышите?

Настя: "Помнишь, как весело было, когда мы постеснялись идти через монастырь и пошли через пограничную зону?"

Я: "Конечно, помню! Мы были в шортах и в майках, постеснялись про-

рываться через монастырь мужской, и...поворот не туда!! Попали в погранзону. Там пограничники изумились при виде двух девиц со всклокоченными от ветра волосами, с гигантскими букетами полевых цветов и ошалевшими глазами. Они долго допытывались, откуда мы взялись. Так и хотелось показать глазами наверх — мол, оттуда!!"

Настя: "И ты еще забыла, как мы до темноты читали твои рассказы на лавочке под окном в один из вечеров, закутавшись в какие-то попоны от комаров. И как ночью ты однажды включила свет по всему дому".

Я: "Ха-ха, мне пригрезились снова какие-то монстры ночью, паратройка пауков проползла по лицу, и, охваченная ужасом, я врубила везде свет. Настя проснулась от сумасшедшей иллюминации и от истинного ужаса перед бабушкой, которая очень экономит электроэнергию..."

Настя: "В руках у тебя (в момент встречи с Настей. — **Прим. автора.**) была пиала из глины, слепленная, кажется, тобой".

Я: "А, нет, то была пиала, смастеренная керамических дел мастером Димой Нужиным, внутри нее была крохотная залитая глазурью Триумфальная Арка. Для парижан, размером с полголовки спички".

Настя: "Ты оставила в комнате на даче свои букеты из каких-то полупрозрачных сухих цветов и несколько камней. Они до сих пор там. И всегда о тебе напоминали.

Хотя нет — думаю, нынешние владельцы дачи все это вынесли вон, (дача продана бабушкой Насти весной сего года соседям. — **Прим. автора.**) и, может быть, камни опять вернулись на пляж — до моря недалеко ведь..."



ПОЭЗИЯ

Борис ХЕРСОНСКИЙ
Зима 215

Галя МАРКЕЛОВА
Мартовский снегопад 221

Надежда МОРЕВА
Дорога в Мило 225

Елена ЛУКЬЯНЧУК
Наши лица, как экраны... 230

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК
А был ли ветер? 232

Александр ХРОМОВ
Ответ на вопрос, заданный в кафе "Хали-Гали"
некоторое время тому назад... 239

Роман БРОДАВКО
Баллада о Мадонне с младенцем 241

МОСКВА-ОДЕССА
Алла ГОЛОВАНОВА
Имена 247

Борис ХЕРСОНСКИЙ

Зима

1

Призрак разрушенного собора
держит небо на трех золотых крестах.
Четырехслойные звуки хора
стоят на своих местах.

Благослови, душе, во гробе зряще,
Господи, воззвах к Тебе — блажен муж.
В небе ни облачка, и слепящее
солнце сияет из черных луж.

Глаз не поднять. Впереди — мельтешение.
Оттепель — обманка посреди зимы.
Богу во славу, родителям во утешение,
себе на погибель выросли мы.

Плечи расправили, души расплавили,
дар отцовский растратили до гроша.
Никто не скажет — ошиблись, правы ли,
ни одна живая душа.

2

Хорошая рифма — гроб и сугроб.
Что кровь и любовь. Но встречается реже.
Бумажный венчик, холодный лоб,
молитва — в руке. Явление: те же

и неизвестность. Идет на крыльцо,
косясь на венок, прислоненный к стенке.
Ветер срывается, морща лицо,
как на сдуваемой пенке
по поверхности горячего молока —

мне мерещатся издалика
пахнувший карболкой школьный буфет.
синий в царапинку пластик стола.
Щербленное блюдце, обертки конфет,
белковая пастила.

Тихоня-калитка, железный засов,
судьба отчизны на чаше весов,
будильник на семь часов.
Рифленный сапог, зеленый погон,
добряк-прокурор, суровый закон,
портреты — со всех сторон.

Подробности жизни, которой предел
положен позавчера.
Во дворе десяток подвижных тел,
недвижное — вон со двора.

За что горел — за то и потух.
И тащит душу добрый пастух,
как ягненка сквозь темный лес.
По снегу бежит безголовый петух,
что горлу — процессии наперерез.

3

Саночки, саночки, по снегу хруп-хруп.
Малого мальчика в санках везут.
Валенки, шарфик, цигейка — тулуп,
в детский сад, что на страшный суд.

Овчинка-спинка, сдвинулась вбок
ушанка, промерзший слюнявый шнурок:
бантик, двойной узелок.

Он видит лишь спину перед собой,
крест-накрест перетянутую платком,
да еще стоит на углу седой
инвалид с фанерным лотком.

На лотке — шарики, цветная фольга,
на резинке: дернешь — и прыг! скок!
На запад идет живая нога,
культипка — назад, на восток.

Саночки, саночки по снегу скрипят,
кошечки, кошечки на душе скребут.
Справочку, справочку печатью скрепят.
А ты не махай — не тебя гребут.

Ты молча стой, или волком вой,
стучи культипкой по мостовой,
тряси седой головой.

4

Засунем сосульку поглубже в рот:
крутое детское порно.
Иней на створках чугунных ворот.
Собака лает задорно.

На тротуаре раскатан лед
черною полосой.
Скользит, чертыхаясь, прохожий люд.
Водку в авоське несет инвалид,
сверточек с колбасой.

Колокольчик бренчит — привезли керосин.
Вывозят мусор — заскрежетала
лопата. Ведрами папа и сын
уголь несут из подвала.

Порядок растопки — газетный ком,
лучина, дрова. Когда разгорится,
подсыплем угля железным совком.
Дверца чугунная затворится.

Упрись ладонями в кафель. Тепло
перерастает в жар, обжигая.
У печки от обуви натекло.
Лампочка светит, мигая.

Через два часа выгребает золу.
Крупинки черные вьелись в кожу.
Войду в прошедшее. Сяду в углу,
здешних жильцов не тревожа.

5

Не понимаю, как это мы
остались среди зимы.

Среди ушедших времен, знамен,
среди враждебных племен.

Среди покоившихся старых домов,
среди поврежденных умов.

В промерзшем, загаженном параднике
на ледяном сквозняке.

Сидим с врагами за общим столом.
И им, и нам — поделом.

Даем прикурить. Бережет ладонь
слабосильный, нервный огонь.

Смеемся, пока ледяной узор
не покроет наш общий позор.

6

Что ты глядишь, ведь тебя уже нет
в этом мире несколько лет.

Рассеянный зимний свет.

Вчера два года, сегодня — пять,
послезавтра — не сосчитать.

Вечность приходит как тать.

Вот старик у письменного стола
говорит: "У нее в расстройстве дела
с тех пор как она умерла.

Всюду — груды одежды, пыль по углам,
На полках разложен ненужный хлам.

Кто скажет, что делать нам?"

"Не выбрасывай лампочку! На нее
натянем носок, и затеем шитье-
штопку на все житье.

В стопку сложим белье.

Потом мастикой натрем полы,
растянем простыни за углы,
покуда руки теплы.

Мыло — на терку, заварен крахмал.
Ты еще слишком мал".

7

Лапкой заячьей золотую фольгу
кладут на белый левкас.
Словно отклик солнечный на снегу —
Мать Божья, молись за нас
теперь и в последний час.

Затвердевшее тело вбок повело,
где совести быть — чернеет дупло,
просвети, там станет светло.

Кистью беличьей выбелена плавь,
штрихи в уголках глаз.
Богородица, не оставь,
Благодатная, молись за нас,
теперь и в последний час.

Слой олифы, венец, оклад,
не грусти, все пойдет на лад,
все пойдет на лад, все пойдут в барак,
там скрежет зубов и мрак.

Заточку в тряпочке — под матрас.
Мать Божья, молись за нас,
теперь и в последний час.

Тьму сечет прожектор во всю длину.
Чешет на ночь пятки петух пахану.
А под утро — то ли пахан храпит,
то ли смертно петух хрипит.

Выхода нет. Есть подкоп и лаз.
Расшалились мы. Глаз за нами да глас:
Матерь Божья, молись за нас
теперь и в последний час.

8

В последние годы боюсь зимы.
Думаю — пережить не смогу
рано наваливающейся тьмы,
свиста в ушах. На каждом шагу

окурки, стынувшие плевки,
снега белесые островки
под буровой присыпкой песка.
Смерзшаяся тоска.

Я ношу свой страх под пальтецом,
прижав ладонью, чтоб не обронить.
Смотрюсь в витрины. С таким лицом
старухи слонявят нить.

Как будто хочу дыханья тепло
протащить сквозь ушко декабря,
но пальцы судорогой свело.
Манекены глядят сквозь стекло,
ни слова не говоря.

Мартовский снегопад

Очарованье зимнее воды —
то соблазнит блистающим покровом,
едва просвечивая наготу сплетений
рунических,
то вдруг алмазной мудрой
возникнет на пути, блистая утром,
то снежной нежностью укутает убогих
веток мерзлые суставы,
чтоб смертного не слышно было хруста
под тяжестью заботливой природы —
ей принимать у каждой ветки скоро роды —
и не страшна аллея бурелома,
где грусть и нежность в линии облома...

* * *

Вся жизнь моя доведена до снов,
где я растворена до самых до основ,
и снова крутят фильмы в клубе, снова,
пока не вылетит единственное слово...

О, пытка памятью, о, ужас бытия,
о перфорация на черно-белой ленте,
остановись на этом вот моменте,
где каркает вчерашняя заря:
"Не жди, не жди, тебе не будет забытья!"

О ритмы дыр на черно-белой ленте,
о, не буксуйте в том больном фрагменте
памяти, где не дано забвенья
и даже след мгновенья
давно прошедшего монтирует из бытия
и призабытый стыд, и личное паденье
в острейший блеск хитросплетений —
и бездыханною под скальпелем лежит моя душа
стыд-монтажер монтирует виденья.

* * *

Любви превратности и марта снегопад
докучливы, который день подряд
наощупь, наугад
ступаю я по ложному пути,
я вся в плену злокозненных преград:
хлябь искрой льдинок невпопад
мою расслабленность смутит,
в слезах отчаянья утопит
досадный опыт.
Ах, ревность, как тут не крути, —
от мелодрамы не уйти —
О! Ключья писем так подобны
неверному десанту снежных хлопьев...

* * *

Младенец апрель — шалун и проказник
прикольный устроил особенный праздник:
он будто ворвался в чулан чародея
и дух колдовства в атмосфере развеял,
и видимым каждое стало движенье
реакции той, что приводит в брожение
в забытой пыли чердаков и подвалов
затеи, что после приводит к обвалам,
к обломам, разломам, досадливым сколам,
случайным уколам той щепки, что колом
предстанет в итоговом акте,
что все преподносит по факту, по факту.
Когда разойдутся все чары, виднее
кристаллик души, что светлеет, светлеет
в потоке различных закрученных свилей
хоть трудно ей видеть — чужие, свои ли —
на то и апрель —
чтоб светом очистить и выявить прель.

Межсезонье

Пронзительная неба бирюза
рассеивает фразы склок синичьих
над лаком локонов гледичий,
где в завитках упряталась роса,
играющая гранями алмаза,
а ты идешь по ней и думаешь о разном,
не замечая поворот тропы
и знака не читая в ржавчине
листвы, что прижимается к подошве,
лишь бы идти, идти подольше,
не замечая, что за вид за поворотом...
Когда туман кулису уберет,
предательски обдаст нас конским потом...
Ах, так и знала!
Там — расседланный Пегас траву жует —
нелетная погода!

О. Губарю

Как звоном золотым
осыпались березы
вслед дробы металлической гледичий,
вслед целой доли тополиного дуката
туда, куда и мы уйдем (когда-то) —
тут прочерк обозначен лапкой птичьей,
там не нужны ни серебро, ни золото
нам, но тому,
кто рыться будет
в слежавшемся культурном слое
до одури, до гормональной бури
захочется найти хоть что-то золотое.

Дождь

Нечаянно был мною вызван дождь,
и он прорвался, прошумел, пролился,

с такой неистовою силой он в окно ломился,
чтобы прозрела я, как нелюбима я тобой... Что ж!

Мне страсть, неистовство, напор
налетов невзначай, сих мимолетных шквалов,
когда бранишь меня ты за вечерним чаем,
намек дает на щебет птичий хор,
о светлом утре что оповещает...

И только я боюсь, что регулярный дождь,
размеренный, занудливый, поселит в душах,
о, не ложь, а равнодушие, холодность осеннюю...

Я так боюсь, что сил не хватит мне
дождаться снова лета, солнца, слова,
пускай не одобрения, а так,
в сердцах тобой оброненный пустяк...

Актер

М. Козакову

Когда, Актер, нас разделяет рампа,
и нападает взглядов рой под зуд софитной лампы,
а палец плембса приобрел смертельный крен,
яви тогда презренье к мимолетной славе
и не борись за жидкий всплеск кистей —
аплодисменты — да, награда,
но не оценка всей судьбы твоей,
что выдернула в круг
и луч крестом сложила,
и требует всерьез:
воскреснув — умереть.
Что отражение нам в пульсирующем круге зрачка,
когда проходит жизнь под вырождение эллипса арены
в кровоточении стигматного значка
на каждой глади собственной ладони?

Дорога в Мило

Разбегающиеся, сползающие с горы уступами
в спешке ровные строчки крестьянских полей.
Небеса облысели, истерты стволами бамбуковыми, —
ландшафтам Ван Гога экзотический мавзолей.
Так вот где писал эти шляпы, укрывшись под пальмой,
обжигающий график посадок, культур геометрию,
разбивая пейзаж на квадраты по модным поветриям,
еще не известным в стране, столь от Франции дальней.
Вытесненный из недр каменный лес, жаждущий плоти деревьев,
выплюнутый — в подземном Китае тоже нет места.
Выплющен, в ожидании метаморфоз трепещет невестой.
К ночи дряхлеет: торчат каменных пальцев коренья.
В меднолобости Будда картинно уселся ко всем спиной
на вершине, покуда серпантин не сделает очередной
поворот — чудо, чудо! А отсюда б — домой.
До шлифовавших под солнцем до Солнца дорогу рук дела нет.
"Железка", стянувшая, изловчившись, над пропастью две горы,
тоннели, в них скопища духов за сонмищем лет.
Рифмуясь с карнизами пагод, мост готовится в тартарары,
но страшнее кривой лабиринта для духов нет.
В искривленном пространстве, разбивая со всхлипами лбы
об углы, что на карте не отыскать,
создают сквозняки и мешают спать,
заставляя вспомнить молитвы, мантры и ворожбы.

* * *

Пентатоника шелковой лентой
пеленает встревоженный слух.
Задурит: как во сне, по сегментам
осыпается западный дух.
Поскользнешься на тонкой улыбке,
как на корке. Да разве поймешь,
залетевший сюда по ошибке,
эту дивно-восточную ложь

для гостей? По струне вышивали,
по канве — повторяя узор,
угловатость в веках изживая:
кровли, бедра, сладчайший набор
речь царапавших слов, интонаций
камуфляж — не заморщить небес.
Катаклизмов все ждал, кульминаций —
без следа растворился, исчез.

Велосипедный маршрут

Неоднозначность рельефа —
спуски-подъемы (up-down) —
секстаккордом пружинным (ре-ля-фа)
гармонизируешь. Даун,
рот позабывший прикрыть, дама,
кружево рвущая спицей
велосипеда, зонта. Русская драма,
сдуревшей синицей
(взлеты-паденья) восемь тыщ
преодолев, продолжается здесь.
Ни со свечкой собачки не сыщешь,
ни с фонариком красным. Взвесь
распятие ребра на стойках
освежаванных мосек, дух
марихуаны, серы — нестойкий,
след дракона, на выдохе: "Господи!" — вслух.
Уцелевшие шавки, врываясь в сон,
поражат полиглота, ловца
истины, пятый вплетая тон
в четыре китайских. Шершавость словца,
перца отзовется першением
горла, не смягчаемым мутью винца.
Сладко пасть, уступив искушению:
заорать дико "р-р-р", не скорбя о потере лица.

Погружение в английскую разговорную речь

Втискивая размах своего плеча
в изящное: "I'm o'kay. That's nice", —

млеешь. Мнишь: "Голливуд. Звезда", — сгоряча.
Из-под руин языка выбираясь,
родного, терзающего (и во сне
уже не стонать), набираешь скорость.
Память замкнув, хоронишь на самом дне
любящих, прочее выдернув с корнем.
Не чуя потери, в приобретенье
веришь (привкус клубничного бабл-гама).
Мешает прикус, гласных соченье —
артикулируешь, губы Адама
представив, жующие в восхищеньи
отцовым зверинцем чуждые звуки
на неродном языке. Упрощенья
жизни, уплощенья мозга науки
познаешь. Складных фразок скольжение
выпрямляет мысли извилистый путь.
Топографии новой вторжение
отраженье меняет, гражданство, суть.

* * *

Содержание алкоголя в крови
опять превысило дневную норму,
любви — не дотянуло. Как ни дави,
какие для выживания формы
ни изобретай колеса помимо, —
не покатит. Незнакомо копошась
сбоку, инородна и неуязвима,
в позе лотоса корячится душа.

Времена года

С пунктуальностью прометеева орла,
с правотой иных фавориток при иных дворах
входит осень. Сжигает предместья дотла —
ни сбежать, ни остаться. В следах оседает страх,
кардиология терпит сезонный крах,
близорука: не видит твари, дрожащей впотьмах,
угодившей в томительный резонанс, в прах
рискующей обратиться. Поражает размах

ловушки, антураж, стиль. Одарен листом
кленовым — отравлен: на коже, сетчатке, душе
пятипалы ожоги, тревожит густой
запах тления, удушлив, сладок. К распаду уже
изнутри прорастает движение — все вдруг
оборвется... Ноет ветер, шарит в пустых ветвях,
расширяясь, пространство скрывает недуг.
Снега ждешь: приложить ко лбу, капли рукой лоя.

* * *

Маме

К перечню несостоявшихся надежд
прибавить эту:
лета ждали, легкомысленных одежд —
ни фей, ни лета.
Тяжесть облака растущая. Висок
теснит затылок.
Веки красны от осенних подоплек,
ветров постылых.
Давний дождь и благонравен, и речист,
хлестнет цитатой
из мудреного, мерцающего, из
Его трактата.
Наизнанку выворачивает лист
дразнящий шепот.
Всплеск — и сад дрожит, и стекла подались
на оклик скопом.
Сон глубок и труден: снова медлит свет,
узнавший этот
сад, потоками вода и свежий след
и горечь лета.

* * *

Межсезонье настигнет под вечер: нет
электричества в доме, мужа с работы,
утешительных ангелов, сигарет.
Накрывает. Запнувшись опять о ноту,
осечешься и съежишься. С ближней крыши

мрак стекает, мягко углы проходя, —
темноте покоряешься. Липнет, дышит,
по затылку — за шиворот, обводя
частокол отвечающих позвонков,
проползает подмышкой, стирает тени.
Цепенешь: ни шорохов, ни звонков.
Лоб горяч. Продираешься сквозь в смятеньи
цепкость взглядов, настойчивость голосов,
вездесущность рекламы, осевших за день.
Шелушатся чешуйки угаданных слов,
слез, желаний, чужих видений. Внятен
нарастающий яростный шепоток,
подгоняет дыхание, буравит темя,
жжет ладонь, подталкивает в локоток.
Врет. Пророчит, смутяян, душегуб и затейник.

Da capo^{*}

Как ветеран игры полузабытой,
душа благонадежна. Чуть размыта,
легка, печаль ее звучит иначе
в четыреста пятнадцать^{**}. Горьким плачем
барочность позы нарушает сын: он
в игру не верит. Рвутся трели, стынут
у губ слова, перо струну щекочет.
Обои красны. Пальцы тонки. Кочет
вдруг с дальней стройки возвещает миру
осмысленно и грозно: "Майна... Вира..." —
распахивая жизнь по вертикали.
Глядишь в конец. Там то же, что в начале.

^{*} Сначала (итал.) — музыкальный термин.

^{**} Старинная настройка клавесина. В отличие от современной,
где высота ля равна 440 герц.

Наши лица, как экраны...

Как в кино, на наших лицах
Кадры мыслями полны:
Пролетают мысли-птицы,
Пробегают скакуны...
Иногда по ним крадутся
Тени мыслей-грызунов.
Мысли-мухи расползутся,
Трансформируясь в слонов.
Мысли-ласковые-кошки,
Мысли-вредные-коты,
Мысли, мелкие, как блошки,
И большие, как киты.

Мысли тяжкие. Как камень.
Мысли сла-а-адкие, как мед.
Мысли, жгущие! Как пламень!
И холодные... Как лед.
Мысли, рушащие стены,
Мысли, правящие бал!
Мысли-краны. Мысли-крены.
Мысли-штили. Мысли-шквал!!!
А бывает, мысли-маски
Хорошо играют роль.
Мысли-дебри, мысли-сказки.
Мысли-каша. Мысли-соль,

Наши лица, как экраны,
Кадры мыслями полны.
Можно даже спрятать раны
В ниши мысленной стены.
Можно скрыть за мыслью-тучей,
Мысли-звезды, мысли-свет.
И сразить счастливый случай
Могут мысли-пистолет.
Жизни мысленных букетов,

Глаз задумчивых окно,
Кто сценарий пишет этот
Нашим лицам, как в кино?

Кто придумывает часом
Мысли-страхи без причин?
Мысли-пути, чьим приказом
Тянут сеть косых морщин?
Как в кино, на наших лицах
Отражается сюжет.
Мысли-кони. Мысли-птицы.
Наши Мысли — наш Портрет...

* * *

Толстый рыжий апельсин
Улыбнулся мне с витрин:
Эй, красавица! Постой!
Заходи скорей за мной.
По-кавказски подмигнул
И пупком своим сверкнул.
Я свернула в магазин:
Мне вот этот апельсин.
А сосед его крутился,
Прямо под ноги скатился!
Засмеялись апельсины:
Покупайте витамины!

Выхожу из магазина
С полной сумкой апельсинов.

А был ли ветер?

Поэма

1

Разговор с мечтой

— А был ли ветер?

— Я не знаю.

— А был ли дождь?

— Он мог не быть.

— Тогда зачем я, как слепая,
шла не к судьбе, а от судьбы?

— Ко мне стремилась.

— Как мне страшно!!!

— Да, страшно...
Страшно далеко.

— И черный кот зачем-то кашлял.

— Он поперхнулся молоком.

— Мне непонятно, был ли ветер?

— Зачем тебе об этом знать?

— Пока летел, он песню встретил
там, где сбежавшая волна.

— Пойми, волна не убежала,
она наткнулась на песок.

— Скажи, язык похож на жало,
а жизнь на тонкий волосок?
Скажи, когда он оборвется,
я встречу папу или нет?
А в душу можно спрятать солнце?

— Пусть ветер принесет ответ...

2

Разговор с ветром

— Не дуй мне в спину... и навстречу.

— Прости,
мне что, совсем не дуть?

— Пусть век пройдет, и я отвечу
в три тысячи втором году.

— Ты странная: такая точность.

— Точней улыбки только смех.
Ответь мне, ветер...

— Срочно?

— Срочно...
Насколько призрачен успех?
Летает ветер там, где папа?
Зачем так больно от вины?
Что будет там, где юго-запад?
Куда мечты вознесены?

Ты, ветер, как воспоминанья,
то сносишь крышу, то шуршишь.
Ты, ветер, как мои терзанья,
их отдала б я за гроши.

Но кто возьмет?
Смешно, ей-богу!
Как изворотлива мечта,
что вездесущую тревогу
вложила в нежные уста.
Не дуй мне в спину...
и навстречу.
Я знаю, просят дураки.
Я через век назначу встречу
там, где разводят сорняки.
Средь сорняков найду цветочек
и папе подарю его.
Мне нелегко не ставить точек.
А точки служат для чего?

— Ты странная.
Причем здесь точки?

— Они похожи на песок,
на пыль, на прах,
на сердце дочки,
на тонкий-тонкий волосок.
Он оборвался, и потеря
досталась тем, кто жив пока.
Несчастливым я теперь не верю.

— Пойми, они, как облака.
Разгонишь их — и будет счастье.

— Ах, милый ветер, помоги!
Я разделю мечты на части,
а для тебя...

— К чему торги?
Я улетаю. Ты просила,
чтоб я не дул...

— Нет, нет, постой!

— В тебе самой такая сила...
На сто веков.

— Не уж на сто?

3 Разговор с музой

— А был ли ветер?

— Я не знаю.

— Тогда откуда все слова?

— Ты обрела частичку Рая.

— А кто мне шепчет "Раз и два"?

— Ты обрела частичку Ада.

— Зачем смешались Ад и Рай?
Скажи, кому все это надо?

— А ты словами не играй.

— Я через слезы улыбаюсь

— Я знаю...

— Через смех грущу.

— Ты помнишь, в детстве, дорогая
ловила в луже длинных щук.

— Прости, я с памятью рассталась.

— Что ж, так бывает.
Не грусти.

— Скажи, а я уже летала?

— Не спрашивай меня.
Лети!

4

Разговор с любовью

— А был ли ветер?

— Был. Я помню.

— Куда он, кстати, улетел?

— Не знаю. Он любви не ровня,
ведь он противник жарких тел.

— А был ли дождь?
А снег?
А слезы?
И где мой папа?
Он ушел?

— Ты помнишь, в детстве: луг,
стрекозы?

— Я это помню хорошо.
Как стрекоза мочила крылья
в воде заросшего ставка.
Как на дороге пыльной-пыльной
я запускала облака.
И только папа мне поверил,
что облако — воздушный змей,
что вечер был прозрачно-серым,

когда домой гнала гусей,
что у соломы запах снега,
что у теленка есть мечта.
Но он сказал: "За хлебом сбегай".
А сам остался у холста

— И что же ты?

— Пошла за хлебом,
вернулась, чтоб его любить.

— Но ты смотрела чаще в небо.

— Смотрела в небо? Может быть.
Ведь я сама была как ветер.

— Нет, ты мечтала быть такой.

— Судьба всегда плела мне сети,
их папа называл: "покой".

— О чем грустишь, ведь ты любима?

— Я не грущу, я так люблю.
Моя любовь, как старый снимок.

— Как старый снимок? Ой-лю-лю!

— Ты, как и я, из откровенных.

— Нет, я хочу спасти, как ты.

— Любовь спасает?

— Непременно!
Причем одна, без красоты.

Разговор с папой, после его смерти

— А был ли ветер?

— Знаю точно,
что был лишь дождь из ваших глаз.

— Зачем, скажи?

— Не надо, дочка!
Я не хотел, поверь мне, зла.

— Так был ли ветер?
Кто сгоняет мне
в душу тучи каждый раз?

— Моя родная, всё на свете
еще случится.
Дети! Дети!
Не я решил оставить вас!

Ответ на вопрос, заданный в кафе "Хали-Гали" некоторое время тому назад...

Золотые нити, золотые, как мед в баночке,
Золотые, как осеннее солнце, жующее купальников лялечки.
Вопросы-ответы, веселья час, что это значит для вас сейчас?

Вопрос задающего уже готов.

Что значат для вас дымки барного кайфа покров,

И что вы чувствуете сидя вот так,

В прикиде, на взводе? Вот это чувак!

Зачем вы приехали в этот кабак?

Ну, просто приехал, зашел вот — женских животиков ценитель квот.

Осмотрел всех, увидел, да — эта телка лицом хороша,

А так в основном все постыло и мерно, нет пожара в жизни манерной.

Ну ладно, слушайте, одновременно пейте и кушайте, сексом

Тоже можно заняться, правда, лучше не раздеваться

(Беседа идет в общественном месте, предположительно в "Баффало").

Уточним для начала вопроса точки важные, не надо при этом трогать руками влажные,

Ведь мы говорим сейчас не о бане, ванной, диване или стакане,

Речь пойдет совсем о другом: бытие — в обыденном, счастье — в одном.

Отвечу однако лишь за себя

Состояние есть, и это — есть Я.

Простого мгновения на свете нет,

Есть мысли, память, субъект и объект.

Сидя на стуле в углу, как в угле, столика бортик близок тебе,
И даже сидя вроде один, на самом деле ты в компании нимф.
Вокруг тебя они выются кругами, ласкают руками и бьют ногами,
Эти маленькие чешущие твари знают все — о тебе, обо мне.
Малыш — ты для них как небо в воде,
Они порождения миров зыбких, мыслей чутких и желаний прятных,
Они плетут вокруг паутину, маскируя ловко быта рутину.
Задача их проста и безумна — сделать меня для себя умным.
Вот для чего им нужны нити, из золота, чистые, от Нефертити.
А может быть, они от Версаче, если так, то я скорее заплачу.
Эти нити есть канаты, трубы и проводов трассы,
Они для жизни моей матрасы,
Они связывают меня с пространством, причем, с прошлым и настоящим,
Они как соты, пропитанные нектаром, дающие кайфа негу практически даром.
Для них нет момента, когда все пусто, это и грустно, и пыльно, и постно.
И я вам скажу основной постулат: для кайфа сейчас нужен прошлого бласт,
Тогда ты сможешь и один зажечь, веселиться, гулять и, возможно, прилечь.
Золотые нити — тебе друзья, помни о них, в летах веселясь.
Они в этой жизни цели главной часть, и они помогут тебе не упасть,
Твои же силы в тебя заплетут, когда надо — найдут и домой приведут.

Баллада о Мадонне с младенцем

Праведникам народов мира

Стояло горячее знойное лето.
Колонну отверженных гнали из гетто.
Все знали — к оврагу. Все знали — отжили.
За рощей лишь вороны в небе кружили.

Не плакали дети, не выли старухи.
Жужжали над потными лицами мухи.
Глоток бы сейчас хоть какой-нибудь влаги!
А впрочем... Скорей бы дойти до оврага!

Село встрепенулось. Село затаилось.
За деревом старая бабка крестилась.
Закашлял старик, затянувшись махоркой:
Не то чтобы жалко... А все-таки горько.

А староста взглядом холодным и липким
Скользил по фигуркам, худющим и хлипким.
Глаза отведя, он вздохнул от души:
"Паскуды жидовки! А как хороши!..".

Одна среди них — так стройна и нежна,
Как добрая фея из детского сна, —
Брела от колонны чуть-чуть позади,
Дитя прижимая к набухшей груди.

Околица. Вербы, как пряди седые.
Стоит за ветвями Приходько Мария.
"Эй! Дай мне ребенка! К себе отнесу...
Не бойся! Не выдам! Увидишь — спасу!.."

Два взгляда. Два сердца. Одно лишь мгновенье
Меж смертью и жизнью, меж светом и тенью.

"Эй! Что ты там держишь? Пригрела жиденка?" —
И щелкнул затвор в карабине подонка.

Взглянула Мария. Не дрогнула оком.
"Не пей на жаре — развезет ненароком!"
И, не отводя своих бархатных глаз,
Сказала негромко: "Он мой... Опанас".

За рощей дубовой, за склоном зеленым,
За линией жизни исчезла колонна.
За нею прошли автоматчики — немцы.
А вслед им глядела Мадонна с младенцем.

* * *

Мужчина седой, исполинского роста
В родное село приезжает непросто:
Здесь дяди и тетки, здесь братья и сестры
И вечная память на страшном погосте,
В овраге, где замерли души живые.
А рядом, у церкви... Там мама... Мария...

Царь Соломон

Как трудно быть царем! Не верные сатрапы —
Льстецы и подлецы, предатели, рвачи...
Как больно треплет жизнь своей когтистой лапой!
Как грустно одному, особенно — в ночи!..

Что — золото, что — власть, когда весь день в работе?
Что — мудрость, если сам не веришь в этот миф?
А трон? Мой царский трон не лучше эшафота...
Что — женщины, когда убита Суламифь?

В пустыне — созидать! Как тяжело все дается:
И храм, и хлеб, и мир... Народ ведь воровит!
Уж лучше воевать, быть храбрым полководцем
И сочинять псалмы, как мой отец Давид.

В душе покоя нет. Сомненья рвут на части.
Чем завершится путь, я знаю наперед.
Скорблю... Прочтете вы потом в Екклесиасте:
"Все было на земле. И все, что есть, пройдет!"

Но если выбран Им свою страну прославить,
Моя надежда — Он, моя опора в Нем!
Я все превозмогу. Я честно буду править.
Не вам — Ему судить, каким я был царем.

* * *

Из рабства — сорок лет:
Таков был перст судьбы.
Неужто весь секрет,
Что из рабов — в рабы?

В пучину мелких дряг,
В разборки без конца,
Где всяк — во что горазд,
И в силе культ тельца?

Неужто путь наш — сей,
Где лишь наживы пыл,
И где забыт Мойсей,
Что Богом послан был?..

Не сорок лет подряд,
А сорок сороков —
Пророки вслед глядят
Из глубины веков.

А мы — по целине,
Не ввысь, а под уклон.
И слышен в тишине
Цепей холодный звон.

* * *

На стене висит портрет —
Отголосок давних лет.
Нет в живых оригинала,
Прожил он обидно мало,
Был угрюм и нелюдим...
А когда его не стало,
Стал он всем необходим.
Осознать его великим
Не хватило нам ума...
По картине ходят блики,
За окном опять зима.
А с портрета смотрит вслед
Тот, кого давно уж нет.
Слышен голос позади:
"Ты почаще приходи!..".

* * *

Если взять кусочек солнца
И в реке его разбавить,
А затем широкой кистью
Нанести его на холст,
После бросить на палитру
Травы и цветы степные:
Мальвы, маки и любисток,
Подорожник и полынь.
А потом — немного ветра,
И росы хрустальный бисер,
И дождей осенних пряжу,
И метели белизну, —
То получится картина,
Под которой, без сомненья,
Подпись Юры Коваленко,
Две большие "Ю" и "К".

Он — апостол и язычник,
Он — затворник и гуляка,
Он философ и ребенок,
Он — мудрец и разгильдяй.
И живут его картины
Параллельно с нашим бытом.
В них заглянешь — и увидишь,
Как прекрасен этот мир!

Лене

Давай улетим!
От забот,
Телефонных звонков,
От ремонтов,
Покупок,
Визитов
И прочих оков
И потратим себя
На любовь,
Болтовню,
На валянье вдвоем
Дурака...
Мы на это способны
Пока!
А когда
Возвратимся потом,
Все сначала начнем,
Но иначе,
Не так,
Не такими, какими мы были вчера.
И другим будет день,
И другим будет дом...
Улетим?
Ты готова?
Пора!..

Фламенко

У этой ночи — шесть струн:
Первая — это любовь,
И вторая — это любовь,
И все остальные — тоже любовь.
У этой ночи нет снов,
У этой ночи нет грез,
У этой ночи нет слов, —
Есть только любовь.
И только гитару слушает ночь —
Сводница — ночь,
Бессонница ночь,
Ночь, у которой шесть струн
И большая, как мир любовь.

Олегу Губарю

О, Боже мой, откуда эти гены?
Их родовые корни глубоки.
Бездельники Сократы, Диогены
Для большинства разумных — чудаки.

История — изменчивая дама,
И с логикой обычно не в ладах.
Ей чужд порой Эразм из Роттердама,
Порой не ко двору Сковорода.

Но чудаки в истории повсюду —
С ее благословения и без.
Они произошли от слова "чудо",
А мир безмерно скучен без чудес.

К какому их определите классу,
Тех странников, что ясным ярким днем
Бредут по миру, где царят Мидасы,
И ищут человека с фонарем?

МОСКВА-ОДЕССА

Алла ГОЛОВАНОВА

Имена

Александр

Нарочито медленным пробужденье клинка
по-царски небрежно вниманье привлечь.
Слегка выдвинут из ножен меч,
пальцы ласкают стертую рукоять.

Металл выскальзывает из ножен легко,
обретая голос, взмывает вверх,
право имея — на глазах у всех —
хозяина имя в бою изменить.

Разящий троекратный удар меча,
искрящей молнии огненная **зет**,
разверзнутых ран кровавый след —
имя твое: **ИСКАНДЕР**.

Алексей

легкий всплеск
скрип оси
поворот колеса
на канате
повис паром
пеленой приближается берег
чаще левый

Алла

Гортань раскаленная выдыхает воздух горячий.
Выдох виснет шаром дрожащим,
расплавляющим грани предметов.
Иудейской пустыни ветром возносится морок к горам.
Голос тысячелетий колеблет эхо-волна:
АллаАл
ла

Ася

Две ипостаси:
на земле —
существо невеликое
в крошечном тельце

А мгновенно встречается с Я,
потупя глаза
шелестит смущенное *здрaсте*.
Голосок щемящий полунинский
как *Ассисяй*
вопросительно жалобно
отвечай! ты меня любишь?
Трагедия не поместится здесь, неуместна,
как насвистывать Реквием
дырочкой в правом боку.
Слезы не ливнем, а дождиком вдалеке.
Метаморфоза возможна лишь налегке и в воздухе...
ЗАЛП раскрывающегося зонта!
Над головой разноцветный купол.
От земли оттолкнувшись ногами,
взмывает змеем воздушным.
Развернувшийся радужный хвост полощется.
Ветер внутри свистит — стихия! —
так в стих влетает
АНАСТАСИЯ.

Эвелина

земные херувимы
нисходят светом
дальних витражей
предлинный зов
услышит
взрослая душа
волна
окатывает землю не спеша

Геннадий

монета крутится медленно
профиль чеканный мелькает
Ген-н-н-надий
день на день
приходится не
всегда
один

Сергей

В пустом жилище
тихий перезвон
забытых кем-то в спешке
сердоликов
подвешенных на нитях у окна
сергей, сер-гей
сер
гей
стихает ветер
а с ним и звук
пронзительно ничей
Моно-но-аваре
по-японски
грустное
очарование
вещей

Вера

замочек губ удерживает рыданье
правильность спотыкается на каждой кочке
нежность мечтает быть измазана вареньем
и непременно кричать "ура"

ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Корифей одесской школы
Публикация Марины ВЕРХОВЕЦКОЙ 251

Марина ВЕРХОВЕЦКАЯ
Будь прост, как ветер, неистощим, как море . . 258

Елена КОЛТУНОВА
Когда умолкнул звук трамваев 261

Корифей одесской школы

Одесские художники всегда поддерживали тесные дружеские связи с крупнейшими художественными объединениями Москвы и Петербурга. Участвовали в их выставках, а также совместно с ними выступали на международных площадках в Риме, Венеции, Вене. Они с удовольствием принимали участие также и в отечественных акциях. Так, киевский журнал "В мире искусств", организованный А. Филипповым в 1907 г., проводил ряд художественных выставок в Киеве, Одессе, Харькове, Вене, где объединял художников новейших течений. На его страницах в № 1 за 1910 г. П. Нилус и поместил свою статью о знаменитом одесском мастере К.К. Костанди к 25-летию педагогической деятельности академика живописи К.К. Костанди в Одесской рисовальной школе.

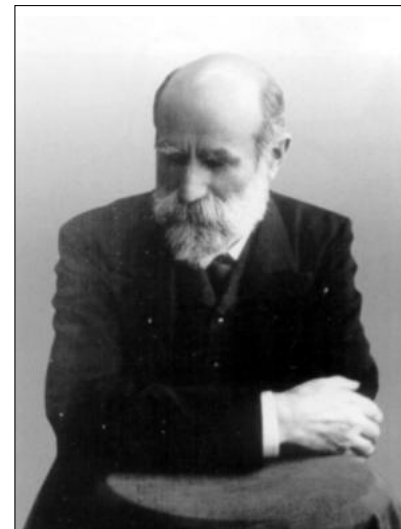
Статья публикуется впервые.

Марина ВЕРХОВЕЦКАЯ

К. К. Костанди.

Сердце поэта — безцѣнный самоцѣтъ великъ, или малъ онъ, его суть одна и та же — онъ прекрасенъ и вѣченъ и сияетъ неподдѣльнымъ свѣтомъ.

К. К. Костанди — несомѣнно одинъ изъ людей, обладающихъ талантомъ самоцѣтнымъ, вмѣстѣ съ прекраснымъ солнцемъ умѣреннаго юга, впитавшимъ въ себя красоту нашего побережья, и врядъ-ли я ошибусь, если скажу, что благодаря таланту К. К., мы поняли прелесть пейзажа нашихъ окрестностей. Онъ намъ открылъ весеннія сумерки, горячіе дни лѣта, золотистые закаты осени — необыкновенной, трогательной, наивной красоты, о которой мы до К. К. и не подозрѣвали...



Самоцѣтовъ въ природѣ немного, а истинный художникъ, пѣвецъ несетъ въ міръ сокровища своей души — все новые и новые самоцѣты, на землѣ созидаются все новыя и новыя сокровища мысли, чувства — самое драгоценное, что есть въ мірѣ. Но художники оригинальные страшно рѣдки, — и какъ же намъ не радоваться сегодняшнему празднику, какъ не торжествовать нашему городу, когда съ нами

жить истинно-прекрасный художник, который открыл нам глаза, научил понимать красоту нашей природы, бедной, но изящной, не бросающейся в глаза картинными красотами шаблонных панорам, но богатой своей простотой!..

Чрезвычайно редко бывает, чтобы с талантом сочетались и высокие душевные качества. Восприимчивая душа художника так чувствительна, так легко доступна зависти, ненависти, гордыни. Жизнь уберегла К. К. от своей накипи, тлетворного прикосновения. Здоровый ум, здоровое тело воспротивились яду мелкой, суетливой жизни, порабоощающему душу. Среди нашей лицемерной жизни он остался жить, как волна Черного моря, на берегу которого он родился и впитал в себя его живое дыхание.

Когда говорят о К. К., то даже у людей мало знающих его появляется оттенок уважения к особой исключительности его личности. Так говорят о людях высокого образа жизни, мудрецах, отшельниках, пренебрегших житейскими благами во имя высокого. К. К. — наша художественная совесть, его влияние в местном товариществе художников благотворно, жизненно, и, мне кажется, в нашей среде нет художника, который бы так или иначе не считался с его мнением; оканчивая картину, каждый из нас непременно подумает о том, что скажет К. К., когда увидит его произведение: осудит или одобрит?.. К. К. прекрасный пример того, как нужно относиться к жизни: среди невзгод и оскорбительно-мещанской жизни он спокойно идет своим многотрудным путем, отдавая себя людям, не мечтая ни о каком воздаянии за свое дело, и если ему иной раз мечтается слава, то не эфемерная слава улицы, а слава старых мастеров...

Мы придем сегодня в дом общества изящных искусств и расскажем нашему юбиляру, за что мы его любим как человека и как художника, и я глубоко убежден, что на этом чествовании не будет сказано ни единого фальшивого слова юбилейной лжи.

* * *

К. К. Костанди родился в 1852 г., в небогатой семье рыбопромышленника, неподалеку от Одессы, в д. Дофиновке на берегу моря, но, как это ни странно, не написал за всю свою жизнь ни одной морской картины — общая черта большинства одесских художников. Зато тихие, теплые, весенние зори, золотые закаты, вечерний звон, текущий через залив в Дофиновку из Одессы, оставили навсегда след в душе будущего художника, который, лишь много лет спустя, выявился в его творчестве.

"Что, собственно, послужило толчком к занятию живописью, определенно

сказать не решаюсь, — сказал однажды К. К., — но думаю, что те лубочные картинки, которыми любили украшать стены мои родители, дали первый толчок и возбудили интерес к изображениям".

Первые шаги К. К., как и многих художников, были направлены к фотографу; это был 68-69 гг. К. К. поступил к Бюлову, тогда известному одесскому фотографу, славившемуся раскрашенными портретами маслянными красками. В то же время молодого художника поразили эстампы Библии Шпора, и он усердно занялся копированием, — но эти занятия не могли дать начинающему художнику, кроме известного опыта, ничего.

В 70 году К. К. начал посещать бесплатные классы нашего общества изящных искусств, а с 71 года стал заправским учеником школы. Тогда преподавали в нашей школе: Юрины, Бауер и Мальмонь — они были учителями не только по званию, холодно, по обязанности, отсиживающими свои часы в ненавистном учебном заведении, но искренно любили и искусство и своих юных учеников, и, вероятно, от них позаимствовал К. К. тот редкий преподавательский такт и умение деликатно и в то же время убедительно, не оскорбляя, быть и строгим учителем и другом своих учеников.

В 74 году школьные товарищи К. К.-ча уехали в Петербург, в академию художеств, а он, не имея средств, принужден был остаться дома.

Случайно приехал в Одессу погостить к своей дочери, О. П. Литри, П. К. Айвазовский. Молодой художник был представлен знаменитому мариинисту, который отнесся тепло к молодому Костанди и устроил ему стипендию сперва у греческого консула И. Ю. Вучины, а впоследствии у его брата Александра Вучины.

В 74 году К. К. поступил в петербургскую академию художеств, где работал под влиянием Чистякова, одного из лучших профессоров академии и тогда и теперь. В академии К. К. пробыл с перерывами 10 лет и свылся настолько с севером, что, казалось, в нем не осталось и намека на жителя страны солнца: он тогда интересовался, под влиянием Эрмитажа, гармониями темных тонов.

Первая его картина, появившаяся в 84 г. на передвижной выставке, "У больного товарища" (галерея Третьякова), сразу обратила на себя внимание публики и особенно художников. "Властитель дум" того времени, П. Н. Крамской, автор знаменитых "писем", очень хорошо отзывался о новоявленном художнике. Вторая картина "Свидание" (собрание И. Вульфа), хотя изображала солнечный пейзаж с фигурами, северное, холодное, темное солнце, все еще не выражало вполне своеобразного взгляда на природу К.-ча. Третья картина "В люди" (галерея Терещенко) опять была написана в темных тонах. Все эти три произ-

ведения, хотя по тому времени были и значительны, но К. К. никогда, впоследствии, не возвращался к таким сюжетам, не мечтал после холодного, темного Петербурга ни о больших товарищах, ни о крестьянках, отправляющихся "в люди" — все эти мотивы были навязаны временем ортодоксов-реалистов, "идейных художников", во главе с П. Н. Крамским и Н. А. Ярошенко. К. К. стал настоящим художником только на родине, когда стал изображать близкий его сердцу одесский Большой Фонтан. Петербургский период имел и благотворное влияние на К. К-ча, и можно сказать с уверенностью, что, не будь в Петербурге Эрмитажа, обучение его в академии прошло бы безрезультатно. Правда, был в то время в академии, и поныне здравствует, Чистяков — удивительно характерная фигура, — но все же и Чистяков, влюбленный в старых мастеров, воспитанный все того же Эрмитажа, сверяющийся, не мог понять южанина. В это время заблистал И. Е. Репин, который, несомненно, имел влияние на К. К., но не в смысле заимствования формы или красок, а только в том смысле, что Репин того периода был непосредствен, как никогда потом. Пользовался советами и встречался К. К. со всеми знаменитыми "передвижниками" 80-х годов и, вероятно, от них заимствовал необыкновенную добросовестность, и даже некоторый педантизм, на несколько лет задержавший развитие К. К., почувствовавшего какой-то страх перед картиной. Но зато, в это время, К. К. писал много этюдов, обогащая себя изучением, любовно относясь к каждой подробности, и в то же время писал и широко, устремляя всю заботу, все внимание на то, чтобы, правильность взаимоотношения пятен и, можно сказать, что вряд ли кто-нибудь из русских художников того времени, если не считать Н. Д. Кузнецова и И. Е. Репина, так понимал краску, как К. К.

В 85 году К. К. был приглашен Н. П. Кондаковым в одесскую рисовальную школу, уже реорганизованную тогда, и с тех пор пробыл 25 лет ее старшим преподавателем.

С переездом в Одессу К. К. скоро вступил на настоящую дорогу, нашел себя; темная гамма тонов была забыта, и К. К. стал настоящим южным художником, несравненным колористом сумерек, ярких, солнечных дней, нашей бедной природы, небогатой разнообразием форм, но обладающей несравненной прелестью серебристого одесского солнца. Но до этого периода прошло 13-14 лет в экспериментах, исканиях себя, и много лет чувство изысканной скромности и строгости к своим поступкам удерживало К. К. от искушения выставок. Казалось, на юге было забыто увлечение темными гармониями тонов, изображение бытовой жизни, чуждой его душе. Поселившись в Одессе, К. К. снова вспоминает вечерний звон, доносящийся из дальнего города к берегам родной Дофиновки, нежные летние сумерки, с растянувшейся по горизонту тучкой...

Приехав в Одессу в 85 году, с подготовленными холстами в темной гамме, К. К. сначала пробует их закончить... но темные холсты скоро отворачиваются к стене и только много лет спустя они появляются на выставках. К этому времени относится первая заграничная поездка К. К-ча. Как бы отзвуком заграничного влияния появляется картина выздоравливающего, в легких тонах (галерея Терещенко); но этот период был очень краток.

Год спустя К. К. уже нашел себя, и его две картины, изображающие гусей, среди пейзажей в серой и золотистой тональности, ему удаются удивительно. С тех пор темные колеры надолго забываются и К. К. пишет то легкие сумерки, то фигуры среди пятен светотени и рефлексов, то фигуры "старичков" на скамейке Александровского парка, еще совсем юного тогда, с силуэтом города вдаль (собрание Е. К. Петрокино). В этот период девятидесятых годов К. К. написал много этюдов большого художественного значения. Не раз он говорил тогда, что работа прямо с натуры доставляет ему полное удовольствие, и действительно уголки Большого Фонтана, сухая пыль дорог, нежная прелесть акаций, дали с силуэтами низкорослых деревьев, виноградники, горячие пятна солнца, — все эти впечатления отразились ясно и трогательно в его этюдах, часто похожих на оконченные картины. Они всегда полны искренности, силы, выразительности и благородства.

Среди бесчисленных художников нашего безвременья, размножающихся, как только размножаются организмы низшей организации: среди художников новой формации, нового холодного, трафаретного искусства, фигура К. К. выделяется необыкновенно ярко, как укорь, как напоминание о забытой вере, любви к природе, об истинном отношении к искусству...

Самое значительное, что сделал К. К. Костанди, в чем он выразился наиболее полно и ярко, относится к последним 10-12 годам. "Монах" (галерея Руссова) самое типичное произведение К. К. Никогда ему не удалось так ярко и глубоко выразить прелесть нашей одесской весны. Теплый, и, в то же время, серебристый свет заливал картину. Куполы фонтанского монастыря, стены, в легкой полуденной тени, дрожащей зелеными и теплыми рефлексами от первой весенней, мягкой, южной, земли. Деревца акаций, еще дремлющих в зимнем сне, сверкающее небо... По дороге, от монастырских ворот, идет старенький монах с палочкой — все полно мира и радости теплого весеннего дня — безсмертной радости человечества...

Другая замечательная картина К. К. появилась лет шесть тому назад, "Сирень", очень популярная в Одессе, благодаря бесчисленным копиям (находится в одесском городском музее). Изображает снова уголок у б.-фонтанского монастыря, но, на этот раз, монастырские куполы, стены купаются в предвечернем

чернихъ тонахъ розоваго заката. Первый планъ уже въ тѣни, только кое-гдѣ, между цвѣтушихъ кустовъ сирени и желтой акаціи, скользятъ косыя золотыя полосы. Среди сирени, на скамейкѣ, сидитъ, опустивъ голову на руки, молодой монахъ. Весна, радость жизни и темная фигура монаха говорятъ о неоконченной трагедіи, и чьей-то печальной жизни... И кажется, чувствуешь, среди трепетанія красокъ розоваго золота, предвечерняго солнца, мѣдный, длящійся звукъ колокола, зовущаго къ вечернѣ, молитвѣ, безрадостному блаженству.

* * *

К. К. Костанди, какъ истинный самоцвѣтъ, никому не подражаетъ. Отличительныя качества его живописи: — необыкновенно глубокій, пѣвучій тонъ, умѣнье владѣть рефlekсами; своеобразный языкъ его кисти, отношеніе къ рисунку, свѣтотѣнь, композиція — все говоритъ о настоящемъ, большомъ художникѣ, черпающемъ только изъ своей глубоко одаренной души.

Если стать на точку зрѣнія историка, то нужно думать, что будущій авторъ "Исторіи живописи въ Россіи" отведетъ К. К-чу почетное мѣсто среди художниковъ "интимистовъ", и долженъ будетъ непремѣнно сказать, что К. К. внесъ въ міръ самостоятельную ноту, живой, бодрый взглядъ на природу. Сказать, что К. К., сказавъ свое слово, опредѣленное и ясное, находится въ періодѣ повторяемости прошлыхъ мотивовъ, какъ это обыкновенно бываетъ къ шестидесяти годамъ жизни, — никакъ нельзя. Наоборотъ, уже въ его "Сирени" прежній его методъ ломается: одна часть картины написана въ его прежнемъ типичномъ родѣ — вторые и первые планы; другая часть — средніе планы — трактуется въ новомъ родѣ: онъ начинаетъ упрощать формы, заботится о болѣе широкихъ пятнахъ. Но наиболѣе ярко проявилось его новое отношеніе къ натурѣ въ его послѣднихъ картинахъ, только тонъ остается прежнимъ, становясь все болѣе увѣренным, звучнымъ и густымъ.

* * *

Остается сказать еще нѣсколько словъ о педагогической дѣятельности К. К. Эта дѣятельность чрезвычайно плодотворна. Теперь, после 25 лѣтъ преподаванія въ одесской школѣ рисованія, оглянувшись на фаланги своихъ учениковъ, К. К. можетъ сказать съ глубокимъ чувствомъ удовлетворенія, что онъ открылъ глаза на міръ красокъ, линій не одному десятку людей, ставшихъ художниками.

Самой замѣчательной чертой К. К. какъ преподавателя, является особое умѣнье дать почувствовать красоту. Онъ для этого не прибѣгаетъ къ утомительно-

му многословію, говоритъ просто, можетъ быть не всегда ясно, но вы вѣрите ему, а главное угадываете между словъ тайну живописной красоты, которой онъ учитъ, неподдающуюся никакимъ описаніямъ, самодовлѣющую и — увы! — такъ мало понятную большинству людей! Его слова какъ-то особенно поражаютъ воображеніе, отзываются нужнымъ, всегда вѣрнымъ тономъ въ томъ невѣдомомъ пріемникѣ, въ которомъ отражаются рефlekсы живописной красоты.

Вотъ почему такъ любятъ и чтутъ его бывшіе ученики и въ трудную минуту сомнѣній находятъ въ немъ добраго, отзывчиваго товарища, умѣющаго сказать и слово ободренія, и слово осужденія, въ устахъ К. К. звучащее бодрымъ призывомъ къ работѣ, жизни...

П. Нилусъ.

Журнал "Въ міре искусствъ", 1910 г., №№ 1-3.



Будь прост, как ветер, неистоим, как море

Богат наш город знаменитыми художниками. В Одессе живут, жили и побывали многие известные мастера. И каждое имя — еще одна ниточка в яркий ковер талантов нашего города.

Орест Владимирович Слешинский родился в 1930 году в городе Смоленске. В 1944 году семья Слешинских переехала в Одессу, где после недолгих поисков жилья поселилась на одиннадцатой станции Большого Фонтана, по счастливой случайности рядом с семьей будущего большого художника Геннадия Малышева. Геннадий стал другом Ореста, вместе они ходили на этюды. Вместе они поступили в Одесское художественное училище и принесли сразу после начала занятий два мешка этюдов. Во многом выбор профессии художника был определен отчимом Валентином Ивановичем, человеком, близким к искусству, и получившим образование в Петербургском художественном училище. Со второго курса Ореста Слешинского призвали на Балтийский флот, и на шесть лет его занятия живописью прекратились. Вскоре после окончания службы на флоте, в 1954 году, Слешинский продолжил обучение в художественном училище в Одессе. Знаменитый художник В.В. Токарев, близкий друг семьи Слешинских, во многом повлиял на Ореста Слешинского. В Художественном училище имени М.Б. Грекова Слешинский занимался в мастерской Л.О. Токаревой-Александрович, которая стала для своих студентов не только наставником, но и другом, единомышленником на многие годы.

На формирование таланта Ореста Слешинского оказала влияние художественная атмосфера в Одессе, сложившаяся в пятидесятых годах прошлого века. В это время возникла сильнейшая группа художников, которые ежедневно работали в одной мастерской в художественном училище. В нее входили А.П. Ацманчук, Ю.Н. Егоров, Г.З. Крижевский, В.В. Токарев, Л.О. Токарева-Александрович, В.Г. Власов, И. Логвин, А.Б. Фрейдин.

В начале шестидесятых годов родоначальниками новой неожиданной художественной идеи в Одессе стали А.П. Ацманчук, Ю.Н. Егоров и др. Их живописные открытия привлекли многих единомышленников. О.В. Слешинский, вернувшись после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры в 1965 году, вошел в этот круг.

В живописи Слешинского центральное место заняли солнце, море, небо, дома и люди Одессы. В этом же году художник начал преподавать в Одесском художественном училище и работать в одесском комбинате Художественного фонда.

Одесский пейзаж является основной темой в творчестве О.В. Слешинского. Влюбленный в жизнь, в неповторимый город, с которым связана вся творческая биография, художник работает много и напряженно. В произведениях Слешинского много критического чутья и такта. Долгое всматривание, взвешенность образов чувствуется в строго художественной обработке произведений. Поэтому картины явлений природы и душевных переживаний так убедительны, что не требуют фантазии или особого романтического настроения. Его работы стали явлением, властно подчиняющим себе зрителя. Они привлекают ценителя не только возможностью полюбоваться цветом неба, нежными переливами зелени, прозрачностью воздуха, но и главное — возможностью почувствовать творческий выбор художника, его удивительную способность организовывать бесчисленные оттенки в стройную систему.

Художники говорят, что морская соль, испаряясь, рождает в воздухе Одессы удивительные оптические эффекты. Все серое становится цветным, все гладкое кажется шероховатым. Вот и фактура живописной поверхности работ О.В. Слешинского такая плотная и пористая, словно изъеденный солью ракушечник. И сквозь поверхность, внутрь пейзажа, видим — морской соленый воздух окутывает легкой дымкой землю, деревья, дома. Этот соленый воздух — один из главных героев живописного действия, как и солнечный яркий свет горячего южного солнца. Свет золотит поверхность, сияет яркими бликами на воде и искрится на крышах домов.

В работах художника одесские обрывистые берега словно сотворил огонь древних недр, прибрежные скалы — застывшие усилия могущественных стихий. На холсте с высоты птичьего полета видны тугая лепнина глины — от бледно-желтых, сероватых — до коричневых и красных, берега, сожженные тысячелетним солнцем, — отблеском огромных нежных вод, горячими токами воздуха — чистейшего в мире.

Бесконечное движение — берега и море наплывают друг на друга.

Размышления над прошлым Причерноморья наполняют живопись О.В. Слешинского историческим взглядом на пейзаж. Многие народы оставили здесь осколки своей культуры. История, как писал Максимилиан Волошин, "бродит здесь тенями аргонавтов и Одиссея, она — в этих стер-

тых камнях, служивших кладкой в фундаментах многих сменявшихся культур, она — в этих размытых дождями холмах, она — в разрытых складках утомленной земли, она — в этих заливах, где никогда не переводилась торговая суетня и неистребимо из века в век цветет жгучая человеческая плесень". Чтобы в природе наших дней увидеть прошлое, художник должен "перестрадать" ту землю, которую он пишет, пережить историю каждой долины, каждого холма, залива, и тогда пейзажи Одессы наполняются незримым присутствием времени. Так взгляд художника останавливается не только на существующей природе, которой есть что вспомнить, но и на особом чувстве осязаемости, вещественности времени. Словно проснувшись и сожалея о прекрасном, но тут же забытом сне, вдруг находишь под рукой осколок древней амфоры...

Берег в Аркадии. Море намывает насыпи, волна приходит и отступает. Там, где волна отошла, — песок потемнел, а здесь, где яркое солнце — высушен добела и покрыт сухой коркой. В ней застыли водоросли, медузы, пробки. И лодочка, ладья, ладошка — небольшой корабль с веслами и запасом еды, в море жизни, где мы плывем по воле ветра и капитана. Долгий путь...

Когда-то все вокруг было море. А теперь отлив обнажил дно — и выступили балюстрады ступенек. По ним недавно двигались люди, беззаботно и просто.

Есть прошлое — появляется настоящее. О.В. Слешинский дружески предлагает воображаемому зрителю попутешествовать с ним вдоль берега моря, и лучше с этюдником на плече. Потому что так увидеть южные края может только живописец.

Будь прост, как ветер, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе,
Весь трепет жизни, всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

Скалистые берега, море и рядом человек. Город, построенный им, прихотлив и своеобразен. О.В. Слешинский сосредотачивает свое внимание не только на документальной точности облика архитектуры, но главное, как говорит сам автор, "в Одессе есть своеобразная пластика, которая позволяет интересно решить городской пейзаж. Дело не в том — пишешь ты дворец или просто хибару. Старые дома в районе Молдаванки, Слободки имеют свой шарм".

Когда умолкнул звон трамваев

Стоял жаркий июль 1951 года. Алка, правда, утверждает, что год был не 51-й, а 50-й. Возможно, она и права. Ей лучше знать. Ведь это у нее на веранде разворачивались главные события. Ладно, пусть! Итак, стоял жаркий июль 1950 года. Учебный год и экзамены остались позади, О новом учебном годе пока и думать не хотелось. Поэтому за календарем мы из принципиальных соображений не следили. Правда, дни недели, в отличие от дат, определялись четко. Они были строго регламентированы кулинарными стандартами дачников, проживавших в прямом смысле в тесном, но относительно содружестве дачного коллектива по улице Гаршина, что на 12-й станции Большого Фонтана.

Уже с утра жужжание работающих в унисон примусов слегка заглушало доносящееся неясное бормотание прибора (неясное потому, что оползти тогда еще не успели приблизить море к дачам на 12-й станции) и вплеталось в звонки трамвая № 18, проходившего в те годы прямо вдоль береговой линии. А вместе с жужжанием примусов от веранды к веранде докатывались волны кулинарных ароматов, соревнуясь с полынно-пыльным запахом нагретой степи и солоновато-тинным запахом моря. Об ароматах цветов на клумбах я умалчиваю, потому что по неизвестной причине в те времена на дачах сажали в основном ничем не пахнущие майоры — яркие некрупные оранжево-красные цветы с жестким венчиком и прямым жестким стеблем (возможно, это была дань отшумевшей в недавнем прошлом войне).

Так вот. У всех дней недели был свой запах. В понедельник на каждой веранде булькала кастрюля и скворчала сковородка, а в воздухе весьма недвусмысленно пахло рыбой. Это дачники дружно утилизировали улов супруга Мадам Стороженко — дворничихи коллектива. Кличка "Мадам Стороженко" была естественной данью нашего увлечения Катаевым. Муж Мадам всю неделю трудился где-то на заводе, кажется, на "Радиалке", а в воскресенье регулярно на целый день уходил на рыбалку. Причин тому было много. В первую очередь, рыбалка — это хобби (даже тогда, когда этого слова в нашем лексиконе и в помине не было). Во-вторых, рыба, в отличие от Мадам, всегда безмолвствует. В-третьих, возможность добавить что-то в негустой бюджет семьи значило обеспечить себе покой на неделю.

Мадам Стороженко появлялась в понедельник рано утром на полян-

тых камнях, служивших кладкой в фундаментах многих сменявшихся культур, она — в этих размытых дождями холмах, она — в разрытых складках утомленной земли, она — в этих заливах, где никогда не переводилась торговая суетня и неистребимо из века в век цветет жгучая человеческая плесень". Чтобы в природе наших дней увидеть прошлое, художник должен "перестрадать" ту землю, которую он пишет, пережить историю каждой долины, каждого холма, залива, и тогда пейзажи Одессы наполняются незримым присутствием времени. Так взгляд художника останавливается не только на существующей природе, которой есть что вспомнить, но и на особом чувстве осязаемости, вещественности времени. Словно проснувшись и сожалея о прекрасном, но тут же забытом сне, вдруг находишь под рукой осколок древней амфоры...

Берег в Аркадии. Море намывает насыпи, волна приходит и отступает. Там, где волна отошла, — песок потемнел, а здесь, где яркое солнце — высушен добела и покрыт сухой коркой. В ней застыли водоросли, медузы, пробки. И лодочка, ладья, ладошка — небольшой корабль с веслами и запасом еды, в море жизни, где мы плывем по воле ветра и капитана. Долгий путь...

Когда-то все вокруг было море. А теперь отлив обнажил дно — и выступили балюстрады ступенек. По ним недавно двигались люди, беззаботно и просто.

Есть прошлое — появляется настоящее. О.В. Слешинский дружески предлагает воображаемому зрителю попутешествовать с ним вдоль берега моря, и лучше с этюдником на плече. Потому что так увидеть южные края может только живописец.

Будь прост, как ветер, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе,
Весь трепет жизни, всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

Скалистые берега, море и рядом человек. Город, построенный им, прихотлив и своеобразен. О.В. Слешинский сосредотачивает свое внимание не только на документальной точности облика архитектуры, но главное, как говорит сам автор, "в Одессе есть своеобразная пластика, которая позволяет интересно решить городской пейзаж. Дело не в том — пишешь ты дворец или просто хибару. Старые дома в районе Молдаванки, Слободки имеют свой шарм".

Когда умолкнул звон трамваев

Стоял жаркий июль 1951 года. Алка, правда, утверждает, что год был не 51-й, а 50-й. Возможно, она и права. Ей лучше знать. Ведь это у нее на веранде разворачивались главные события. Ладно, пусть! Итак, стоял жаркий июль 1950 года. Учебный год и экзамены остались позади, О новом учебном годе пока и думать не хотелось. Поэтому за календарем мы из принципиальных соображений не следили. Правда, дни недели, в отличие от дат, определялись четко. Они были строго регламентированы кулинарными стандартами дачников, проживавших в прямом смысле в тесном, но относительно содружестве дачного коллектива по улице Гаршина, что на 12-й станции Большого Фонтана.

Уже с утра жужжание работающих в унисон примусов слегка заглушало доносящееся неясное бормотание прибора (неясное потому, что оползти тогда еще не успели приблизить море к дачам на 12-й станции) и вплеталось в звонки трамвая № 18, проходившего в те годы прямо вдоль береговой линии. А вместе с жужжанием примусов от веранды к веранде докатывались волны кулинарных ароматов, соревнуясь с полынно-пыльным запахом нагретой степи и солоновато-тинным запахом моря. Об ароматах цветов на клумбах я умалчиваю, потому что по неизвестной причине в те времена на дачах сажали в основном ничем не пахнущие майоры — яркие некрупные оранжево-красные цветы с жестким венчиком и прямым жестким стеблем (возможно, это была дань отшумевшей в недавнем прошлом войне).

Так вот. У всех дней недели был свой запах. В понедельник на каждой веранде булькала кастрюля и скворчала сковородка, а в воздухе весьма недвусмысленно пахло рыбой. Это дачники дружно утилизировали улов супруга Мадам Стороженко — дворничихи коллектива. Кличка "Мадам Стороженко" была естественной данью нашего увлечения Катаевым. Муж Мадам всю неделю трудился где-то на заводе, кажется, на "Радиалке", а в воскресенье регулярно на целый день уходил на рыбалку. Причин тому было много. В первую очередь, рыбалка — это хобби (даже тогда, когда этого слова в нашем лексиконе и в помине не было). Во-вторых, рыба, в отличие от Мадам, всегда безмолвствует. В-третьих, возможность добавить что-то в негустой бюджет семьи значило обеспечить себе покой на неделю.

Мадам Стороженко появлялась в понедельник рано утром на полян-

ке, окруженной скоплением веранд, и громогласно выпаливала одну и ту же тираду: "Ой, люди добрые, рятуите! Выручайте! Опять мой паразит, бездельник, натаскал бичков, чтоб его с теми бичками холера узяла! А что мне одной с такою прорвою робыты? Уж купуйте их, клятых, хоч по дешевке. Задаром отдаю..."

Хотя на Привозе рыбу можно было купить и дешевле, но за ней надо было ехать на 18-м, будь он неладен, трамвае. А потом еще и возвращаться. Кроме того, после воскресного так называемого отдыха все были без сил и без продуктов. Почему? Поймете дальше. Если вы в те годы жили на даче, то и вопросов у вас нет.

Вторник, всем известно, самый лучший базарный день. Во вторник со всех веранд тянулся аромат куриного бульона и шел обмен информацией о достоинствах купленных кур. Причем, вес кур завывшался, а цена и возраст занижались. Неудачи типа надутый через гузнышко курицы или раздавленного в ней желчного пузыря, естественно, замалчивались. Только моя бабушка, Розалия Григорьевна, купив вместо цыпленка когтистую, волосатую, жилистую маломерку и проварив ее безрезультатно целый день, самокритично философски заметила: "Наверное, это был старый цыпленок".

В среду морские и степные запахи перебивал аромат жареных котлет. Потому что по средам еженедельно на дорожке нашего дачного коллектива возникала грузная фигура однорукого Пети, приносившего слегка привявшие полоски филейчиков, кругляши задней части и антрекоты с устрасшающе черно-красным разубом хребетных костей. Петя работал грузчиком в мясном корпусе, что делало, учитывая его однорукость, его фигуру довольно загадочной. Поговаривали, что у него на запятой в рукав культе есть все пять пальцев или что у него имеется стальной протез-крюк, которым он пользуется при погрузке и разгрузке. Торговаться с одноруким инвалидом казалось неудобным. Но еще неудобнее, сложнее, было добираться лишний раз 18-м трамваем до Привоза. Поэтому, критически обследовав с помощью носа куски мяса, хозяйки раскошеливались и приступали к священнодействию приготовления обеда.

По четвергам на дачных верандах, бесцеремонно устраивая раннюю побудку, появлялся Кривой Андрей с огромными кусками уже разрубленной камбалы. Почему одноглазую рыбу продавал одноглазый Андрей, и вообще, почему все наши поставщики были увечными — оставалось загадкой. Впрочем, калек после войны хватало. Зато Мадам Стороженко своей избыточной, как казалось, укомплектованностью всеми органами

и конечностями плюс мощными голосовыми связками и бойко подвешенным языком компенсировала недостаточность конкурентов.

Итак, четверг снова был рыбным днем (не с нашей ли дачи пошла узаконенная рыбная диета 70-х годов?). Но пахло намного резче, чем в понедельник. Потому что камбала — это тебе не бычок. В ней рыбный дух намного забористей. Бычок, особенно в ухе, в отношении запахов ведет себя довольно скромно. Но жареная камбала концентрирует на себе все внимание. Так что спутать четверг с понедельником никак было не возможно.

В пятницу и субботу в кулинарных изысках дачников наблюдались разброд и шатание, но так как даже за рыбным четвергом всегда идет пятница (да и остатки рыбы с четвергового обеда на пятничный завтрак не давали запутаться), а в субботу, как правило, начиналась подготовка к варке воскресного борща, то и эти дни были тоже точно определены.

А борща в воскресенье требовалось много. Это был день ВРАГОВ. Собственно говоря, "врагами" именовались близкие и дальние родственники, друзья и просто знакомые, с восходом воскресного солнца возникавшие на дачных дорожках вместе с детьми и воплями: "А вот и мы! Не ждали?!".

Так что в понедельник с веранды на веранду летел вопрос: "Сколько у вас вчера было врагов?". Но это ничего не значило. Врагов, то есть гостей, кормили, отправляли на пляж, снабдив подстилками, мыли после них горы посуды, уступали им шезлонги и раскладушки, на которых вознамеривались отдохнуть после рабочей недели отцы семейств. И даже разбирали ссоры многочисленной привезенной детворы, не всегда будучи уверенными, что вытерли слезы и сопли или дали подзатыльник своему сорванцу.

Это именно тогда родился анекдот про Рабиновича, которому Господь, несмотря на прегрешения усопшего, дал место в раю, мотивируя тем, что у бедняги при жизни была дача, на которую съезжались по воскресеньям гости.

Поэтому в воскресенье варился борщ, который при экстремальных обстоятельствах можно было перелить в большую кастрюлю (при случае в ход могло пойти и ведро) и долить водой. Но однажды традиционное воскресное меню было нарушено. Собственно, об этом мой рассказ, а все остальное — лирическое отступление, необходимое, чтобы вы прочувствовали дачную атмосферу 51-го, или, пусть уж будет, 50-го года.

Надо сказать, что все дачки в нашем коллективе были маленькие — одна комнатка с верандой. Самая крошечная дачка была у самой многочисленной семьи по фамилии Переплетчик. Было совершенно непонятно,

как такая орава на ночь размещалась в 12-14 метровой комнатенке и такой же (если не меньше) веранде. Стоя спали они или на потолке укладывались? Поскольку каждое непонятное явление становится чуть понятнее, если его обозначить каким-либо названием, то семейство Переплетчиков получило прозвище ЕВРЕЙСКИЙ АТТРАКЦИОН.

Воскресные гости и для них не были исключением. Кроме того, у Переплетчиков была большая родня в Гайсине, Тульчине, Балте (чуть было не написала в Бойбереке и Касриловке) и в других славных городах Одесской и Винницкой областей. Не знаю, была ли у них родня, говоря шолом-алеихемским языком, в Егупеце, но в Москве нашелся дядя, который вместе с тетей и внуком появился к ним на дачу в том же жарком июле 51-го или 50-го года. Как разместили тетю и внука — это секрет переплетчикова аттракциона. С дядей оказалось проще. Он приехал спасти зрение в знаменитый институт Филатова, так что на лежащее место у Переплетчиков дядя не претендовал.

Зато в ближайшее воскресенье, оказавшись за столом в центре внимания (московский гость, а как же иначе?), дядя рассказал, что с ним в палате находится молодой репатриант, красавец, потерявший зрение оттого, что, когда его снимали во время выступления в миланской опере Ла Скала, он слишком долго смотрел на яркие софиты, и они "выжгли" ему глаза.

— Понимаете, — говорил дядя, — он мог и отвернуться, но это испортило бы роль, а Артур, так красиво зовут молодого человека, не мог себе такого позволить. Герой, одно слово, герой! А поет как! Такого голоса даже у нас в Москве в Большом не услышишь!

Романтическая история тут же разнеслась по всему дачному коллективу. Молодой, красивый, репатриант то ли из Франции, то ли из Италии (а иначе как бы он попал в Ла Скала?), певец, слепой!!!

— Ой, ему же надо есть наваристые бульоны, — сказала Эти Мироновна — хозяйка, у которой мы снимали дачу. — Я как зубной врач это вам говорю абсолютно компетентно.

Слово "компетентно" оказалось спусковым механизмом. Со всех сторон, как из рога изобилия, посыпались не менее компетентные кулинарно-медицинские советы-рецепты. Возник такой гул, и атмосфера накалилась так, как будто одновременно заработали все дачные примуса.

— Женщины, ша! — прервал дискуссию дядя, уже немного освоивший одесскую терминологию.

— Ша, женщины! Я в следующее воскресенье привожу молодого человека, а вы обеспечьте стол.

После такого заявления не какого-нибудь, а московского гостя, хозяйки отправились каждая на свою веранду обдумывать личный вклад в предстоящий обед, свое коронное блюдо.

Итак, в ближайший воскресный день с каждой веранды потянулся одуряющий аромат, призванный удостоверить индивидуальную кулинарную квалификацию хозяйки.

Но все перебивал концентрированный (благодаря математическому умножению на число дачных хозяек) запах куриного бульона.

К часу дня дядя с молодым человеком добрались до дачи. И началось!

Столы сдвинули на той самой полянке, куда выходило большинство веранд. Каждая хозяйка притащила свое, сотворенное по секретному бабушкиному рецепту, блюдо. Икра из синеньких была не менее чем в пяти вариантах. Куриные бульоны по наваристости и плотности могли бы соперничать с холодцами. Копченые и соленые скумбрии-качалки отливали золотом и серебром. Даже Мадам Стороженко принесла блюдо жареных бычков, сгоняв сынишку за первой партией улова к отцу.

А разговоры! А расспросы! Правда, одесские женщины, что бы о них ни говорили, — народ деликатный (чего не скажешь об их телосложении). О том, что случилось со зрением, они не спрашивали. Но так как Артур совершенно определенно заявил, отвечая на вопрос, что самые красивые женщины в мире — это испанские цыганки, то, скорее всего, вранье то, что он родился незрячим, а романтическая история, преподнесенная дядей — правда. А иначе как бы он определил, кто первые красавицы мира? Правда, после этих слов о красавицах испанских цыганках некоторые наши дамы стали вздыхать, мол, как жаль, такой молодой и так плохо видит... Совсем плохо.

Но в целом день и обед удался. Правда, молодой человек не пел. Опять-таки, из деликатности никто не решался попросить его спеть. Как это будет выглядеть? Сначала покормили обедом, а теперь делай им бесплатный концерт? Неприлично! А тут за разговорами и ужин подошел, все на той же полянке, под теми же деревьями. А там и луна в ветвях запуталась, затрещали цикады и смолкли звонки 18-го трамвая. Наступила ночь. А с ней пришла проблема, где устроить на ночь гостя. Дядю умудрились как-то вписать в переплетчиковый еврейский аттракцион. Но как быть с молодым человеком?

После совещания решили устроить его на веранде (благо, ночь теплая) у Алкиной мамы. Причины были весомые. Алкина мама была певицей Одесского оперного театра. Сама Алка заканчивала уже школу имени Столярского. Так что решение было естественным. Нельзя сказать, чтобы



Алкина мама приняла предложенную ей честь с восторгом. Муж в то лето работал где-то в другом городе. У нее 16-летняя дочь, невинная девушка. А тут вдруг молодой человек из страшного капиталистического мира, да еще армянин, а армянский темперамент известен всем! Было от чего прийти в волнение. А тут еще и дочь глаз не сводит с молодого красавца! Впрочем, вся молодежь, вся наша дачная компания (кто в молодости жил на даче, знает, что дачная компания — это совсем особый коллектив, сплоченный не школьными буднями, а праздником солнца и горячего песка, волейболом и вечерними эскападами через забор в Дом отдыха либо санаторий на танцы или так называемый кинозал, то есть на площадку, где на натянутом между деревьями полотнище проектируется часто рвущаяся лента. Это ночные посиделки на обрыве над морем, в которое опрокинулось ночное небо, и по которому прочертила дорожку луна, и разговоры под неумолчный треск цикад). Так вот, вся наша дачная компания не сводила глаз с гостя и, затаив дыхание, слушала его рассказы...

А потом он без всяких наших просьб запел!..

Напрасно Алкина мама всю ночь беспокойно поглядывала в окно, выходящее на веранду, на то, что там происходит. А потом и она заслушалась. Не могла оперная певица не оценить красоту и вокальное мастерство гостя. Постепенно вокруг Алкиной веранды собрались все дачники нашего коллектива. Да что нашего! Пришли и с соседних дач.

Голос молодого певца разносился далеко в ночной тишине. Он летел и к замершему морю, и в пахнущую пылью и полынью степь, и к небу, к звездам. Он достиг ушей живущего на соседней даче кумира одесских меломанов Доната Донатова, и замечательный певец пришел и, стоя вместе со всеми под Алкиной верандой, слушал и слушал следующие одна за другой арии, баркаролы, неаполитанские песни...

Вскоре слава замечательного певца (которому, кстати, Филатов вернул зрение) разнеслась по всему Советскому Союзу. Но мы, дачники с 12-й станции Большого Фонтана, всю жизнь гордились тем, что первое выступление в СССР ставшего теперь уже легендой Артура Айдиняна состоялось в 1951 или 1950 году в нашем маленьком дачном коллективе на Алкиной веранде.

ПУБЛИКАЦИЯ

Петр ЕРШОВ
Одесская "Зеленая лампа"
Публикация Виталия АМУРСКОГО 268

Одесская "Зеленая лампа"

(Из воспоминаний)

Кто-то подметил, что из "южной Пальмиры" — Одессы — много вышло писателей, художников и артистов. Пожалуй, это наблюдение справедливо, и предлагаемые здесь беглые воспоминания служат в подкрепление этой мысли. А относятся они к сумрачному времени 1917-18 гг.

Начиная с февраля 1918 г., Одесса бурлила со свойственным ей южным темпераментом всевозможными страстями, и вплоть до 1921 г. была ареной бесчисленных политических авантур. И как раз в вихре пестрых и шумных событий, которые, казалось бы, исключали мирное служение музам, — в Одессе возникли поэтические кружки, театральные эксперименты, журналы и журнальчики, жизнь которых иногда измерялась неделями.

Вскоре после февральских событий, когда стала ослабевать и расшатываться жизнь Новороссийского университета, и студенты по уши погрузились в водоворот "весны русской революции", организовался студенческий литературно-художественный кружок. С первых же собраний он привлек большое количество интересующихся. Оказалось, что революционные волны не утопили художественную молодежь, а даже подхватили ее. В кружок шли и курсистки с Высших женских курсов, и консерваторцы, и политехники, и молодежь, не связанная с высшей школой.

Поначалу дверь была широко открыта для всех, и очень большая университетская аудитория-амфитеатр на Преображенской улице, где с разрешения добрейшего секретаря историко-филологического факультета проф. Е.П. Трифильева часто устраивались открытые вечера, — не могла вместить всех желающих.

Конечно, большинство читанного, спетого, сыгранного (раздобыли и пианино) — было очень зелено, неоригинально, было перепевами уже найденного в искусстве, но все было согрето искренним юношеским горением, все возбуждало горячие споры. Довольно быстро произошел естественный отбор: более одаренные и сильные объединились для устройства полужакрытых вечеринок кружка и примерно через год выпустили маленький Альманах стихов, который, вероятно, стал теперь библиографической редкостью.

Больше того: устроили конкурс на лучшие стихи и поднесли несколько десятков рублей пленявшей тогда всех нас поэтессе Зинаиде Шишо-

вой, напечатав ее милолепетавшие стихи на первом месте. И не угадали — не ей жизнь сулила пальму первенства. В тот период в составе кружка были: Георгий и Вадим Долиновы, Эмилия Немировская (рано и мучительно скончавшаяся), Бор. Бобович, занявшийся впоследствии мелкой журналистикой в Москве, ярко выраженный и страстный поэт-сионист Файнберг (след его простыл), Еф. Бриль, говоривший о своих ультраинтимных стихах, что он их читает даже самому себе шепотом, а позже превратившийся в довольно громкого провинциального режиссера, хорошенькая Анта Дуничевская, жеманно писавшая о себе:

"Мой зыбкий профиль прерафаэлитки
Чертите вы в сиреневый альбом..."

скромная, но глубокая Свирчевская <...> и студент-юрист первокурсник Юрий Олеша, только что вернувшийся с германского фронта юный Валентин Катаев и поэтесса Аддалис, поражавшая всех своим ориентализмом, вплоть до острых коричневых ногтей — <примкнули к тесному сотовариществу>.

Узкие собрания устраивались у радушного Вани Мунца, сына голландского консула. Появлялся там как желанный гость, без нескольких передних зубов, пришептывавший Эдуард Багрицкий, напоминавший по внешности матроса. Багрицкий был старше годами, уже стал печататься, но не задира нос, а охотно и блестяще читал свои поэмы (у него и лирические стихи превращались в поэмы), широко размахивая рукой, подчеркивая музыку стиха, особо скандируя. Впрочем, мелодика, напевность, игра неожиданных, изысканных рифм — это было заботой всех участников, тонко разбиравшихся в стихотворных тайнах. Единства направлений в кружке не было: одни отдавали дань символизму, другие уже почувствовали прелесть акмеизма, третьи — считали себя неоклассиками.

В то время в Одессе пребывали и сложившиеся уже в литературную величину Ал. Биск, Георгий Шенгели, Вен. Бабаджан, существовал поэтический кружок "Бронзовый гонг", к которому, если не ошибаюсь, тяготел Эд. Багрицкий. Студенческий же кружок, после издания своего сборника, произвел в своих рядах "чистку" и переименовал себя в "Зеленую лампу".

"Зеленая лампа" — название обязывающее, напоминающее о поэтическом содружестве пушкинской поры под таким же именем.

В 1918 году обнаружилось преимущественное тяготение "кружков-

цев" к строгой классической форме, к ясности мысли и, отчасти, даже к пушкинской тематике.

Может быть, до некоторой степени Багрицкий своими стихами о Потемкине и Матушке-Екатерине (становление Новороссийского края) — толкнул на тот путь и Ю. Олешу и Анатолия Фиолетова (причудлива была судьба того талантливого еврейского юноши с очень утонченной наружностью, и очень глубокими и нежными стихами: он служил в уголовной полиции и был вскоре убит во время погони за бандитами). В силу своей одаренности выдвигались на первый план в "Зеленой Лампе" Вал. Катаев и Юрий Олеша.

Из Катаева, что называется, "перло": он писал что угодно, и стихи, и очерки, и рассказы. Печататься приходилось в "Южном Огоньке", существовавшем около года (при тех разных хозяевах) и внешнею подделывавшемся под дореволюционный.

Катаев все еще ходил в военных рейтузах и френче, весело щурил монгольские глаза, походя острил и сыпал остротами. Всегда шумливый, категоричный, приподнятый, он любил читать свои стихи, тоже приподнятые, патетические. И когда начинал читать, глаза его расширялись, голос звучал сочно и глубоко:

"Душа полна, как звучный водоем,
Как парус, вздутый ласковым порывом,
Как облако над солнечным заливом,
Как майский сад, цветущий под дождем..."

(*"Венок сонетов"*)

Да, душа его была полна тысячью образов, сердце его было раскрыто для больших чувств. Не связанный никакой доктриной, жадно наблюдавший каждый уголок жизни, раздувающимися ноздрями вбиравший в себя запахи степи, моря, ветра, цветов, одесских расплавленных летом тротуаров, — он отзывался на все, принимал все, беря жизнь без переделки, такой, как она есть; Олеша же часто бунтовал против реальности и фантазировал. Ему доставляло особое удовольствие переиначивать реальность, переделывать ее по-своему, и любимым задорным восклицанием было у него:

— А если бы все было наоборот?!

Реальность у него преображалась иной раз в символику.

Когда группа "Зеленой Лампы" в начале лета 1918 г. поехала на гас-

роли, совместно с превосходными певцами — итальянцем Де Нери и Ал. Горчаковым, и с молодой пианисткой Лившиц, в Елисаветграде был дан "поэзо-концерт", в конце которого Олеша отвечал мгновенными короткими стихами-экспромтами на многочисленные записки из публики. Три дня экстравагантничали участники гастролей на улицах и в ресторане. Олеша подговорил пишущего эти строки притвориться иностранцем, не понимающим ни слова по-русски, а сам исполнял обязанности "переводчика" и потешал всех окружающих и публику неожиданными замечаниями, нелепостями, и все это преимущественно в стихах. Радости его не было конца от этой детской проделки: он переиначивал жизнь, он как-то по-своему переставил элементы действительности!

Эти два разных устремления — у реалиста В. Катаева и сюрреалиста (как сказали бы теперь) Ю. Олеша — явственно сказались в их позднем творчестве (напр., "Белеет парус одинокий" — дань юношеским воспоминаниям Катаева; "Зависть" и "Три толстяка" Олеша — трансформация действительности).

Различие творческих устремлений никогда не было причиной ссор в "Зеленой Лампе", напротив, — ни на "поэзо-концертах", которые стали устраиваться для платной публики в зале консерватории, ни на дружеских вечеринках, по очереди организованных у членов содружества.

Однажды забралась на Пироговскую ул., далеко от центра, в квартиру отца-Катаева, учителя гимназии с внешностью старых русских бородатых интеллигентов; после чая ("зеленоламповцы" в ту пору не знали, что такое пьянство) бесконечно читали друг другу стихи и прозу, и среди присутствовавших молчаливо и скромно жался тоненький юноша-гимназист — Женя Катаев, приканчивавший остатки пирожных и печений на полуопустошенном столе, и никому не приходило тогда в голову, что это — будущий Евгений Петров, который, в содружестве с Ильфом, блеснет оригинальным творчеством в "Двенадцати стульях" и "Одноэтажной Америке"...

...Несколько строк из стихотворения З. Шишовой толкнули Ю. Олешу на создание небольшой — в 3-х картинах — стихотворной пьесы "Маленькое сердце".

Насколько мне известно, это был первый его опыт в драматургии. Стихи, конечно, были хороши, но фабула и техника пьесы были наивны, и спектакль, поставленный тоже в зале консерватории, не произвел большого впечатления на публику. Это <не> охладило автора, и он, как и Катаев, значительно позже обратился к творчеству для театра.

За какие-нибудь два года существования студенческого литературного кружка и "Зеленой Лампы" успехи поэтов были удивительны. Не по дням, а по часам совершенствовалось их мастерство. Они были взыскательны и к другим, и к себе.

Катаев обычно рубил с плеча, безжалостно критикуя слабые места. Олеша же, маленький, коренастый, ширококостный, задира дрыгающие ножки в несоразмерно больших ботинках, морщился не то от смеха, не то от боли, и жалобно стонал: "Ой, плохо! Ох, как плохо!"...

Как раз в этот финальный период совместных встреч он совершенствовал свой цикл стихов на пушкинские темы, писал о Моцарте и Сальери, о Дон Жуане, о Пиковой даме. Он настойчиво шлифовал каждую строчку, стремясь приблизиться к пушкинскому целомудрию стиха. Конечно же, не все выходило гладко, и он сам подвергался нашим нападкам, но ведь он учился тогда, учился настойчиво и трудно. Думаю, что эти его молодые опыты и малоизвестны, и затеряны в забытых журнальчиках, поэтому воспроизведу в отрывках одно из этих стихотворений, "Пиковая дама", где видны и сильные, и слабые стороны юного писателя:

"Швырнул шинель, вошел упруго,
Блестя в паркете. Игроки.
Затянуты затылки туго
В галунные воротники.

Идет. Слуга склоняет плечи,
В чулках и белом парике.
Клубится синий дым, и свечи
Коптят амуров в потолке.

— Здорово, Герман!.. Он поклона
Не замечает, подошел
И профилем Наполеона
Склонился и глядит на стол..."

Описывая встречу с "сиятельным кавалергардом" у "зеленого стола", который "рябит от карт", Олеша стремился передать скупое, но с предельной выразительностью ту напряженную и страшную тишину, когда началась мистическая игра:

"...Кто-то звякнул шпорой...
И оглянулся тот, который
В бокалы наливало вино..."

Герман грезил в азартном угаре о девушке:

"Почудилась улыбки прелесть
И плечи в бантах, взгляд...
И вдруг:
Чепец, трясущаясь челюсть
И вены исхудалых рук.

А после тягостно и прямо
Посмотрят мертвые глаза, —
И ляжет пиковая дама
Взамен счастливого туза!.."

При несомненных достоинствах целого, досталось поэту за несуразные строчки: "Слуга склоняет плечи, в чулках и белом парике" (плечи — в чулках и парике?!). Автор добродушно посмеивался, но так и не нашел удачного варианта, так и было напечатано.

Он был, в сущности, еще дитя тогда, но искренне горевал по поводу детской обездоленности в те оскудевшие уже годы. Приближалось Рождество, а магазины были полупустыми, по ночам слышна была перестрелка, Одесса становилась плацдармом сменяющихся властей.

И Олеша печалился:

"А, такое Рождество у нас,
Что детей, ей Богу, очень жалко:
Что осталось? Кубики да палка
С лошадиной мордой без глаз..."

Ему слышались детские невинные слезы, и он вопрошал:

"...Неужели
Из своей предвечной колыбели
Не услышит маленький Христос?"

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Прошло еще немного времени, и поэтические птенцы вылетели из одесского гнезда. "Зеленая лампа" кончила свое существование, выполнив задачу — помочь выявлению одаренной молодежи.

Разбрелись в разные стороны члены содружества. Кто стал врачом, кто юристом, учителем, а кто "просто вышел замуж", и только немногие упрочились в литературе. При позднейших встречах с этими немногими видно было, что поэтические искания "на заре туманной юности" казались им очень несовершенным, "нецелеустремленным" этапом, о котором вспоминается лишь со стыдливой улыбкой...

Но почему?.. И так ли это?

Комментарии

Данный текст воспоминаний П.Е. Ершова (1893-1965) был опубликован в нью-йоркской газете "Новое Русское Слово" 21 января 1951 г. Готовя его для перепечатки в Одессе, я внес несколько не имеющих принципиального, смыслового характера, изменений. Например, "Зеленая лампа" в заголовке заключил в кавычки, слово "лампа" в данном сочетании привел в тексте с маленькой буквы. У автора она везде — с прописной.

В абзаце, который начинается: "Больше того: устроили конкурс на лучшие стихи...", слова "примкнули к тесному сотрудничеству" я переместил в конец фразы. В газетном варианте они напечатаны — после "глубокая Свирчевская", перед — "и студент-юрист первокурсник Юрий Олеша". Решение о таком перемещении оказалось продиктовано логикой текста. Полагаю, что стилистическая оплошность возникла при наборе в типографии. Тем не менее, считая необходимым сохранить тут следы исправления, я — в первом случае — поставил в угловых кавычках многоточие, а во втором случае — все выделил такими же кавычками.

Некоторые явные опечатки мной исправлены без отдельных указаний. Во фразе: "Это не охладило автора..." — "не" выделено в угловых кавычках в качестве возможной версии. Все фамилии, имена, названия, указанные автором, сохранены в полном соответствии с первой публикацией.

Отмечу, к ряду деталей описанного тут времени автор вернулся позднее, в тексте "Одесская литературная колыбель" (Нью-Йорк, литературный журнал "Опыты", книга 8-я, 1957 г.).

Виталий АМУРСКИЙ
Париж

Татьяна ЩУРОВА

"Искры жизни" 276

Одесса, октябрь 1915 г.

Цена 5 коп.
Въ Одессы—7 коп

ЮЖНЫЙ ВѢСТНИКЪ

№ 3.

еженедельный иллюстрированный журналъ.

№ 3

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: въ Одессѣ на 1 годъ 2 р. 50 к., на 6 мѣс.—1 р. 30 к., на 3 мѣс.—70 к., на 1 мѣсяцъ—25 к.
Изъ города: на 1 годъ—3 р. 50 коп., на 6 мѣс.—1 р. 80 к., на 3 мѣс.—1 р., на 1 мѣс.—35 к.
ОБЪЯВЛЕНІЯ: за строку пята въ 1 столбецъ передъ текстомъ—30 к., послѣ текста—20 к. Объявленія о спросѣ и предложеніи труда, куплѣ продажъ, квар ир. и др. на льготныхъ условіяхъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦІЯ: Одесса, Екатерининская, 25, кв. 41
Завѣдующій редакціей принимаетъ ежедневно, кромѣ воскресеній отъ 2 до 4 час. дня. Телефонъ завѣдующаго редакціей—72-28.

Принятые рукописи сокращаются по усмотрѣнію редакціи. Непринятые стихотворенія не возвращаются.

Турецкій замокъ.

Карикатура Ю. Идарского.



Нѣмецкій офицеръ: Смори, турка, береги ключи Дарданеллъ! План, можешь быть, ты мириться хочешь Ну-ка, скажи. Я не прочь тебя выслушать.

"Искры жизни"

Сегодня мало кто вспомнит одесский журнал "Южный вестник", выходивший немногим более месяца осенью 1915 года. Подшивка содержит шесть тоненьких книжек, напечатанных на скверной бумаге ("Ввиду трудностей приобретения бумаги в Одессе, журнал временно принужден печататься на бумаге низшего, нежели предполагалось, качества", — с огорчением писал редактор-издатель И.И. Спивак.)

Но не только с бумагой не повезло. Как обычно, молодым энтузиастам хотелось объять необъятное. Журнал задумывался с размахом, как издание, "обслуживающее интересы и нужды" обширного южного края. Еженедельник должен был быть литературным и публицистическим ("Мы хотим еще раз повторить до сих пор не удававшиеся другим попытки"). Журнал для провинции и о провинции планировалось насыщать также политической и экономической информацией, а еще искусствоведческими обзорами и оригинальными сатирическими рисунками. Анонсировались публикации лучших местных и столичных авторов, заявлено было сотрудничество с известными художниками Б. Антоновским, М. Линским, MAD (два последних так ничего и не напечатали в журнале). Вместо них мы находим большое количество рисунков некоего художника Ю. Идарского.

Увы, все это органично не соединилось, отзвуки салонной прозы и поэзии плохо сочетались с реалиями военных событий ("Сколько разбито надежд!").

И вместе с тем в журнале "Южный вестник" есть страницы чрезвычайно любопытные. Во-первых, юные поэтические дарования Одессы пробовали на его страницах публиковать свои первые опысы. Стихи Бориса Бобовича, Валентина Катаева, Юрия Олеши, юношески свежие и искренние, выгодно отличались от многих других. Рядом с этими мальчишками, в стихах уже маститого Эмиля Кроткого чувствовалось опытное, уверенное перо.

Забавно сегодня читать критическую рецензию на поэтический альманах "Авто в облаках", где с провинциальным жаром развенчивался "одесский футуризм". Зато необычайно ценны информация в обзоре выставки южнорусских художников или же рецензия на спектакль одесского Драматического театра "Тот, кто получает пощечины" по пьесе Л. Андреева.

Остается актуальным очерк "Визит к художнику", где глазами очевидца описан дом Николая Дмитриевича Кузнецова, известного художника-передвижника, участника многих всемирных выставок, владельца поместья и великолепной коллекции живописи. И, по контрасту, предстает перед нами судьба талантливого художника Моисея Феферкорна, прожившего недолгую и полную лишений жизнь. Кстати, очерк из журнала "Художники и рамы" до сих пор является одним из немногих источников информации об этом художнике.

Журнал "Южный вестник" сегодня, конечно, в числе раритетов, но мы рады возможности предложить вашему вниманию наиболее любопытные из его страниц.

Татьяна ЩУРОВА

Одесса, 10 октября 1915 г.

Цѣна 5 коп.
Въ Одессѣ — 7 коп.

ЮЖНЫЙ ВѢСТНИКЪ

№ 1.

еженедѣльный иллюстрированный журналъ.

№ 1.

Подписка цѣна:

въ Одессѣ
на 1 годъ — 2.50 к.
„ 6 мѣс. — 1.30 к.
„ 3 мѣс. — 70 к.
„ 1 мѣс. — 25 к.

На города:
на 1 годъ — 2.50 к.
„ 6 мѣс. — 1.80 к.
„ 3 мѣс. — 1 — к.
„ 1 мѣс. — 35 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:
за строку пята въ
1 столбецъ передъ
текстомъ — 30 к.,
послѣ текста — 20
коп. Объявленія о
спросѣ и продажѣ
труда, купца-продажъ,
квартир. и др.
на льготн. услов.



КОНТОРА
— **и РЕДАКЦІЯ:**
ОДЕССА,
Екатерининская
ул., 26, кв. 48.

Завѣдующій редак-
ціей принимаетъ
ежедневно, кромѣ
воскресеній отъ 12
до 2 ч. дня. Теле-
фонъ завѣд. редак-
ціей — 72-28.

Принятые рукопи-
сы сокращаются по
усмотрѣнію редакціи.
Непринятые стихо-
творенія не возвра-
щаются.

Романсъ.

Б. Фельц-ну.

Задумчивыхъ валовъ серебрянныя струи...

А я одинъ на свѣтломъ берегу...

Я помню васъ и ваши поцѣлуи,

Я хрупкій следъ былого берегу...

— —

Но тлѣнно все, и лишь любовь нетлѣнна...

Пусть осень. Пусть. Былые сны живы,

И, какъ Венера изъ узорной пѣны,

Прекрасна и чиста, явились вы...

Б. Б-чъ.

ТОЛСТОВСКАЯ ГОДОВЩИНА

7 ноября.

Онъ во время умеръ.

"Какъ не во время умеръ Толстой!" — говорилося и въ годъ его смерти, и въ послѣдующіе годы.

"Какъ во время умеръ великій старикъ" — хочется мнѣ воскликнуть теперь.

Во время... ибо если нѣсколько лѣтъ назадъ, при общемъ безмолвіи, онъ не могъ молчать, то теперь — онъ не могъ-бы жить.

Великій миролюбецъ, апостоль любви и братства народовъ — какъ могъ-бы онъ пережить всесокрушающій вихрь кроваваго урагана, потрясшаго весь міръ? Урагана, который ни остановить, ни ослабить не могъ-бы ни даже геній Великаго Льва, ни всесвѣтное преклоненіе, которымъ онъ пользуется.

То, что совершается сейчасъ во всемъ мірѣ — было бы для Толстого крушеніемъ всего, чѣмъ онъ жилъ. Море крови и ужасъ бесилія передъ событіями вызвали бы въ его душѣ кризисъ самый трагическій изъ всѣхъ, пережитыхъ имъ.

Мы, можетъ быть, услышали бы еще одинъ надрывный крикъ души великаго миролюбца, сорвавшійся со старческихъ устъ, еще одинъ трагическій призывъ къ всеобщему миру, — но этотъ призывъ потонулъ бы въ грохотъ ураганной канонады, въ шумъ несчетныхъ атакъ, въ могильномъ шорохѣ земли, изборожденной окопами...

Не вынесло бы этого старое сердце геніальнаго Льва, и если смерть его въ Астаповѣ была тиха и спокойна, то въ наши дни она была бы мучительна и горька.

Нѣтъ, благо ему, что онъ до нашихъ дней не дожилъ.

Великій старецъ мечталъ привести человѣчество къ всеобщему миру черезъ всеобщую любовь, а человѣчество идетъ къ миру черезъ всеобщее кровопролитіе...

И старцу осталось бы лишь крикнуть на весь міръ:

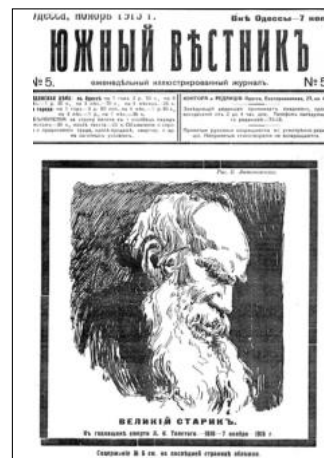
— "Не могу жить!"

Но это могъ бы воскликнуть только Толстой. А мы? Мы, быть можетъ, тоже не можемъ жить, но мы — должны жить.

Такъ будемъ же жить надеждой, что если не черезъ всеобщую братскую любовь, то хоть черезъ потоки крови мы все таки придемъ къ миру и братству, о которыхъ такъ пламенно мечталъ и такъ болѣзненно тосковалъ Толстой.

Раздѣлимъ его мечту и тоску его...

В. Димиръ.





Кларимонда.

Кларимонда идет
мимо замка

—
Лунной ночью надъ домами надушеннаго
бомонда,
Надъ лачугами, мостами, озаряя купола,
Въ хризолитовой одеждѣ лунофея Кларимонда
Ходитъ тихо, ходитъ свято, лучезарна
и свѣтла...

—
Я безуменъ, я страдаю — хризолитовая
рамка
Зажимаетъ, давить душу: грусть осталась,
счастья нѣтъ!
Лунофея Кларимонда проходила мимо
замка...
Кларимонда, Кларимонда, Кларимонда —
лунный свѣтъ.
Юрій Олеша.

Ночью.

Посвящаю Н. Ворть.

Ночь. Улица. Мерцающимъ узоромъ
Осеннихъ звѣздъ земля освѣтлена.
Изъ моря всплывъ, застыла надъ соборомъ
Отчетливая, яркая луна.

—
Иду одинъ. По звонкимъ тротуарамъ
Какъ тѣнь иду твои шаги за мной.
Плыветъ туманъ неувимыхъ паромъ
По крышамъ обезцвѣченнымъ луной.

—
Еще я чувствую остывшею рукою,
Твоей руки волнующую дрожь,
И вижу милую улыбку надъ собою
И думаю: что если это ложь?

—
Остановлюсь на мигъ ошеломленный,
Представлю мысленно твой славный
дѣтскій взглядъ,
И вновь иду, счастливый и влюбленный
По звонкимъ улицамъ, куда глаза глядятъ.

Валентинъ Катаевъ.



Концертно лекціонный сезонъ.

Концертно лекціонный сезонъ предвидится въ Одессѣ разнообразный. Ожидаются концерты Л. Собинова, Дм. Смирнова, Яши Хейфеца. Концерты ихъ будутъ даны не только въ Одессѣ, но и въ другихъ городахъ юга. Предполагаются также лекціи проф. Гредескула, Рейна, Туганъ-Барановскаго, Овсяннико-Куликовскаго, члена Гос. Думы А. Шингарева и другихъ. Для устройства этихъ лекцій и концертовъ образовалась даже специальная "концертная дирекція Е.Б. Галантера и Н.Я. Золотарева". Приглашены на рядъ вечеровъ Арк. Аверченко и Тэффи. Лекціонный сезонъ открывается назначенными на 30 и 31 октября лекціями бывшаго товарища председателя 1-й Госуд. Думы профессора Н.А. Гредескула, на темы: "Насиліе надъ міромъ" (Европейская война. Роль въ ней

Россіи) и "Национальный вопросъ" (на Западѣ и въ Россіи).

Театръ электрическій и театръ драматическій. (Сентенціи моей сосѣдки).

Были въ "Кино" — "Тепло и чудесно!
Мнѣ шептала сосѣдка — какъ въ банѣ!
Все здѣсь движется, точно живое,
Но какъ жалко, что все бесцельно!
Если-бы рѣчь полилась на экранѣ, —
Интереснѣе было-бы вдвое!"

—
Были въ "Драмѣ"... Сосѣдка въ печали
Мнѣ шептала: "Красиво... Нарядно...
Но... что то тутъ есть роковое:
Если-бъ всѣ персонажи молчали,
Если-бъ рѣчь не лилась заурядно —
Интереснѣе было бы вдвое!"

"Р. и Ж."

А. И. Гомбергъ. Новый антрепренеръ гор. театра.



Шаржъ Ю. Пѣварекаго.

Одесситка.

(Изъ утерянной поэмы).

Нѣтъ словъ, стара моя попытка,
Но... новыхъ темъ подъ солнцемъ нѣтъ!
Цвѣтокъ Одессы — одесситка —
Стиховъ восторженныхъ предметъ.
Сорвавъ съ минувшаго завѣсы,
Ищу забытыя слова...
О васъ, о женщины Одессы,
Гремитъ до сѣвера молва.
И кто, въ безчувственности стойкій,
Сумѣлъ предъ вздохомъ устоять,
Прочтя у водъ холодной Мойки
Письмо съ ошибками на "ять"?
Когда-то пылкій Альталена
(Его Чуковский такъ назвалъ)

Во мракѣ питерскаго плѣна
По вашимъ взорамъ тосковалъ.
И я, мятежныхъ чувствъ избытокъ
Съ трудомъ втѣсняя въ склепы строфъ,
Глаза прелестныхъ одесситокъ
Хвалить безъ усталы готовъ!

О городъ — смѣсь племенъ и націй!
Ты, здоровой логикѣ въ ущербъ,
Цвѣты прославленныхъ акацій
Забылъ вплести въ свой юный гербъ.
Вотъ символъ города — кокетки —
Душистый цвѣтъ, покрывшій вѣтки
Подобьемъ легкаго снѣжка,
При первомъ вѣтрѣ пасть готовый,
Слегка хмѣльной, слегка дешевый
И... надоедливый слегка!..

Эмиль Кроткій.



Гдѣ зрѣютъ апельсины...

(Баллада безъ содержанія).

Тамъ, гдѣ зрѣютъ апельсины,
Гдѣ стремятся лавры въ высь,
Гдѣ пугливыя Мессины
Любятъ изрѣдка трястись;
Тамъ, гдѣ папствуетъ не папа-ль,
Гдѣ прожившій жизни треть
Можетъ, видѣвши Неаполь
(Иль не видѣвъ!) умереть;
Гдѣ зимой безъ угля жарко,
Гдѣ, амурами казнимъ,
Жиль — пописывалъ Петрарка
И Первухинъ вслѣдъ за нимъ;

Тамъ гдѣ взрослые какъ дѣти,
Гдѣ улыбчива толпа,
Гдѣ бушуетъ Маринетти —
Маяковского *papa*;
Тамъ, гдѣ право-жъ, не въ уронѣ
Плебсъ въ адамовомъ плащѣ,
Гдѣ ѣдали макарони
Тѣ, что ѣли вообще.
Тамъ, гдѣ "дѣти" помнятъ смутно
Что Нероны ихъ "отцы",
Гдѣ роятся поминутно
Мандарины и пѣвцы;
Гдѣ въ одеждѣ видятъ бремя
(Мать "въ сорокѣ" родила!), —
Тамъ творятся въ наше время
Презанятныя дѣла!..

Эмиль Кроткій.

У глухой стѣны.

Мольбы сотенъ еврейскихъ дѣвушекъ, жаждущихъ высшаго образованія и возможности оказывать помощь страждущимъ, — дѣвушекъ, чьи отцы и братья проливаютъ кровь наравнѣ со всѣми гражданами своей родины, не услышаны сквозь толстыя стѣны Одесскихъ высшихъ медицинскихъ курсовъ.

И послѣ безконечнаго ряда мытарствъ съ доставленіемъ безчисленныхъ свидѣтельствъ, удостовѣреній и прочихъ документовъ, злополучныя "аспирантки" все продолжаютъ стоять у завѣтныхъ дверей длинною очередью...

Для того, что-бы въ концѣ концовъ не быть принятой въ число слушательницъ перваго курса Одесскихъ Высшихъ Женскихъ Медицинскихъ курсовъ, необходимо было доставить въ канцелярію курсовъ вотъ какую кипу документовъ.

- 1) Аттестатъ объ окончаніи 7—8 классовъ женской гимназіи.
- 2) Свидѣтельство о благонадежности.
- 3) Метрическое свидѣтельство.
- 4) Удостовереніе командира полка въ томъ, что отецъ или братъ находится въ дѣйствующей арміи.
- 5) Полиційское дознаніе о томъ, что дочь или сестра дѣйствительно находилась на иждивеніи того, кто сейчасъ находится въ дѣйствующей арміи.
- 6) Удостовереніе казеннаго раввина въ томъ, что братъ, находящійся въ дѣйствующей арміи, есть родной братъ просительницы.
- 7) Свидѣтельство городского (не-



премѣнно городского) врача, — если у просительницы братъ на войнѣ, — о томъ, что отецъ безусловно не способенъ къ труду.

8) Медицинское свидѣтельство о здоровьи просительницы.

9) Разрѣшеніе родителей, и 3 фотографическихъ карточки.

И когда на хлопоты по документамъ истрачены послѣднія силы и способности, послѣ мучительной бѣготни по участкамъ, пріемнымъ и канцеляріямъ, несмотря на то, что отецъ или братъ просительницы проливаютъ кровь на войнѣ — "аспирантка" все-таки заявляютъ:

— Вы, еврейки, не будете приняты, потому что все еще существуетъ для васъ "черта" и "норма".

А врачи такъ необходимы, такъ необходимы теперь странъ...

Ю. Идарскій

Художники и рамы.

Сурова судьба художника Моисея Яковлевича Феферкорна. Судьба дала ему талант, — но заставила вести полуголодное существование. Она зажгла в сердцах бедного еврейского юноши стремление к искусству — к живописи, заставила его глубоко ввериться в свое будущее, — а когда оно улыбнулось, когда за спиной выросли орлиные крылья, — пришла смерть и оставила бедное сердце мечтателя-художника.

Феферкорн скончался на 25 году своей жизни, в августе прошлого года от разрыва сердца, когда был уже на последнем курсе Академии художеств...

Смерть его прошла незаметно. И когда открылась в начале нынешнего октября выставка картин общества Южно-русских художников, то все заинтересовались этюдами неизвестного Феферкорна.

Его "Парк", "Румянцевский сквер", и этюд "На Волге" — говорить о большом и чутком мастерстве кисти. Эти этюды ярко выделяются на выставке и возле них публика подолгу стоит.

По своему дарованию Феферкорн — пейзажист.

В каталоге предъ фамилией Феферкорна отметка — черный крестик. А Феферкорн — еврей и его прах покоится на еврейском кладбище... В этой мелочи сказалась оплошность устроителей выставки.

И если-бы этою оплошностью ограничились странные детали отно-



шения художников к Феферкорну — оно бы еще было простительно. Но в этом отношении есть и нечто большее, нежели оплошность.

Феферкорн оставил после себя очень много ценных работ. Все его холсты хранятся в большой корзине, которую художник предъ смертью привез родителям. Эту корзину брать покойного, предъ тем как отправиться на театр военных действий, доставил местному художнику К. К. Костанди. (Покойный Феферкорн был любимым учеником этого художника).

Когда открылась выставка, Костанди представил всю корзину на усмотрение жюри. Но на выставку было принято всего десять этюдов Феферкор-

на, и только потому, что они были... в рамках...

На выставку масса ненужных и бездарных полотен в дорогих рамах, а вот для талантливых этюдов Феферкорна не нашли рамы...

Работами Феферкорна, между прочим, заинтересовался местный журналист Л. М. Камышников. По его просьбе секретарь общества Южно-русских художников г. Стилиануди приказал доставить из кладовой корзину с работами Феферкорна. Там — свыше тысячи работ. Многие из них представляют большую ценность.

Мы успели осмотреть лишь несколько этюдов и они оказались ярче и сильнее тех, что были выставлены.

— Почему эти работы не выставлены? — невольно сорвался вопрос.

И г. Стилиануди нам ответил:

— Рамы нет. А заказывать — у нас нет средств...

Когда на путях искусства непреодолимым препятствием вырастают рамы, — не грустно-ли это? И не тесно-ли искусству, окованному в рамы?

Задаем эти вопросы к сведению Южно-русских художников.

В настоящее время возникла мысль устроить выставку картин Феферкорна. Эту выставку в недалеком будущем предполагает устроить г. Камышников. На деньги, которые будут выручены от продажи картин Феферкорна, предполагается поставить памятник на его могиле.

Как нам сообщают, евреи ученики Петроградской Академии Художеств решили устроить конкурс на составление проекта памятника на могилу покойного Феферкорна, пользо-

вавшегося в Академии большою популярностью. В состав жюри конкурса приглашены Илья Гинзбург и другие видные скульпторы и художники.

—

...Я видел обстановку, в которой рос и умер молодой талантливый художник.

Окраина города. (Мясоедовская ул.). Подвал, наполненный солеными огурцами и арбузами, — здесь торгуют старики Феферкорны.

Над подвалом небольшая комната. Один угол ее завален гнилыми арбузами, приготовленными для солки. В другом — огромная бочка с борщом. В глубине комнаты кровать, шкаф, сундуки и стол. Спертый, гнилой воздух...

Академия художеств прислала старикам Феферкорнам гробообразный ящик с академическими работами покойного. И старик Феферкорн, разворачивая огромные полотна на грязном полу, со вздохом говорил:

— Это мой сын рисовал...

Голос дрожал. Затем старик указал мне на деревянную кровать.

— На ней он умер... Он приехал в субботу вечером из Тверской губернии. Он там жил на Академической даче... И тихо сказал: "Папа, наконец я дома..."

В эту ночь он умер от разрыва сердца...

Бедный еврейский юноша, после бесконечных мытарств, приехал в родной дом, чтобы умереть на отцовской кровати...

И. Златогоров.

АХ, ОДЕССА

Михаил ПОЙЗНЕР
На свежих ногах... .289

Леонид АВЕРБУХ
Семейные секреты .291

Александр МАРДАНЬ
Хоровод .296
Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" - пятый угол .299

Михаил ПОЙЗНЕР

На свежих ногах...

Случай из одесской жизни

...Чтоб когда-то мне повезло хоть на полминуты? Никогда!

Другие и деньги находят, не нагибаясь. И выигрывают в лотереи всякие или что-то там по дарственной перепадет. Даже у кого-то жена может забыть на пару часов, что у нее вообще муж есть!.. Живут люди и жизни той не замечают.

А тогда я как раз работал в одной конторе, рядом с нашей "Радиалкой".

Что мы делали? Мы клепали один "левак"! Все "фирменное" для джинсов — пуговицы, кнопки-змейки, лейбы там, пряжки с поясами. Что я говорю? Вообще все...

И хозяин попался с мозгами и "с концами" в любую сторону. Уже имел за собой что-то пару ходок "туда-сюда".

Завезли станки. Купили оборудование. "Накололи" сырье. Сняли склады. Нашли "крышу". Короче, раскрутились капитально...

А что я? Я "ел" с одной тарелки с наладчиками.

Открутил-подкрутил, смазал... и за стол. Прошелся-осмотрелся, отвинтил... и за стол.

Ну, допустим, где-то застучит... И что? Уже бежать? Хороший стук всегда сам "вылезет" наружу!

ТА, одним словом, поймал золотую рыбку!

А сколько в карман перепадало! Всю ту зарплату "по ведомости" можно было сразу передать в Фонд мира. Дома же знали только про "ведомость"... Ну, что еще, спрашивается, надо?!

А тут как-то с субботы "взял на себя", в воскресенье добавил, и к понедельнику — уже "дрова". С утра еще встретил старого кореша — бывшего мента...

Ну, за встречу.

Ну, за того-этого.

Ну, туда-сюда...

Куда уже в таком виде на работу?

Точно погонят... Что, это первый раз? Или второй?!

Тут мой бывший мент успокоил: "Не дергайся!... У меня в прокуратуре знакомый работает — дадим тебе повестку".

Короче, добавили еще "трохи" за идею саму и поехали за повесткой. Что, плохо иметь таких корешей?! Отмажут на раз!

...Вышел оттуда мой мент и говорит: "Опять тебе везет! У них как раз закончились бланки тех повесток. Думаешь, ты один такой?! Но не дергайся! Обещали позвонить на работу, предупредить... А с тебя еще бутылка и не одна! По прокурорскому вызову положено освобождение на три(!) дня..."

Целых три дня!!!

Что, я на выработке стою? Нет. ТА за три дня эти столько можно успеть всего.

И выпить успеть.

И отойти успеть.

И добавить.

И отойти...

Короче, на четвертый день, уже на свежих ногах, прихожу на работу и не узнаю рабочее место. Все как-то по-другому.

Мастера моего аж перекосило: "Ты где был? Мы тут с ног сбились... Звонил старший следователь(!) по особо важным(!!!) делам — ты задержан для дачи показаний!!!"

Работали днем и ночью...

Демонтировали станки.

Вывезли оборудование.

Распилили сырье.

Попрятали продукцию.

"Почистили" бумаги.

Людей "научили", что говорить надо!!!

Думали же, что ты раскололся!".

Я раскололся?!! ТА я просто пил!

А он мне: "Просто пил? Да ты бы, сволочь, хоть целый месяц пил, за тобой бы никто и не кинулся. Убить тебя мало. Мы же вкалывали, как тогда во время эвакуации в 41-ом..."

Короче — на кислород...

Короче, таки отмазали от... хорошей жизни.

А такая работа была!

Тому коммунизму делать нечего.

Так что, я не прав? Чтoб когда-то мне повезло хоть на полминуты!!

Никогда...

Семейные секреты

У моей бабушки, Эстер Мордковны Авербух (урожденной Гольдштейн), происходившей из семьи богопольских евреев, было два брата — Хаскель и Авраам, а также две сестры — Лиза и Ривка.

Первая из них вышла замуж за богатого одесского еврея Боруха Шера, а вторая — за очень богатого киевского еврея Давида Бендерского. Лизу все племянники называли "тетя Ведета", т. к. она часто пересыпала свою речь словами "ведь это", а Ривку — позднее мадам Розалию Бендерскую — "тетя Ракета", что было связано с ее исключительной напористостью и необычайной стремительностью в речи и действиях.

Семья Бендерских владела в Киеве мебельной фабрикой (носившей потом имя Боженко), крупной мельницей и большим доходным домом (с лифтом!) на Малой Васильковской улице. У них не было своих детей, и они взяли к себе на воспитание свою племянницу и восприемницу Розочку Авербух — мою будущую тетку, сестру моего отца. Дело было в начале прошлого века.

Отношение к воспитаннице было безупречным, она ни в чем не знала отказа. Наряду с другой "обслугой" для девочки в доме держали гувернантку, а потом отдали ее в классическую женскую гимназию на Прорезной.

Два эпизода из жизни этой семьи, как и все остальное, что я знаю о ней, мне стали известны именно от моей любимой тети Розы, ныне покойной.

Розалия Бендерская старалась тесно общаться с киевской еврейской (а может быть, и не только еврейской) элитой, что называется — бывала в свете. Она одевалась в модных конфекционах, имела собственный выезд, бойко изъяснялась и читала по-французски. Из круга общения Бендерских мне запомнились фамилии барона Гинцбурга, братьев Бродских.

Определенное участие принимала "тетя Ракета" в бизнесе своего супруга и периодически выполняла его ответственные поручения. Однажды ему предстояла деловая поездка в С.-Петербург для консультации у известного столичного юриста Ф.Н. Плевако. Чтобы развлечь племянницу, она взяла ее с собой в эту поездку. Розочка вспоминала нарядную квартиру знаменитого адвоката (кажется, на Миллионной), его оживленную беседу с богатой клиенткой на французском. Провожая посетительницу к выходу, Плевако галантно приложился "к ручке" мадам Бендерской, и тут она вспомнила, что не вручила юристу его гонорар. Нисколько

ко не смущаясь, она извинилась и, слегка отвернувшись, изящно приподняла свою пышную юбку (или юбки) и достала заранее приготовленную пачку ассигнаций... из-под розовой подвязки...

Второй эпизод мог остаться лишь печальным воспоминанием, если бы не его неординарность.

Дело в том, что у Давида Бендерского, тогда уже немолодого человека, была "пассия". Это была молодая красивая русская девушка-белошвейка, обшивавшая его семью. Она жила в Липках, в отдельной квартире, арендованной для нее ее "обожателем", где он нередко ее навещал. Во время одного из таких визитов и произошла трагедия. Бендерский скоропостижно скончался прямо на ложе любви.

Совладав с эмоциями, девушка приняла единственно верное решение. Она "протелефонировала" (в обеих квартирах уже были телефоны) жене покойного. "Тетя Ракета", по-видимому, тоже достаточно хорошо владела собой и наверняка знала об увлечении мужа.

— Ничего не предпринимайте, — жестко сказала она. — Ждите!

Когда стемнело, у парадной в Липках остановился "штейгер". В квартиру поднялись два дюжих приказчика из числа тех евреев, которых называли "полтора жида". Одев своего мертвого патрона, они вынесли (вывели?) его под руки, в вертикальном положении и, поддерживая, усадили между собой на заднее сидение пролетки.

Приехав на Малую Васильковскую, они таким же манером подняли его на второй этаж. В спальне они раздели покойника и уложили его в супружескую постель...

Газета "Киевские ведомости" на следующий день поместила на видном месте траурное объявление, в котором сообщалось о безвременной кончине уважаемого коммерсанта, воспоследовавшей такого-то числа в таком-то часу... в его собственном доме.

Не могу не добавить следующее. Как уже известно читателю, у четы Бендерских не было детей, и единственной наследницей их внушительно-го состояния должна была стать их воспитанница, а моя тетушка — Роза. Но вся штука в том, что тетя Роза тоже была бездетной, а я был ее единственным племянником. Что было бы, если б не случился октябрьский переворот, читатель, наверное, без труда догадался.

Еще несколько ленчиков

* * *

Какие новости в стране?
Коль посмотреть на жизнь реально —
Все как в солдатском галыуне —
И тупо, и функционально...

(Из А. Невзорова)

* * *

Коррупция, убийства стали нормой,
Сенсации уже не бьют под дых,
А уши обрели такую форму,
Что и лапша соскальзывает с них...

* * *

Бывать у него вы теперь прекратили?
Друзьями ведь были вы с ним.
Спиртное врачи ему пить запретили,
А трезвый он невыносим...

* * *

Он не курит и не пьет,
И налево не гуляет.
Он и взятки не дает —
Искренностью подкупает...

* * *

Сосед по дому мой — он новый русский,
Крутой, богач, качок и сибарит,
Изысканны напитки и закуски,
Рояль с оркестром приобрел в кредит...

* * *

Ты молод и здоров, грешишь напропалую,
Широк безмерно твоего общенья круг.
Дороже ль друга истина тебе — напрямую
Зависит от того, кто именно твой друг...

* * *

Принять сумей достойно волю провиденья,
Все, что Господь тебе захочет дать.
С хорошою женой — ты станешь исключением,
С плохой — философом ты сможешь стать...

(Из Сократа)

* * *

Ум не зависит от веса и роста,
Редко любовь сохраняют до гроба.
Правда, что все гениальное просто —
Именно так говорила амеба...

* * *

Пусть друзей моих минует горе.
Как понять мне то, что горе не беда?
Если умный уступает в споре,
Как же истина рождается тогда?..

* * *

На Западе прочих всех лиц
Важней доктора, адвокаты.
У них там — "врачи без границ",
У нас здесь — врачи без зарплаты...

* * *

Что прошло, порою может послужить укором.
Даже пребывая в мире грез,
Прошлого из памяти мы выбросим не скоро,
Разве, что крепчать начнет склероз...

* * *

Всех извилин — две,
Горд собой, натужен.
Светлой голове
Ореол не нужен...

* * *

Каждый в чем-то сегодня философ,
Доказательством служит мой стих:
Нынче в мире все больше вопросов,
И все меньше ответов на них...

* * *

Последовательностью горд своей?
А это качество, по мнению просвещенных, —
Последнее прибежище людей,
Воображенья начисто лишенных...

(Из О. Уайльда)

* * *

Температуру мне измерьте.
Нормальная! Процесс затих!
Выздоровление — не бессмертье.
Не нужно, друг мой, путать их...

* * *

Не сразу — слово чести (врать не буду!),
Мне ясной стала истина одна —
Хоть средств есть много для мытья посуды,
Но все же лучшее из них — жена...

Хоровод

Прочитать рассказ — не искусство, искусство его понять.
Понять рассказ — не искусство, искусство его написать.
Написать рассказ — не искусство, искусство его напечатать.
Напечатать рассказ — не искусство, искусство, чтобы его прочли...

* * *

Есть люди, они не умные и даже не хитрые, но они чуткие. Им надо быть умнее.

Есть другие люди, они умные и даже хитрые, но не чуткие. Им надо быть чутче.

Тогда не поймешь, кто есть кто. И это будет здорово, хотя и скучно.

Гостям поэтам

* * *

Евг. Евтушенко

От сибирской Зимы до одесского Лета
Есть валюта, что примет любая обменка,
Хоть на ней нет полос, нет штрихов, нет портретов,
Только подпись одна — Евтушенко.

* * *

Андрею Вознесенскому

Если в самое синее в мире
Миллион алых роз опустить,
Он цвет этот сыграет на лире,
Чтоб мелодией нас покорить.

* * *

Игорю Губерману

Как бедный Йорик
Стал известным Гарик.
Во тьме души
Его стихи — фонарик.

* * *

"Что-то ты сегодня очень хороший, наверное, тебе от меня чего-то надо", — сказала мне Жизнь.

"Да, — подумав, ответил Я, — взаимности".

* * *

Петр обмакнул кончик гаванской сигары в бокал с коньяком, прикурил от ореховой щепки и, потянувшись на нарах, понял, что самое великое изобретение человечества — не колесо, не компас и даже не пенициллин, а общак!

Это от него пошли семья, частная собственность и Государство с его пенитенциарной системой и ее неотъемлемой частью — Петром.

* * *

Если в театре вы вручили билетеру вместо билета номерок из гардероба — пьеса не покажется вам скучной.

Сюжетинки

Встретились как-то две прыти.
Одна заваянная, вторая подвоянная.
Стали выяснять, кто прытче выше себя прыгнет.
Развеялись, одним словом.

* * *

Вчера мы плотно поужинали, и мне приснился наш самый главный. Я говорил с ним. До утра. О чем, не помню, но просыпаться не хотелось. А когда проснулся, ни с кем не хотелось говорить...

* * *

В одном бульварном издании я прочел интервью с гостиничной кроватью. Хорошо, что во времена Боккаччо не было бульваров, иначе кто бы стал читать "Декамерон"?

* * *

Силовой гимнаст часто повторял своему партнеру: "Если ты не будешь ставить меня в дурацкое положение, то я тебя не буду ставить в неудобное".

* * *

Он разыскивал брошенных женщин через "Бюро находок".
Иногда они находили его первыми, и он терялся.

* * *

Закончив бриться, психиатр умылся холодной водой, тщательно вытер лицо полотенцем, взял флакон с одеколоном. "В душах людей, как и в духах, пропорции важны не менее самих компонентов", — подумал он, нажимая на пульверизатор. Но никакого одеколона во флаконе уже давно не было...

* * *

Редактор читал материалы завтрашнего номера. "Проблема Путина не в том, что он не любит богатых евреев, здесь он не оригинален, а в том, что он не любит бедных русских". Прочитав эти строки, редактор подумал, что и здесь Путин не оригинален, и не нашел ничего более оригинальнее, чем выбросить статью в корзину.

* * *

Был у меня в институте товарищ. Черты лица, включая нос, правильные. Все делал правильно, ни к одному поступку нельзя было придаться. Ухаживал правильно, цветы дарил правильные. А девушки жаловались, что с ним скучно. Наверное, были неправильными.

* * *

Один супруг уличил другого в измене. А тот говорит: "Я распоряжаюсь только собой, ты же хочешь распоряжаться еще и мною".

Да, не изжиты у нас еще пережитки крепостничества.

* * *

Отрицательный ответ на вопрос "Вы еврей?" расценивается некоторыми психологами как скрытое проявление антисемитизма.

* * *

Женский алгоритм: знакомый, приятель, партнер, любимый, муж, предатель, друг, партнер, приятель, знакомый.

* * *

Мой друг, москвич. Ушел от жены. В этот день в Москве проводили предвыборные съезды пятнадцать партий, мест в гостиницах не было. И он вернулся.

А если бы мы жили при диктатуре...

"Городок" — пятый угол

Его снимают на Дерибасовсой, угол Ришельевской наши земляки — Юрий Стоянов, Ирина Полторак, Владимир Трухнин и друг-полуземляк Илья Олейников.

Профессия — специалист

К окошку для сдачи анализов подходит мужчина и ставит баночку. За окошком лаборант.

МУЖЧИНА. Натё вам. Уже в третий раз сдаю, а вы ничего толком определить не можете!

ЛАБОРАНТ. Ну почему не можем. Я, например, уверен, что вы работаете на бензоколонке.

МУЖЧИНА. Ух ты! Правда! Как вы это? Неужели по следам бензина?

ЛАБОРАНТ. Нет! По вашему профессионализму! Вы мне уже третий раз недоливаете!

* * *

Новая учительница ведет урок английского языка.

УЧИТЕЛЬНИЦА. Теперь, дети, когда мы с вами познакомились, я хочу узнать, чему вы уже научились у вашего предыдущего учителя английского. Как будет по-английски "книжка"? (*Тишина*) Книжка, дети! Неужели никто не знает?! М-да... А как будет по-английски "стол"? И "стол" не знаете? М-да!... А как будет по-английски... (*У нее звонит мобильный телефон, она секунду слушает его и отвечает кому-то.*) Да пошел ты, козел дурной!

ДЕТИ (хором). Get away, you fucking ass!

УЧИТЕЛЬНИЦА. Yes!

* * *

Разговаривают певец и его аккомпаниатор.

ПЕВЕЦ. Волнуюсь я что-то. Все-таки это мое первое сольное выступление. В зале сидят культурные люди, слышавшие Козловского и Лемешева — и тут выхожу я! А вдруг я испугаюсь?

АККОМПАНИАТОР. Ты — и испугаешься? Да ты сам подумай! Если в зале такие люди, как ты говоришь, и тут выходишь ты — так это они испугаются!

Слово за слово

* * *

В гостинице у стола регистрации беседуют жилец и дежурная.

ЖИЛЕЦ. Вы знаете, у меня вчера такой случай был! Захожу вечером в свой номер — а там какой-то мужчина! Оказалось, вор.

ДЕЖУРНАЯ. Какой ужас!

ЖИЛЕЦ. Наоборот! Я так обрадовался!

ДЕЖУРНАЯ. Так чего ж вы обрадовались? Это же был вор!

ЖИЛЕЦ. Ну и что, что вор? Я-то подумал, что вы мне кого-то подселили!

* * *

Два мужичка, сообразившие на двоих.

1-й. Хорошо посидели! Ну, спасибо за компанию, пока.

2-й. Чего — пока? Давай споем!

1-й. Не, не получится у нас ничего. У меня слух есть, а голоса нет.

2-й. О! А у меня как раз голос есть, а слуха нет. Вместе как раз должно получиться!

* * *

Разговорились два попутчика в поезде.

1-й. Я один живу. От меня жена ушла. К милиционеру.

2-й. О! Так мы же коллеги! Дай пять! У меня тоже жена ушла к милиционеру. А твоя к кому ушла? По званию?

1-й. К лейтенанту.

2-й. Слабак! (*Гордо*) Моя — к майору!

Эти забавные животные

Муж читает газету, жена пытается привлечь его внимание.

ЖЕНА. Почему ты никогда не называешь меня как-нибудь ласково? Ну, там, рыбка.

МУЖ. Фу, мокрая, скользкая, рыбой пахнет...

ЖЕНА. Тогда курочка!

МУЖ. Глупости — курочка. Жрет червей и копается в навозе.

ЖЕНА. Ну, кошечка.

МУЖ. Гадость какая. Помойки, мусор и крысы.

ЖЕНА. Тогда называй меня...

МУЖ. Что ты ко мне пристала?! Зачем тебе это надо?

ЖЕНА. Ну я же называю тебя — котик, слоник, козлик! Как ты думаешь, почему?

МУЖ. Ну почему?

ЖЕНА. Потому что ты скотина!

* * *

Продавец пытается продать прохожему собачку.

ПРОДАВЕЦ. Купите собачку! Смотрите, какая хорошая собачка! Недорого!

ПРОХОЖИЙ. Я не понимаю, зачем мне собака!

ПРОДАВЕЦ. Купите — поймете! Она же вас любить будет! Вам что, не надо, чтоб вас любили?

ПРОХОЖИЙ. Надо! Но у меня на это нет денег!

ПРОДАВЕЦ. Вот именно для такого скупердяя, как вы, собака — это выход! Потому что это единственный способ купить любовь за небольшие деньги.

* * *

По улице ходит активист и агитирует вступить в общество защиты животных.

АКТИВИСТ. Вступайте в общество защиты животных! Принимайте участие в движении "Собаке — собачья жизнь!".

МУЖЧИНА. А что вы делаете в вашем обществе?

АКТИВИСТ. Как это что? Мы боремся за права животных!

МУЖЧИНА. Боретесь за права животных? Ну и что вы будете делать, когда вы их получите?

* * *

В дом к любителю животных пришел сантехник.

ЛЮБИТЕЛЬ. Сюда, пожалуйста, товарищ сантехник. Вы уже третий сантехник, а воды в кухне все нет и нет! Только в ванной! А у меня, знаете, в каждом уголке полно всякой живности: в одной комнате собачки живут, в другой медвежата, а на кухне у меня коза. Она же страдает! Ей без воды просто смерть!

САНТЕХНИК. Тоже мне трагедия... Козой больше, козой меньше. (*Входя в ванную.*) Воду, в крайнем случае, можно взять в ванной (*С криком вылетает из ванной.*) А-а! Что это?

ЛЮБИТЕЛЬ. А в ванной у меня живет гадюка...

Ник. ДЬЯЧЕНКО

С высоты Девичьей башни

Я проснулся около пяти утра от потребности вспомнить, какое число наступило этой ночью. Оставшееся время я лежал в постели со скоростью тридцать оборотов в час и пытался уснуть под аккомпанемент чахоточной перебранки кондиционера с холодильником. Каждый из конкурирующих приборов надрывно устранял последствия трудов визави. В девять, до боли в бровях измученный процессом засыпания, я со злостью успокоил обоих. Тишина в номере установилась сразу, а к моему уходу и температура снизилась до уровня природного фона.

Число оказалось натуральным. Согласно моей нумерологии, это вернейший признак, что день будет неудачным. Прожить его — пустая трата времени. Закавказье принято считать зоологическим раем. К этой поездке я подготовился основательно, как к госэкзамену по философии. Лекцию об анатомии местной гюрзы мог бы продекламировать среди ночи и с любого сантиметра. Казалось, только я сойду по трапу, со взлетно-посадочной полосы взметнется рой меланаргий иранских, зорек армянских и прочих раритетов, принесших мировую известность Азербайджану. На деле выяснилось, что фауна Баку очень невыразительна: все те же космополитичные репейницы да репницы.

Да еще передвижной зверинец на набережной, где, судя по издававшимся крикам, не было зверя страшнее павлина.

Я прилетел в Баку, чтобы принять участие в чемпионате мира по "Что? Где? Когда?". Спортивное "Что? Где? Когда?" довольно странное состязание, когда в рамках общего зачета одни участники пытаются ответить на надуманные вопросы, а другие — доказать, что на эти вопросы отвечать не следовало. В общем, занимаются ерундой. Сюда добрались те, кто делает это профессиональнее остальных. Вменяемых людей в этой среде очень мало, да и тот не любит кошек.

Что хорошего можно ждать от прогулки по такому городу в такой день с сотней таких попутчиков?

* * *

Верхняя часть Девичьей башни разлинована выступающими горизонтальными ребрами шириной в стопу. Кажется, что они задумывались как удобная пожарная лестница, возведенная над капищем огнепоклонников. Трехчастный силуэт башни почти всегда присутствует на эмблемах про-

САНТЕХНИК. О боже! Она меня укусила! Это опасно?

ЛЮБИТЕЛЬ. Ничего страшного.

САНТЕХНИК. Правда? Слава богу!

ЛЮБИТЕЛЬ. Конечно. Тоже мне трагедия. Сантехником больше, сантехником меньше...

* * *

С ученым-зоологом беседует репортер.

РЕПОРТЕР. Ну, расскажите, профессор, над чем вы работаете?

ПРОФЕССОР. Мы бьемся над проблемой века — боремся с безумием коров. Есть гениальная идея и первые успехи.

РЕПОРТЕР. Неужели?! А в чем идея?

ПРОФЕССОР. Я понял, что безумия можно избежать, если у коровы вообще не будет мозгов! И вот — уже результат. *(Показывает фото коровы.)*

РЕПОРТЕР. Гениально! Неужели у этой коровы нет мозгов?

ПРОФЕССОР. Не совсем. Мозги пока есть, но тупаяяяя!

Кинозал нашего Городка

Худ. фильм "Побег из Шоушенкского"

В камере два зэка.

1-й. Вот судьба проклятая — видеть небо в клеточку.

2-й. Надо быть хозяином своей судьбы! *(Заговорщически)* Смотри, что у меня есть! *(Достает из-за пазухи ложку.)* Ты смотрел фильм "Побег из Шоушенка"?

1-й. Нет.

2-й. Темнота! Мы будем рыть подкоп!

1-й. Точно! Ты гений.

2-й. Правильно. Так что ж мы сидим?

Бросаются к стене, ковыряют. К концу дня они сидят у стены, вытирают пот, рядом кучка земли.

1-й. Ого, сколько за один день накопили! Вот так лет 5 рыть каждый день — и подкоп готов! Здорово!

2-й. Точно. Жаль только, что не выйдет у нас ничего, не вырыть нам тоннель.

1-й. Почему это?

2-й. Потому. У нас с тобой послезавтра срок заключения кончается...

Ник. ДЬЯЧЕНКО

С высоты Девичьей башни

Я проснулся около пяти утра от потребности вспомнить, какое число наступило этой ночью. Оставшееся время я лежал в постели со скоростью тридцать оборотов в час и пытался уснуть под аккомпанемент чахоточной перебранки кондиционера с холодильником. Каждый из конкурирующих приборов надрывно устранял последствия трудов визави. В девять, до боли в бровях измученный процессом засыпания, я со злостью успокоил обоих. Тишина в номере установилась сразу, а к моему уходу и температура снизилась до уровня природного фона.

Число оказалось натуральным. Согласно моей нумерологии, это вернейший признак, что день будет неудачным. Прожить его — пустая трата времени. Закавказье принято считать зоологическим раем. К этой поездке я подготовился основательно, как к госэкзамену по философии. Лекцию об анатомии местной гюрзы мог бы продекламировать среди ночи и с любого сантиметра. Казалось, только я сойду по трапу, со взлетно-посадочной полосы взметнется рой меланаргий иранских, зорек армянских и прочих раритетов, принесших мировую известность Азербайджану. На деле выяснилось, что фауна Баку очень невыразительна: все те же космополитичные репейницы да репницы.

Да еще передвижной зверинец на набережной, где, судя по издававшимся крикам, не было зверя страшнее павлина.

Я прилетел в Баку, чтобы принять участие в чемпионате мира по "Что? Где? Когда?". Спортивное "Что? Где? Когда?" довольно странное состязание, когда в рамках общего зачета одни участники пытаются ответить на надуманные вопросы, а другие — доказать, что на эти вопросы отвечать не следовало. В общем, занимаются ерундой. Сюда добрались те, кто делает это профессиональнее остальных. Вменяемых людей в этой среде очень мало, да и тот не любит кошек.

Что хорошего можно ждать от прогулки по такому городу в такой день с сотней таких попутчиков?

* * *

Верхняя часть Девичьей башни разлинована выступающими горизонтальными ребрами шириной в стопу. Кажется, что они задумывались как удобная пожарная лестница, возведенная над капищем огнепоклонников. Трехчастный силуэт башни почти всегда присутствует на эмблемах про-

САНТЕХНИК. О боже! Она меня укусила! Это опасно?

ЛЮБИТЕЛЬ. Ничего страшного.

САНТЕХНИК. Правда? Слава богу!

ЛЮБИТЕЛЬ. Конечно. Тоже мне трагедия. Сантехником больше, сантехником меньше...

* * *

С ученым-зоологом беседует репортер.

РЕПОРТЕР. Ну, расскажите, профессор, над чем вы работаете?

ПРОФЕССОР. Мы бьемся над проблемой века — боремся с безумием коров. Есть гениальная идея и первые успехи.

РЕПОРТЕР. Неужели?! А в чем идея?

ПРОФЕССОР. Я понял, что безумия можно избежать, если у коровы вообще не будет мозгов! И вот — уже результат. *(Показывает фото коровы.)*

РЕПОРТЕР. Гениально! Неужели у этой коровы нет мозгов?

ПРОФЕССОР. Не совсем. Мозги пока есть, но тупаяяяя!

Кинозал нашего Городка

Худ. фильм "Побег из Шоушенкского"

В камере два зэка.

1-й. Вот судьба проклятая — видеть небо в клеточку.

2-й. Надо быть хозяином своей судьбы! *(Заговорщически)* Смотри, что у меня есть! *(Достает из-за пазухи ложку.)* Ты смотрел фильм "Побег из Шоушенка"?

1-й. Нет.

2-й. Темнота! Мы будем рыть подкоп!

1-й. Точно! Ты гений.

2-й. Правильно. Так что ж мы сидим?

Бросаются к стене, ковыряют. К концу дня они сидят у стены, вытирают пот, рядом кучка земли.

1-й. Ого, сколько за один день накопили! Вот так лет 5 рыть каждый день — и подкоп готов! Здорово!

2-й. Точно. Жаль только, что не выйдет у нас ничего, не вырыть нам тоннель.

1-й. Почему это?

2-й. Потому. У нас с тобой послезавтра срок заключения кончается...

ходящих в Баку мероприятий. Она такой же символ Баку, как Эйфелева башня символ Парижа, а Писающий мальчик — Брюсселя. Неудивительно, что она стала тем единственным объектом, который был выделен организаторами для экскурсии. На появление такого количества туристов одновременно нынешний гарнизон башни рассчитан не был. К сожалению, в пересчете на одного знатока, каждому досталась столь ничтожная часть экскурсовода, что расслышать удавалось одно слово из трех. Вот что, после заполнения лакун, стало понятно мне:

Эта земля веками переходила от одного завоевателя к другому. В двенадцатом веке такое унижительное положение, наконец, надоело гордому и свободолюбивому зарождавшемуся азербайджанскому народу. Древнюю зороастрийскую башню надстроили и превратили в мощное восьми-ярусное укрепление, где в минуту опасности могли скрыться пара сотен женщин и детей. Теперь порабитители, захватив город, оказывались у неприступных стен каменной твердыни. Количество энтузиастов, готовых заниматься альпинизмом ради еще нескольких изнуренных голодом затворниц, покуда их расторопные соратники будут взимать контрибуцию в овдовевших гаремах, стремилось к нулю. Обычно уже через пару недель процесс ассимиляции победителей становился необратимым. Тогда исхудавшие красавицы, застенчиво потупив глаза, вереницей покидали цитадель, в очередной раз оставшуюся неприступной. Неприступные девицы сразу же, метрах в двадцати от выхода, вносили свою лепту в формирование новой народности, а неприступная ("девственная") цитадель за свою неприступность получила название Девичьей башни. В наши дни древняя непокоренная твердыня заслуженно считается символом легендарных мужества и стойкости непобедимого азербайджанского народа.

Вид на Баку со смотровой площадки очень красив. На радость экологам высокие окрестные склоны с давними признаками перевыпаса укреплены корневищами новостроек: город стал родным для половины населения страны. Прямо под ногами дыбятся крыши исторического центра. Чуть поодаль видны карнизы "Караван-сарая". Его вывеска исполнена вязью, шрифт которой не оставляет сомнений, что здесь вы всегда сможете получить свой стакан Кока-Колы со льдом. Пустошь лазурного моря оживлена живописно расставленными нефтяными вышками, подобными черным мачтам флибустьерской регаты. Мэр любого курорта без колебаний бы расплатился самым отборным воздухом, лишь бы приобрести возможность развлекать отдыхающих этим аттракционом. Но тут уж как кому повезет. На одних курортах пляжники любят вышки, на других

пришлось ограничиться НПЗ. Вопреки ожиданиям, Баку пахнет не нефтью, а мылом, потом и шампунем.

Воспользовавшись случаем, я оценивающе заглянул вниз. По легенде, перед глазами сорвавшегося с вершины башни человека снова пройдет вся его жизнь. Поколебавшись, я нехотя отодвинулся от края: пусть я не пролетел бы живым и половины пути, смерть от скуки — один из самых мучительных видов смерти.

Вид на Баку со смотровой площадки очень волнующ.

Тем временем официальная часть экскурсии завершилась, и освободившиеся слушатели с видимым облегчением разбежались в поисках главной архитектурной достопримечательности. Уже через пару минут отовсюду эхом доносилось "Цигель-цигель-ай-люлю". Это аюкались эрудированные участники чемпионата мира, и, как минимум, с двух противоположных сторон в их голосах слышалась неподдельная радость узнавания.

Я остался один.

От диких орд азиатов город надежно защитили горделивые белокаменные стены. Положа руку на сердце, у наших новых соседей по даче стены, конечно, метра на полтора горделивее будут, но зато ведь у нас и район какой! Криминогенный...

Можно предположить, что бакинские ласточки сильно отличаются от московских. Характерные "ласточкины хвосты" приобрели здесь подковообразную форму. Протянувшиеся поверх стены бесчисленные зубцы больше напоминают традиционный русский головной убор. Нескончаемая шеренга кокетливых кокошников — украшательство, немыслимое для европейской культуры фортификации. Светлая поверхность, в полном соответствии с законами поглощения и отражения, немилосердно дышит жаром. Впрочем, законы поглощения в этом городе не известны вовсе, зато в законы отражения вводится дополнительный множитель пи. Несмотря на близость вечера, солнце не стало ни ниже, ни холоднее, лишь чуть-чуть добавило в спектр розовые оттенки. Солнце светит со всех сторон сразу, его четкий диск бойко отражается от вымытых окон, от полированных очков, от хромированных автомобилей, натертой обуви и пыльного асфальта. Зной мог бы сделаться невыносимым, если бы не бакинский ветер. Судя по пригнутым к земле стволам сосен, город хорошо проветривается.

...Кокошники (я, наконец, догадался уподобить их чешуям на хребте стегозавра, возвращая себя в уютное поле образов богатырского эпоса) выгибаются дугой и уходят за фасады домов. Старый Баку покоится

в объездах старого стегозабра. Длинного, флегматичного, много повидавшего стегозабра-альбиноса. Каждому опытному туристу понятно, что это тонны, тонны, тонны сувениров! Бронзовая бирка на внутреннем боку сухо извещает, что данный памятник архитектуры учтен и носит инвентарный номер 4. Несомненно, такая обстоятельство весьма облегчает проведение плановой инвентаризации по окончании туристического сезона.

Теснота района за крепостной стеной делает его похожим на огромную коммунальную квартиру. Проходя по незнакомой улочке, кажется, будто крадешься по общему коридору, куда выходят двери комнат, а не парадных. Раскатанные по асфальту ковры еще более подчеркивают камерность обстановки. Для нервной системы, отравленной одесским менталитетом, такая прогулка может стать тяжелым испытанием. Каждую секунду я ожидал услышать пронзительный окрик за спиной: "Ма-а-аладой человек! Вы кого-нибудь ищите?!". Можно будет даже не оборачиваться, чтобы узнать ее, ту самую даму непреклонных лет и спортивного телосложения, как у толкательницы ядра. Прикрутив газ под kloчочущим варевом, хранительница очага отставит самые неотложные дела и, по-хозяйски демонстративно, прямо в своих плюшевых тапочках, проследует за мной, проверяя, не свернул ли я в ненадлежащий подъезд, да не слишком ли близко прохожу мимо открытых окон. Лишь когда я пойму, что сегодня добычи не дожидаться, и окажусь за пределами стен (инв. N 4), воительница сочтет себя исполнившей долг и вернется к выкипевшей стряпне. Соседки еще долго будут иметь возможность сочувственно слушать о зловонных взглядах рецидивиста, что я бросал через плечо, и об опасности, которой подвергает себя слабая женщина, если хочет не дать состояться правонарушению...

Нет, — я внес поправку на восточный темперамент, — все произойдет не так. Когда я по неосторожности попаду в запретный квартал, жестокая красавица с миндальными глазами без предупреждения заколет меня вилкой дамаской стали, а мой труп бросят на съедение акулам... в ближайшее море... Мечты были безжалостно оборваны приветствием, поэтому дальнейшие похождения трупа остались невыясненными.

Владелец одной из бесчисленных сувенирных лавчонок пригласил меня вовнутрь. Три слоя в меру роскошных, в меру персидских ковров надежно оберегали стены лавки от переохлаждения. Источенные частым орнаментом кинжалы (хранить которые следует при музейных температуре и влажности, а осквернить их соприкосновением с человеческой требухой было бы преступлением) грудой татуированной скумбрии вывалены на прилавок. Со-

кровища — сертифицированные министерствами культуры и здравоохранения — искушали опорожнить карманы. Увы, на использование оставшихся полутора долларов мой желудок уже успел наложить свое заграбущее вето. Я с сожалением был вынужден объяснить гостеприимному торговцу, что покупать все равно ничего не стану, поэтому и не хочу зря отнимать у него время.

— Все равно заходите, просто посмотрите, — доброжелательно улыбнулся он.

Баку ничуть не похож на коммуналку.

Старый Баку стал и музеем, и фешенебельным бизнес-центром. На балкончиках, прорвавшихся за середину улицы, истекают шампунем перекинутые через перила восточные ковры. Покуда ковры и балкончик придают друг другу национальный колорит, струйка пены пересекла золоченную латунную табличку Азербайджано-Австралийской государственной нефтяной компании. У входа припаркованы Лексус и шестерка. Обладая достаточным опытом, водитель сможет проехать по улице, шириной, на четверть превосходящей ширину автомобиля. Хороший водитель сможет вернуться по ступенькам задним ходом. Но ведь они должны были еще и вот в этот вот вираж вписаться? Скорее всего, машины вносят на руках или собирают на месте.

Как любой достаточно старый город, Баку может гордиться шириной своих улиц. И в Таллинне, и в Риге вам на память процитируют средневековые законы о минимальной ширине улиц, о том, как на них решалась проблема организации двустороннего движения пешеходов. В Баку повредить об аналогичных уставах было некому, возможно, поэтому у меня сложилось впечатление, что их не существовало вовсе. Я прошел по самой узкой улице в мире, протиснулся в еще более узкую и вдруг увидел стену. Не "инв. N 4".

За оборонительной стеной высился купол, похожий на заточенное яйцо. Если я и вправду искал районы, опасные для жизни бестолкового туриста, мне сюда. Впрочем, на самом деле это место едва ли могло быть очагом религиозного фундаментализма. До полного ренессанса ислама в стране пока еще далеко. По улицам, как ни в чем ни бывало, ходят обнаженные по горло женщины. В Баку это никого не смущает.

Массивная ограда была закончена много позже остальных построек, и в ее стиле уже проступало мощное османское влияние: суровая внешность отечественных образцов сочеталась с лоском и обороноспособнос-

тью турецкого ширпотреба. Несмотря на то, что это состоящее из одних шипящих и рычащих название мне ни о чем не говорило, инвентарный номер достопримечательности убеждал, что попасть в Баку и не побывать в Ширваншах-сарая — себя не уважать.

Привратная табличка была выгравирована еще во времена официального двуязычия, поэтому надпись на азербайджанском (кириллица) проясняла надпись на азербайджанском (латиница). Я попытался представить себя иностранцем и понять их смысл по нанесенным рядом пиктограммам. Собака... Собак при мне не было. Я даже обернулся убедиться, что ни один местный пес не увязался за мной во дворец. Должно быть, обе собаки, встреченные за три дня пребывания в городе, занимались исполнением планов, со мной никак не связанных.

В кассе, что уже стало почти привычным, приоритетное право на посещение для граждан страны охранялось протекционистской таксой. Как человек, владеющий азербайджанским в пределах общекультурного цигля-ай-люлю, я не обольщался относительно шансов сэкономить. К счастью, разница в цене для бывших соотечественников оказалась не так разительна, как карательная двадцатикратная в Эрмитаже.

Дворец состоял из серых каменных двориков, соединенных проходами и расположенных на разных уровнях, как рисовые поля на склоне бархана. Прыщавая до нечитаемости план-схема неопределенно сулила заблудившемуся туристу все необходимое для полноценного отдыха, от купален до усыпальницы. Я засмотрелся на схему, пытаясь сообразить, куда неорганизованный посетитель должен податься в первую очередь. Пять минут спустя я окончательно убедился, что картограф не собирался навязываться в посредники между мной и моей интуицией, и отправился к той двери, к которой настойчивее увлекал внутренний голос. Сквозь проем просматривалось затемненное помещение. Помещение было перегородено могучим столом, оформленным деятельным гастрономом-энциклопедистом. К моему искреннему огорчению, ничего напоминающего указатель "Начало экспозиции" на столе не нашлось. Я попятился назад, но своим ищущим взглядом уже поднял на ноги одну из сотрудниц.

— Can I help you? — участливо поинтересовалась она.

Хотя понять эту нехитрую фразу труда не составило, я предусмотрительно отозвался не увлекающим в дебри лингвистики "Что?". Я отлично знаю, чего я не знаю: к счастью, пятнадцать лет изучения языка не прохо-

дят бесследно. "Что-что?" в ответ на вопрос на азербайджанском получилось куда менее наигранным.

— Вам чем-нибудь помочь? — переспросила она, на глазах теряя интерес ко мне.

Если собеседников объединяет только нежелание общаться, они легко найдут общий язык. Я наскоро извинился за испорченный собою ужин и ретировался в нижний двор, глубокомысленно размышляя об атавистическом единстве соматики внутреннего голоса и обоняния.

У внешней стены двора притулилась восьмигранная башенка предельно лаконичной архитектуры, с каменной пирамидальной крышей. И в заброшенный подвал, и внутрь самого строения заманивали две интригующе приоткрытые решетки. Я без промедления шагнул к лестнице, но в углу двора заметил смотрительницу музея, служебные обязанности которой не позволили ей присутствовать на банкете. Скрыть мои хулиганские поползновения было уже невозможно, и я попытался перейти на легальное положение.

— Мне сюда можно войти?

— Да, — с некоторым удивлением разрешила она.

Раз уж попытка украдкой проникнуть в тайную комнату сорвалась, я с достоинством направился осматривать музейное помещение, спуская себя по крутым ступеням — величественно и с гордо поднятой головой. Надеюсь, я не очень сильно повредил арку входного проема... Минуту спустя, когда зрение восстановилось, я смог детально рассмотреть подземельные сумерки. Круглая каморка двух-трех метров в диаметре. Вверху, чуть выше уровня земли, типичное полуподвальное окошко — пара выбитых кирпичей. Могло бы быть единственным источником света, если бы эта сторона башни не примыкала к глухой ограде дворца. На полу — то ли земляном, то ли очень пыльном — покоится каменная плита. В головах (впрочем, где у этого параллелепипеда голова, а где ноги?) еще один камень. Похоже, сразу после обработки это был конус. Сейчас тоже конус, но усеченный. Не то склеп, не то узница, не то склад наглядных пособий по стереометрии. Унылое место.

Я поднялся к свету... Когда зрение восстановилось, смотрительница стояла рядом, готовая послужить мне гидом.

— Это — пир, — внесла ясность она. — Если там загадать желание, оно исполнится. Вы загадали желание?

По ее уверенной интонации стало ясно, что если я, не мешкая, воро-

чусь в подвал, мои желания исполнятся незамедлительно, независимо от их наличия.

— Непременно спущусь еще раз, — галантно пообещал я, любуясь кстати разложенными возле стены каллиграфическими глыбами расколотых коранических текстов. Добросовестно так люблюсь. Вкладывая в любование всю душу.

— Впрочем, почему бы и нет? — лениво прикидывал я. — Разве действительно не сохранилось желаний, которые я не способен реализовать сам? Мне есть что загадать, когда никто не будет мешаться рядом. Надеюсь только, мое желание исполнится во сне, быстро и безболезненно...

Возвышенным мыслям можно предаваться часами. Откровенно заскулавшая смотрительница окинула двор прощальным взглядом, обижено пошуршала билетиком, отбросила скомканный шарик в кусты сирени и зашагала к выходу. Пора. Я юркнул внутрь, проникновенно молясь на бегу, чтобы и в этот раз за мной никто не увязался.

...!!!

Молитва удалась. Что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, что это устройство действительно работает. И могу целый год тренироваться загадывать желания.

Очарование дворца сродни ноябрьскому очарованию норвежского фьорда. Его стены, пусть не боевые, а в лучшем случае боевитые, охраняют красоту, лишённую декоративности. Единственный архитектурный элемент, без придания которому пышности постройка не будет считаться законченной, это двери. Как материализация потерявшего меру восточного гостеприимства, дверь украшается узором, растягивается вширь, растёт. Двери не хватает стен, дверь становится выше здания, в которое пропускает. Для архитектора порталы это не виньетки дверей, это повод для строительства. На их оформление орнаменталисту выдается карт-бланш. Неувядающая листва обвила каждый сантиметр портала, его изображение можно использовать в учебнике ботаники как иллюстрацию к теме "листовая мозаика". Поверху протянулась арабская надпись. Каменотес вывел буквы головоломным вариантом почерка "наси". Того самого наси, каким его работающим по бумаге коллегам удавалось за день управиться с двумя строками манускрипта, и только самые алчные ремесленники ухитрились перейти на третью. Виртуозные рельефы мастера вдохновляют камнерезов-дилетантов. Известняковые блоки испорчены незаживающими граффити: даты, города, фамилии. Кто-то посетил дворец

в 1923-ем году, кто-то в 1890-ом. Особенно глубокую память облицовке дворца оставил по себе неутомимый АСАДЪ КАРИМОВЪ. Поблизости можно разглядеть по-детски прочерченный силуэт аэроплана. Будь моя воля, тонкую грань между "вандализм" и "охраняется государством" эта стенография перешагнула бы полвека назад.

Мне удалось укрыться от зноя в высоком толстостенном зале без особых украшений. В таком было бы удобно устраивать пиры или балы, хотя теперь уже не скажешь наверняка, как его использовали на самом деле. Стена напротив входа акцентирована нишей, к которой могли бы пристроиться несколько придворных музыкантов, а по обе стороны от нее в полуметре от пола проделано два хода, ведущих куда-то вверх. Пожалуй, такому ходу точнее подошло бы слово "лаз". Его ширина очередной раз возвращала к мучительным вечным вопросам. Откуда я? куда я иду? кто я? Представительный или толстый? шатен с серыми глазами или голубоглазый блондин? — тварь ли я дрожащая или право имею? Воскресную тишину зала нарушали только мои каблуки, лишь где-то за стеной, шурясь в прицел, иступленно шелкала затвором молодая пара.

Значит, на этот раз можно не слишком углубляться в проблемы самоидентификации. Скрючившись, я стал подниматься по высоченным но, как здесь принято, истертым, ступеням. Поворот направо, и, словно поршень шприца, я вытолкнул застоявшийся воздух лестницы в маленький уютный чуланчик. Обреченно осмотрел брюки и констатировал добросовестную работу неизвестного маляра.

По всему полу был распределен слой пыли, как в прыжковой яме, в ней сиротились забытые отпечатки кроссовок 37-го размера. Похоже, ступеньки стоптали не в этом году, а может быть, даже не в предыдущем. Сквозь каменные соты оконной решетки комнатка прекрасно освещалась солнцем, и это казалось странным для ансамбля, зодчие которого походя глумились над каждым из принципов Ле Корбюзье. Сонный запах столетий завораживал. Во второй половине дня столетия пахли теплым известняком, одиночеством и просроченными отрывными календарями. Само время словно законсервировалось в этой заброшенной комнате. А после последних реставрационных работ даже слегка засахарилось. Я остановился у окна, примеряя на себя обитель, как мидия примеряет новую раковину. Пока я с содроганием прикидывал, смог бы я всю жизнь любоваться этим клочком зелени — трогательным диссонансом, ворвавшимся в гармонию каменной музыки, — века совсем исчезли, и я воочию прозрел

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

тот чудный мир, говорить о котором можно только рифмованными двустишиями. Когда-то за этой решеткой запасливые властители укрывали от мира своих прекрасных фавориток. В этой келье проходила вся их не богатая событиями жизнь. Здесь под влиянием гиподинамии с необходимостью созревала та пышная красота, идеалы которой формировались поколениями ревнивцев. Под этим цветущим кустом, у этого самого окна рыцарственный менестрель самозабвенно импровизировал на уде, и мысли поэта выстраивались в летучие бейты. Вот ниша, где жилища хранила благоволия. Здесь лежали "Хосров и Ширин" Низами с миниатюрами лучших мастерских Тебриза. Здесь была ее лежанка, а вот отсюда она только что уронила светильник. Время шелестело песчинками и расходилось кругами в колбе клепсидры. Время тикало и...

Я посмотрел на часы. И поспешно спустился по лестнице, оставляя тупыми коленями синяки на подбородке. Выскочив наружу, я обернулся, чтобы напоследок еще раз полюбоваться абрисом купола дворцовой мечети... Как почти написал Николай Васильевич Гоголь, многое означает у русскоязычного человека почесывание в затылке. Неуместные агонизирующие призраки очаровательной отшельницы и менестреля, обидно ругаясь, растворялись в вечеряющем небе. Что ни говорите, а в идее экскурсовода есть рациональное зерно.

* * *

Если целый день твоим поводырем были собственные ноги, рано или поздно улицам, поднимающимся вверх, ноги станут предпочитать боковые переулки, а горизонталям — спуск. В приморском городе невозможно заблудиться. Как бы ни захотелось. Когда стемнело, я обнаружил, что снова нахожусь на набережной.

В нескольких сотнях метров от гостиницы начали встречаться компании людей, на всю манеру держаться которых наложила неизгладимый отпечаток многолетняя привычка думать "на три-четыре!". Стало ясно, что дворец и мавзолей, увешанные сталактитами порталы, табличка с портретами рогатого Символа Города и Протекционистской Таксы, фонтаны и мечети остались в далеком-далеком прошлом. Выходной день бескомпромиссно закончился. Как говорят заглавные герои ночных кошмаров — добро пожаловать в реальный мир, дорогой.

Феликс КОХРИХТ
Эпиграф — из Бабеля 314

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Эссе, воспоминания, стихи 316

Анна БЕНЬКОВСКАЯ
"Я давно живу в стихах..." 318

Олег ГУБАРЬ
Ретроспективная периодика Одессы 320

Эпиграф — из Бабеля

Эти книжицы объединяет не только уже узнаваемая белая обложка — знак принадлежности к "белой" же Малой серии издательства "Оптимум", — но и то, что их авторы поместили на первых страницах своих сборников крылатые строки из наследия создателя бессмертных "Одесских рассказов", расписавшись тем самым в принадлежности к бытописателям и хроникерам Южной Пальмиры.



"Слушайте сюда!"

Так озаглавлена книга Михаила Пойзнера, содержащая (и это мы отмечаем с особым удовлетворением) как рассказы, миниатюры и побасенки, публиковавшиеся в нашем альманахе, так и новые произведения.

Внимательный читатель наверняка заметил, что в заголовок рецензии нами добавлен восклицательный знак. И на то мы имели все основания.

Действительно, о чем бы ни писал Пойзнер — о детстве и юности, прошедших в доме на Молдаванке (кстати, он и сегодня, увенчанный академическим званием, обитает там же), о его колоритных обитателях, о завсегдатаях Староконного рынка или о сослуживцах по уважаемому морскому НИИ, о ярких и, увы, подчас трагических событиях в истории города и его граждан — он делает это с нескрываемым чувством личной причастности. С темпераментным желанием показать, в каком необычном Городе нам с вами посчастливилось родиться!

А между тем, как метко подметил в предисловии к сборнику маститый Ростислав Александров, "не каждому случается прожить жизнь там, где родился, вырос, где прочитал первую книгу...". Михаилу это удалось, и он щедро и талантливо делится с нами этим выигрышем. Знаменательно, что многие заголовки в сборнике содержат притяжательное местоимение "мой": "Мне здесь знакомо каждое окно", "Мой Староконный", или определение "одесский".

Скажем, "одесский почерк". Это словосочетание могло бы стать подза-

головком новой книги. В ней "пахнет Одессой, ее ярким, собственноручно сделанным словом". Цитата-эпиграф из Бабеля: она хорошо ложится на эти страницы.

Паруса нашего детства

И в этом случае мы внесли в заголовок рецензируемой книги небольшое изменение. Автор — Михаил Ланднер — написал: "моего".

Но ведь все мы — потомственные одесситы — выросли из "бушлата" парусного капитана Лухманова, морских новелл Житкова, из марин Паустовского, Катаева, из свободной стихии Пушкина и Багрицкого...

Любопытно, но и "сухопутный" Исаак Бабель был уверен: "В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском корабле".

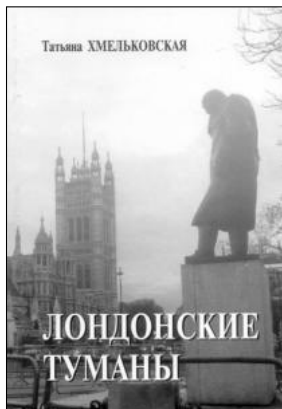
Эту фразу великого земляка Михаил Ланднер сделал эпиграфом к своему сборнику. Он как раз из таких — в 1941-м, шестнадцатилетним, стал юнгой, но не на белом пароходе, а на боевом тральщике, а через короткое время — и офицером-штурманом. А капитаном океанских кораблей — позже, после учебы и долгих лет плавания на парусных, учебных и пассажирских судах. Уже в весьма солидном возрасте он перегонял океанские яхты с верфей в порты приписки. Сейчас капитан Ланднер живет в США — на берегу Атлантического океана, но связи с Одессой не теряет. Свидетельство тому — "Паруса..."

Как и многие морские волки, всегда питал страсть к писательскому ремеслу, публиковался в газете "Моряк", но лишь в 2003 году у него вышла эта — первая книга. Все, кто привязан к Одессе и морю, найдут в ней пищу для ума и сердца. Будь то повесть о детстве и отрочестве, давшая название сборнику, рассказы о военных походах, документальные очерки. Записки бывалого мореплавателя завершаются стихотворными строками — слегка наивными, но, несомненно, искренними. Нужно ли уточнять, что и в этом случае заголовок состоит из двух уже звучавших в этих заметках слов: "Моя Одесса".

Феликс КОХРИХТ



Эссе, воспоминания, стихи



Татьяна ХМЕЛЬКОВСКАЯ
"Лондонские туманы"
Одесса. ИРЭНТТ, 2003 г.

Изящная книжка рассказов вышла в нашем городе, хоть написана она далеко в Лондоне. Когда-то с Таней Хмельковской мы вместе работали в "Вечерней Одессе", она занималась "воспитанием молодежи", я — "культурой". Как давно все это было. Сейчас Татьяну интересует проблема своеобразности Великобритании. Она пишет не рассказы, даже не путевые впечатления, а тонкие, изящные записки человека, попавшего в другой мир. Но не потерявшего связи с нашим миром. Я думаю, все, кто помнит журналистское перо Татьяны, увидит, как она выросла, как стала проникновенней, остроумней, мягче.

Марк СОКОЛЯНСКИЙ
"Некролог при жизни"
(Рассказы из внутреннего кармана)
Одесса. Optimum. 2003 г.



Марка Григорьевича Соколянского, хоть он давно уже не преподает в Одесском университете, любят его ученики, ученики его учеников. Он живет в Германии, но мыслями — о ком бы ни писал, об А.С. Пушкине, В. Шекспире, Бернарде Шоу, О. Уайльде или В. Жаботинском, — не прерывает свой диалог с Одессой.

Естественно, обычный жанр Марка Соколянского — статья, монография. И вдруг он изменил сам себе. Написал серию рассказов, точнее — мемуарных историй. И все они окрашены чувством юмора, как и вся наша жизнь. Кстати, рассказ, давший название сборнику, посвящен нашему земляку, замечательному ученому Саулу Яковлевичу Боровому, чье столетие только что отметила научная Одесса.



Виктор СКАЛАЦКИЙ
"Арфа уходящего дня"
Одесса. Optimum. 2002 г.

Инженер, кандидат наук Виктор Скалацкий, живущий в Германии, в душе остается одесситом. Он не опускает голову перед трудностями, любит бардовскую песню и классические стихи. Я благодарен Виктору за то, что он не забыл своих друзей-одесситов. И с волнением прочел его стихи об Олеге Соколове, художнике, воспитавшем наш вкус.

Звукоряд
Первый альманах
Одесса. ВМВ. 2003 год.



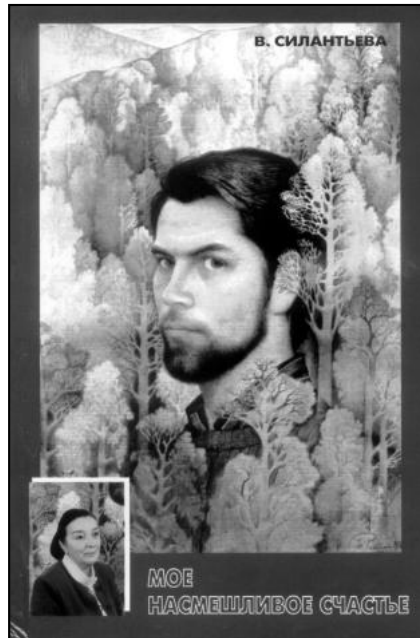
Литературная студия ОМК к 5-летию своего создания напечатала сборник молодых поэтов, встреча с которыми, как надеется руководитель студии Игорь Потоцкий, останется в памяти читателей. Очевидно, нет смысла предварительно перечислять всех начинающих поэтов, представленных в сборнике, но все же Юлию Мельник, Наталью Перстневу и Валерия Бодылева все же хотелось бы выделить. Кстати, Юлия Мельник публиковалась и в нашем альманахе, а проза (не стихи) Михаила Жилина ожидает читателя в этом выпуске альманаха "Дерибасовская — Ришельевская".

Конечно, о стихах лучше всего говорят сами стихи. И поэтому короткое стихотворение Юлии Мельник:

На крыльях бабочки написано про всё...
На них лежит Вселенная пылью.
Она себя от наших рук уносит
И странствует уже куда-то в осень,
Как в три строки любимых письмецо...
Всего в три кратких строчки этот мир:
"Жива. Здорова. По тебе скучаю".
Вся синь небес до бабочки мелькает.
Неловкими дверьми не прищечи.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

"Я давно живу в стихах..."



В. Силантьева
Мое насмешливое счастье
Одесса. "Астропринт", 2003 г.

Писатель — текст — читатель. Эта извечная триада многократно усложняется, когда самоактуализация ученого осуществляется через поэзию. Привычное деление на "физиков" и "лириков", на научное и художественное творчество в конце XX века утрачивает свою дихотомичность.

Художественное творчество ученого естественно возникает от избытка креативной энергии, от желания передать то, что уже стало не только личным. Поэтому появление второго поэтического сборника доктора филологических наук, зав. кафедрой Одесско-

го национального университета имени И.И. Мечникова Валентины Ивановны Силантьевой было и неожиданным, и ожидаемым.

В новом сборнике поэзии совершенно органично "высшие касания" (Маслоу), соприкосновение сознания со сферой трансцендентального, сочетаются с микромиром "малой родины"; виртуальное общение с великими предшественниками — с колоритными бытовыми наблюдениями, сквозь которое просвечивает Бытие.

Биография души — это и отражение целой эпохи, истории поколения, и открытие сокровенного и единственного смысла земной жизни человека. Эпичность, повествовательное начало в лирике, так ярко и неординарно проявившееся в раннем творчестве Анны Ахматовой, характеризует и сборник В.И. Силантьевой, но эта книга — не цикл, а скорее мини-роман в стихах, потому что центростремительные силы здесь формируют именно сюжет-Судьбу, погруженную в плоть и атмосферу Времени.

Здесь одинаково важны и вилковские рассветы, и перенаселенная

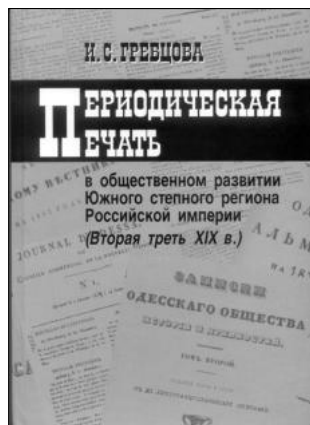
комнатушка университетского общежития на Довженко, и трудный быт сельской учительницы, и первые человеческие и научные открытия, связанные с "историческим" зданием филфака в переулке Маяковского, и причудливые лабиринты порождения советской эпохи — коммуналки на улице Княжеской. Хронотоп книги вмещает судьбу автора со всеми ее противоречиями. Действительно, "Как ни прекрасен мир подлунный, лежит тревога на челе" (Б. Окуджава).

Эта выстраданная книга обладает свойством аккомодации, когда эмоциональное поле художественного произведения действительно трансформирует эмоциональное поле читателя, который вовлекается в мир напряженных поисков истины, своего пути, неординарных образов, неожиданных ассоциаций:

Мне жить — как быть,
писать — как жить,
и с этим ничего не сделаешь.
Вздохнуть — и в путь,
мне быть — как плыть
в далеком море каравеллою.

Анна БЕНЬКОВСКАЯ

Ретроспективная периодика Одессы



Заголовок не вполне точен, ибо недавно увидевшая свет солидная монография авторитетного одесского историка И.С. Гребцовой на самом деле называется "Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (вторая треть XIX века)". Но нас, разумеется, в первую очередь занимают сюжеты, связанные с историей журналистики непосредственно Южной Пальмиры. И в этом смысле автор нас несколько не разочаровывает.

"Messenger", "Одесский трубадур", "Journal d'Odessa", "Одесский вестник", "Новороссийский календарь", "Южный сбор-

ник", "Odessaer Zeitung", "Меркурий", "Записки Общества сельского хозяйства Южной России", "Записки Одесского общества истории и древностей", "Гамелиц", "Кол Мевассер", "Рассвет", "Сион", "Херсонские епархиальные ведомости", "Ведомости Одесского городского общественного управления", местные альманахи (1834, 1839, 1840 гг.) — вот далеко не полный перечень тех региональных изданий, о которых идет речь. Исследовательница освещает многие малоизученные страницы истории провинциальной прессы, и в частности — ее место в реформировании административной и в целом политической системы России, позитивной эволюции образования и культуры в целом, торговли, промышленности, транспорта и т. д. Значительное внимание уделено периодическим изданиям различных этнических общин.

Книга представляет собой эталон превосходно комментированного академического издания и, вместе с тем, написана легким слогом, без неоправданных терминологических излишеств и зауми. А потому найдет массу заинтересованных читателей.

Давно и пристально слежу за творчеством И.С. Гребцовой — превосходного специалиста, доброжелательного, красивого человека. Многолетнее соиздание привело ее к логично замечательному результату, с чем искренне поздравляю и автора новой монографии, и нас, читателей.

Олег ГУБАРЬ

Одесский энциклопедист

Олегу Губарю — 50

ГУБАРЬ. Что сие означает?

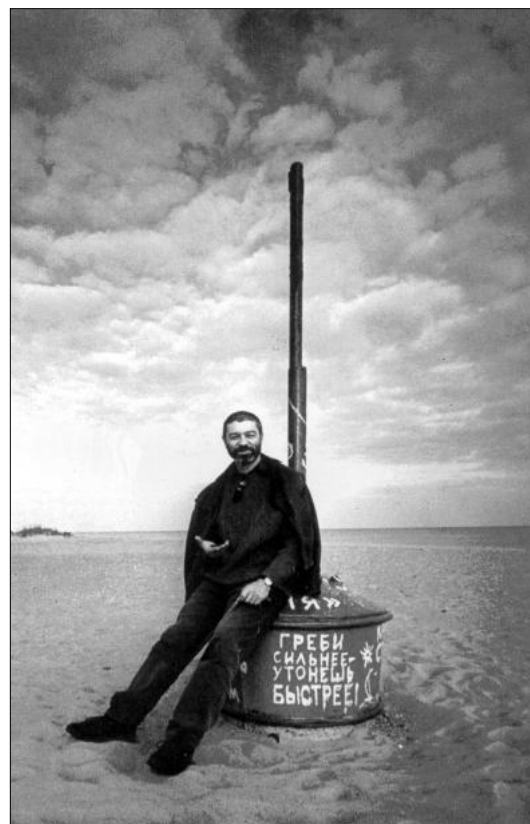
Фамилия? Да, но и гораздо большее. Посудите сами. Профессия? Конфессия? Функция? На мой взгляд, более всего — название особого подвида в эволюционном древе "Homo Odessicus".

ГУБАРЬ-ОДЕССКИЙ. Укоренился в самом сердце Южной Пальмиры. Плодовит во всех смыслах. И окрылен.

А еще — воинское звание. Гвардии Губарь активного запаса. От отца-фронтовика унаследовал склонность к доброй драке, лихость и, слава Богу, везучесть на поле брани. Будем надеяться, и его сыновья переймут эти родовые способности.

А еще прислушайтесь к звучанию, и некий острый и вьедливый Инструмент, с помощью которого археолог испытывает землю и камень на наличие в них Духа Истории. Впрочем, получается как бы вещь в себе: Губарь и сам — этот Прибор. Самонаводящийся и многофункциональный.

Вот он пьет свою легендарную гранпу



(сам ее и гонит!) из хрустальной рюмки, заложенной когда-то в фундамент дома первого одесского градоначальника, а вот пытается опять же хлебнуть (но чаю!) из фрагментов разбитой чашки доброго горожанина начала XIX века, но та, в отличие от рюмки, восстановлению не подлежит. И так всегда, заметьте...

А вот еще более хрупкую субстанцию — честь графини Елизаветы Ксавьеровны Воронцовой — защитил в одной из своих работ, не попеняв при этом и юному Александру Пушкину...

А самого графа Михаила Семеновича внес в реестр своих конфидентов — в "Энциклопедию друзей", увидевшую свет накануне юбилея ее автора. Генерал-губернатор Новороссийского края соседствует в ней с "Человеком с улицы Тираспольской" — художником Юрием Андреевичем Коваленко. Ранее Олег посвятил ему, человеку яркому, талантливому, но обладающему неумным нравом, исповедальную книгу, в которой, пожалуй, наиболее точно выразил свое жизненное и писательское кредо. В ответ на недоуменные вопросы о том, почему же самобытные люди (в том числе и юбиляр!) порой совершают поступки, ошарашивающие окружающих, он приводит объяснение, услышанное от "простой русской женщины": "ЗНАЧИТ, НАДО ИМ!".

Теперь и нам понятно, зачем Губарю понадобилось тратить уйму времени, сил да средств, чтобы подарить нам к своему дню рождения эту "Энциклопедию". Она, несомненно, еще послужит Одессе. Автор этих строк (и он упомянут в объемистом томе, чем дорожит) вовсе не страдает манией величия. Не мы — скромные персонажи Мемориала, созданного Губарем, будем интересны потомкам, а само Время, в которое мы живем и зафиксированы Одесским энциклопедистом.

Впрочем, вовсе не новым Дидеротом, а скорее, Вольтером предстает наш современник в своем труде. С симпатией, но не без ехидства подмечает он в каждом из нас причуды и дисфункции. Признаюсь, будучи упомянут и в других книгах Губаря, порой ощущаю себя щепетильной дамой, решившейся в ночь под Новый год перейти заледеневшую улицу при не-



работающем светофоре. А что как грохнешься да взметнешь ноги при честном народе? Надо держаться и соответствовать... Автор уже навел на тебя свой Прибор...

Справедливости ради замечу, что и себя Губарь не только не щадит, но и особо мытарит в своих книгах — почище, чем друзей и родственников. В "Second Hand" признается: "Похоже, я все время что-то моделирую. Себя?". Такое признание многого стоит.

В ответ — моделируемые отвечают Олегу искренним участием: без их помощи "Энциклопедия" вряд ли увидела бы свет. Всех, увы, не перечислишь, но в первую голову назову Анну Голубовскую, а затем и Софью и Дмитрия Кобринских, Ивана Череватенко — они набрали, сверстали и украсили этот том. Те же, кто помог собрать деньги на издание, и сами про себя знают.

К месту будет рассказать о том, как воспринимают Губаря лидеры — самодостаточные, перегруженные общением люди, с опаской встречающие каждое новое знакомство, особенно с коллегами — писателями, артистами, учеными. Вот чему я был свидетель и участник.

Несколько лет назад довелось мне быть соучастником международной научной конференции "Реалии и мифы Одессы" в университете американского штата Айова. Среди звезд была и профессор Патриция Херлихи, автор фундаментальных трудов о Южной Пальмире. Нужно было видеть, как изменилось ее отношение ко мне после того, как я передал ей привет от друга-Олега! Я был и при том, когда во Всемирном клубе одесситов Михаил Жванецкий, весь вечер внимавший романсам, которые беззаветно, но тонко Олег пел под свою гитару, прочувственно заметил: "Какой у тебя, Губарь, гнусный голос. А слушать приятно...". И вот — последний пример. Игорь Губерман, известный остро слов и говорунов, во время застолья (!) постепенно замолк — только и записывал в блокнот одесские байки, которыми с ним щедро делился наш Олег...

Автор "гариков" — среди персонажей второго тома "Энциклопедии друзей", который замыслил юбиляр. В списке-анонсе, которым открывается первый, есть и реальные люди — наши современники, но присутству-



"У нас еще все впереди..."
Александр Мардань, Олег Губарь,
Феликс Кохрихт

ют и французский поэт Шарль Бодлер, и английский пират Френсис Дрейк, и дива немого синематографа Вера Холодная... Есть даже итальян-



Три Олега
(Губарь, Владимирский, Филимонов)

ский физик Джорджио Торриччели, как бы "открывший" Пустоту, которую, как известно, не любит матушка-Природа. И не терпит, не выносит Губарь. И он ее постоянно заполняет.

В ближайшее время состоится мировая премьера уникального (роскошного!) издания "Старая Одесса в открытках". Есть в ней статья профессора Херлихи, но ос-

новную работу по сбору и комментариям материала проделали наши земляки — Олег Губарь и Александр Розенбойм. Составитель сборника, который, несомненно, станет сразу же библиографической редкостью, — известный американский искусствовед, эксперт Фонда Гугенхейма Ник Ильин. И о нем намерен рассказать Губарь во втором томе.

А вот персонажи третьего тома нынче подрастают. И среди них — Федор и Феликс — сыновья Олега и его жены Виктории. Будущие Одесские энциклопедисты.

Феликс КОХРИХТ
Фото Ивана ЧЕРЕВАТЕНКО

"Олегу Губарьку

Дорогой уникальный Олег Губарёк!

Вот пятьдесят?

Представь себе, что я там уже был.

Я даже был там, куда ты едешь!

Там хороши только женщины, скорости и соединения порыва с рывком.

Жду тебя с твоей среднерусской внешностью на Среднерусской возвышенности, откуда это все видно.

Губарёк, твое появление в нашем клубе украсило его бородой, палкой, талантом и потрясающим самогоном, от которого трудно что-то вспомнить, но легко все представить.

Не знаю, как сказать, но ты замечательный человек.

Прекрасному писателю нельзя это говорить, он обижается.

Расставь эти слова сам.

Я теперь всегда с тобой.

Так что далеко не ходи.

Целую, обнимаю и крепко жму твою палку.



Наша радость
ваш Жванецкий".

Баллада о Короеде

Олегу Губарю — с восхищением и любовью

Жил-был в Одессе короед...
Послушай, я не вру.
Порой жевал он на обед
Сухариков кору.

Он котлованы прогрызал,
Бутылками звеня,
И в винный нисходил подвал,
И брал с собой меня.

Он презирал манок столиц,
Дурной амикошон.
Он прогрызал сердца девиц,
А также юных жен.

Они его ласкали стан,
Детишкам звали в папы.
Он заходил в журнал "Фонтан"
С бутылкой свежей граппы.

Он был своим в любом дворе
(Известности излишки),
Он буквы прогрызал в коре —
И это были книжки.

Исполненный могучих сил,
Люби, гуляй, борись!
Что значит — жил?
Что значит — был?
Ты есть,
Ты будешь грызть!

Послание Губарю

Милостивый государь,
Досточтимый Губарь!
Вам не ведать ли, как встарь
Обращаться любо
Было к тем, к кому душа
Вся была открыта
И, кого узреть спеша,
Маялась от быта.

Небанальный разговор,
Ракурс непривычный,
Золотой деталей сор,
Взгляд сугубо личный.
Ненавязчивый цинизм,
Истовое пенье,
Сдержанный алкоголизм,
Слушать дам терпенье.

Верность в дружбе, пунктуаль-
ность плюс деловитость,
Взгляд порою вглубь и вдаль:
Где ты, дольче вита?
Страсть к ходьбе, устава взор
В линию бордюра:
Вдруг какой-то крохобор
Уронил купюру.

Вера в магию вещей,
В тайный смысл предметов.
Знание, что сухих лещей
Лучше к пиву нету.
Верность формуле Творца:
Что ему Гекуба?..
Ну найдешь ли молодца
Лучшего, чем Губарь?..

Содержание

От редакции	3
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ <u>Я забираю крик обратно</u>	5
Наталья ХАТКИНА <u>"Война и мир Михаила Жванецкого"</u>	7
<u>ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ</u>	
Борис РЕЗНИК <u>Пациент из моего детства</u>	15
Вероника КОВАЛЬ <u>Тропой трепетной и вечной</u>	43
Галина ПЕДАХОВСКАЯ <u>Ничейные дети</u>	55
В. КОРСАК <u>Одесса. Исход...</u>	66
Валентина ГОЛУБОВСКАЯ <u>Детство с испуганными глазами</u>	86
Олег ГУБАРЬ <u>Удельный переулочек</u>	93
<u>ПРОЗА</u>	
Олег ГУБАРЬ <u>Уроки тишины</u>	97
Родион ФЕДЕНЕВ <u>В профиль</u>	110
Олег ЛАВРЕНТЬЕВ <u>Андрей</u>	125

Татьяна ОРБАТОВА <u>Танец на разбитых черепках</u>	144
Вадим ЯРМОЛИНЕЦ <u>Кредитная история</u>	154
Татьяна МАРТЫНОВА <u>Дальше было вот что...</u>	161
Михаил ЖИЛИН <u>Два рассказа</u>	167
Инна НАЙДИС <u>Профессор-убийца</u>	170
Владимир ЕФИМЕНКО <u>Старик</u>	174
Юлия ЖАРКОВА <u>Искатели детства</u>	210
<u>ПОЭЗИЯ</u>	
Борис ХЕРСОНСКИЙ <u>Зима</u>	215
Галя МАРКЕЛОВА <u>Мартовский снегопад</u>	221
Надежда МОРЕВА <u>Дорога в Мило</u>	225
Елена ЛУКЬЯНЧУК <u>Наши лица, как экраны...</u>	230
Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК <u>А был ли ветер?</u>	232
Александр ХРОМОВ <u>Ответ на вопрос, заданный в кафе "Хали-Гали"</u> <u>некоторое время тому назад...</u>	239

Роман БРОДАВКО	
Баллада о Мадонне с младенцем	..241
МОСКВА-ОДЕССА	
Алла ГОЛОВАНОВА	
Имена	..247
<i>ЖИЗНЬ - ИСКУССТВО - ЖИЗНЬ</i>	
Корифей одесской школы	
Публикация Марины ВЕРХОВЕЦКОЙ	..251
Марина ВЕРХОВЕЦКАЯ	
Будь прост, как ветер, неистощим, как море	..258
Елена КОЛТУНОВА	
Когда умолкнул звук трамвая	..261
<i>ПУБЛИКАЦИЯ</i>	
Петр ЕРШОВ	
Одесская "Зеленая лампа"	
Публикация Виталия АМУРСКОГО	..268
<i>НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ</i>	
Татьяна ЩУРОВА	
"Искры жизни"	..276
<i>АХ, ОДЕССА</i>	
Михаил ПОЙЗНЕР	
На свежих ногах...	..289
Леонид АВЕРБУХ	
Семейные секреты	..291
Александр МАРДАНЬ	
Хоровод	..296

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК	
"Городок" - пятый угол	..299
ПУТЕШЕСТВИЕ	
Ник. ДЬЯЧЕНКО	
С высоты Девичьей башни	..303
<i>ИЗДАНО В ОДЕССЕ</i>	
Феликс КОХРИХТ	
Эпиграф - из Бабеля	..314
Евгений ГОЛУБОВСКИЙ	
Эссе, воспоминания, стихи	..316
Анна БЕНЬКОВСКАЯ	
"Я давно живу в стихах..."	..318
Олег ГУБАРЬ	
Ретроспективная периодика Одессы	..320
ЮБИЛЕЙ	
Феликс КОХРИХТ	
Одесский энциклопедист	..321
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ	
Олегу Губарьку	..325
Наталья ХАТКИНА	
Баллада о Короеде	..326
Валерий ХАИТ	
Послание Губарю	..327

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 16

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 16

Издается с 2000 года

www.odessitclub.org

Технический редактор Андрей Вишненко

Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка

ТИА "Вікна-Одеса"

Тел. 23-13-60

Подписано в печать хх.хх.2004.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Формат 60x84/16

Физ. печ. л. XX. Усл. печ. л. XX,XX

Зак. № XXX. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии издательства "Друк"

Одесса, ул. Старопортофранковская, 61